

МАЙ 1966

5

А. Камшалов, секретарь ЦК ВЛКСМ

СВЕТЛОЕ ПЛАМЯ РЕВОЛЮЦИИ

Решающий голос страны

Так назвал поэт голос партийного съезда. Съезд сказал свое слово, прозвучавшее на весь мир, гимном коммунистов отозвавшееся в просторах Вселенной, и слово это стало боевой программой советского народа, боевой программой молодежи — половины населения нашей страны.

Сейчас май, третий весенний месяц. Подобно двум минувшим, он полон созидательного настроения, революционной страсти к новым свершениям: тон нынешней весне был задан работой XXIII съезда КПСС.

Советские юноши и девушки до глубины души взволнованы теплыми словами, сказанными с трибуны съезда в их адрес — адрес юной смены ленинской партии большевиков. Они видят, какой простор для учебы и творческой деятельности открыт перед ними. Они благодарны Коммунистической партии за то, что она вооружает их духовно, указывая ясный общественный идеал. И они отвечают на это делом своих рук.

Страна вошла в новую пятилетку. Директивы съезда партии по пятилетнему плану, указывающие пути дальнейшего повышения благосостояния нашего народа, приняты. Но еще в ходе обсуждения Директив юноши и девушки прикинули, куда направить свои силы, свои ударные эшелоны. Около девяноста важнейших промышленных объектов (в том числе комплекс химических предприятий в бассейне Каратау, Магнитогорский и Орско-Халиловский металлургический комбинаты, Красноярская и Токтогульская ГЭС, газопроводы и многие другие строительные гиганты пятилетки) станут ударными комсомольскими.

Так отвечают молодые патриоты на большое доверие партии. Они растут и закаляются в труде. И уже не только ростки, а могучая поросль нового, коммунистического все более проявляется в делах и поступках молодежи.

...Их около четырех тысяч, получивших мандат доверия от двадцати трех миллионов комсомольцев на XV съезд ВЛКСМ. Они принесут на съезд все лучшее, что есть у нашей молодежи: преданность делу партии, революционную энергию и дерзание, мужество и готовность к подвигу, весь огромный мир сложных интересов, своих радостей и забот.

Что отличает комсомольцев 1966 года от их предшественников сравнительно недавних еще послевоенных лет? Возросшая степень участия в общественной жизни. Острый интерес к культуре, к науке, наконец, значительно более высокая образованность.

Пятьдесят пять процентов комсомольцев имеют высшее и среднее образование, среди них более миллиона инженеров, техников и специалистов сельского хозяйства. Наконец, сотни тысяч молодых людей заняты в наиболее современных отраслях промышленности и науки: радиоэлектронике, кибернетике, ядерной физике, квантовой механике, генетике...

Родная страна открывает перед молодежью необъятные просторы, и это окрыляет ее...

СПЛАВ МОЛОДОСТИ И ТРУДА

Большой совет Ленинского комсомола откроется 17 мая. Но начался он гораздо раньше. Почти полгода в полевых станах и в горячих цехах, в тесных матросских кубриках и просторных учебных аудиториях, на съездах и конференциях шел разговор по большому

счету, велась придирчивая и скрупулезная проверка опыта комсомольской работы. Выбиралось самое ценное, нужное, то, с чем комсомол должен прийти на свою всесоюзную сходку. А сделано немало!

За четыре минувших года более пятнадцати миллионов принято в комсомол. Около полутора миллионов воспитанников ВЛКСМ стали коммунистами. Почти полмиллиона юношей и девушек выехали на всесоюзные ударные стройки.

За эти же четыре года на комсомольских стройках пущены в эксплуатацию семьсот пятьдесят крупнейших народнохозяйственных объектов. Среди них почти все мощности по производству стали, чугуна, проката черных металлов, минеральных удобрений, искусственного и синтетического волокна.

При активном участии молодежи завершено сооружение железнодорожных магистралей Абакан — Тайшет, Барнаул — Омск, Караганда — Карталы, электрифицированы крупнейшие в мире железнодорожные магистрали Москва — Иркутск, Москва — Свердловск, построены газопроводы Бухара — Урал, Дашава — Минск, Саратов — Москва, нефтепроводы «Дружба», Омск — Иркутск. Молодежь внесла решающий вклад в сооружение гигантов большой химии в Башкирии, Куйбышевской, Тульской, Волгоградской, Иркутской областях, на Украине, в Белоруссии, Узбекистане и Азербайджане.

В тяжелых условиях, в необжитых, малонаселенных районах при непосредственном участии молодежи построены Братская ГЭС, пять линий электропередач, шесть целлюлозно-бумажных комбинатов и многое другое. Там, где была тайга и степи, выросли новые города и молодежные поселки: Амурск, Братск, Дивногорск, Железногорск, Тольятти и другие.

Наше поколение по праву войдет в историю как поколение строителей. Почти миллион комсомольцев — представители этой почетной профессии. Их ведет на стройки комсомольская путевка: они посланцы комсомола.

Традицию ударных строек подхватило и наше студенчество. Только в прошлом году свыше двухсот тысяч студентов провели свой третий, «трудоустрой» семестр на строительстве культурно-бытовых и производственных объектов в колхозах и совхозах Казахстана и Сибири. Несколько сот студентов-иностранцев из сорока стран мира, обучающихся в Советском Союзе, изъявили желание быть вместе со своими друзьями и летом, на стройке.

«Только в труде вместе с рабочими и крестьянами можно стать настоящими коммунистами» — так завещал всем поколениям молодежи В. И. Ленин, выступая на III съезде РКСМ. Эти слова и сегодня служат молодежи путеводной звездой.

Борьба за улучшение качества выпускаемой продукции, за экономию и бережливость, за обилие сельскохозяйственных продуктов, за повышение культуры труда, квалификации и мастерства молодых тружеников — всем этим занимался комсомол в период между съездами. Комсомольские посты по качеству, движение «Украинский час», борьба за право работать с личным клеймом, деятельность отрядов «Комсомольского прожектора» — вот те формы и методы работы, которые были найдены комсомолом.

Комсомольские организации уже давно установили деловые контакты с министерствами, комитетами, ведомствами, участвуют в работе производственных совещаний предприятий, вносят свои предложения, направленные на повышение роли молодежи на производстве, на улучшение условий труда, быта и учебы молодых людей.

Только за последнее время по просьбе ЦК ВЛКСМ Советское правительство и ЦК КПСС приняли постановления: «Об улучшении трудоустройства выпускников школ», «О льготах для молодежи, обучающейся без отрыва от производства», «Об улучшении строительства, проектирования молодежных общежитий», «О строительстве на ударных комсомольских стройках клубов и домов культуры» и другие. Комсомол ставит перед собой задачу умело сочетать трудовую энергию молодежи, направленную на достижение больших целей, с разрешением повседневных насущных интересов юношей и девушек.

Забота о первичном производственном коллективе — о молодежной бригаде, группе, участке — основное в трудовом воспитании подрастающего поколения. Подросток

приходит на завод. Он не только выполняет производственную программу, он попадает в коллектив, который на него повседневно влияет, воспитывает его, прививает ему те или иные взгляды и привычки. Трудовая деятельность молодого человека неотделима от его духовной жизни, от формирования его идейного облика.

«Токарь делает простую механическую работу, — писал М. И. Калинин, — но он вместе с тем делает и большое государственное дело, работает на оборону страны и т. д. Значит, он себя рассматривает не изолированно от общих политических задач, а как составное звено в общей борьбе, в общих государственных мероприятиях. Если он свою работу связывает с целым, если вкладывает в нее всю свою энергию, силу, умение, понимая, что этим он также защищает нашу страну, то он подходит к своей работе партийно».

Возьмем, например, борьбу за качество продукции. Комсомольские активисты хорошо понимают, что мало провозгласить: «Даешь высокое качество продукции!» От: определяют, как это сделать. Но ведь эти же вопросы, скажете вы, решают и хозяйственники. Тогда в чем же роль комсомола? В первую очередь комсомол должен воспитывать чувство ответственности за честь фабричной марки, чтобы каждый молодой человек работал на совесть, стремился повышать свою квалификацию, перенимал передовой опыт, чтобы он увидел и понял: от него, от того, как он сработал, зависит благополучие не только товарищей по цеху, предприятию, но и общества в целом.

Труд и молодость дают замечательный сплав, из которого формируется характер нашего современника.

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЮНОСТИ

В один из мартовских дней в Центральном Комитете комсомола было особенно многолюдно: пришли лучшие воины частей противовоздушной обороны, отличившиеся при выполнении воинского долга. Большинство из них — ровесники Победы, но на груди у каждого наряду со знаками солдатской доблести — колодки орденов и медалей. Родина увенчала их этими наградами за отличную службу.

Спустя несколько часов после приема армейской молодежи тот же актовый зал заполнили ветераны партии и комсомола. В канун XV съезда ВЛКСМ была особенно важна их умудренная опытом оценка проделанного нами. Но беседа вышла за первоначально намеченные рамки.

«Мы не в отставке, мы вечно на комсомольском учете» — так выразил свою причастность к комсомолу член ВЛКСМ с 1918 года, вице-адмирал Герой Советского Союза Г. Н. Холостяков.

— Когда меня спрашивают, — рассказывал на встрече член ВЛКСМ с 1923 года Нил Григорьевич Веденичев, — что мы, комсомольцы двадцатых годов, получили в результате работы в комсомоле для всей последующей жизни, я отвечаю: «Эта работа дала такую огромную зарядку, что ее хватило на всю жизнь. И есть еще порох в пороховницах. Комсомол может рассчитывать на нас. Весь моральный заряд мы готовы отдать комсомольцам шестидесятых годов».

Вот она, школа комсомола. Ее политические университеты за годы деятельности ВЛКСМ прошло уже около девяноста миллионов советских людей. И каждый день приносит новые десять тысяч новых заявлений, которые начинаются словами: «Прошу принять меня в ряды Ленинского комсомола...»

Студент из Свердловска Г. Ярышев во взволнованном письме в «Комсомольскую правду» делился: «Комсомол дает высшее наслаждение — быть полезным ближнему, дает ту гамму чувств, какую не могут дать ни власть, ни деньги. Но комсомол и берет, берет всего тебя, твою молодость, ум, силу, твоё время и, если потребуется, жизнь».

Комсомол — это коллектив. Коллектив юных единомышленников, которых сплотила общность идей и взглядов. Это политический союз передовой молодежи нашего времени,

который формирует молодого человека борцом, а не созерцателем, гражданином, а не обывателем.

Каждое поколение несет в себе черты своего времени, поэтому каждое поколение приходит в новом облике. Одних это радует, других пугает, третьи, внимательно приглядываясь к новой смене, пытаются помочь ей открыть свою звезду.

Нынешнее поколение советской молодежи включилось в общественную жизнь и формировалось в обстановке восстановления и упрочения ленинских норм партийной и государственной жизни. Экономические и политические условия, в которых живут и трудятся ныне советские юноши и девушки, объективно способствуют становлению у них лучших качеств борца, патриота, гражданина, способствуют их духовному и культурному росту, развивают многогранность интересов, воспитывают нетерпимость к недостаткам, косности, рутине.

Воспитание убежденности идет энергичнее и быстрее тогда, когда для защиты правильных позиций молодой человек должен сам искать и находить все новые аргументы, пристальнее вглядываться в жизнь, отбрасывая ложное и преходящее. Вот почему большой популярностью сегодня у молодежи пользуются такие формы идеологической работы, как ленинские уроки, диспуты, университеты молодого марксиста, дискуссионные клубы, где на обсуждение выносятся самые злободневные и острые вопросы современности.

Решение XXIII съезда КПСС о переходе на пятидневную рабочую неделю имеет для нас огромное значение, ибо свободное время — это не только резерв для отдыха, но и плацдарм для политического воспитания и культурно-эстетического образования молодого поколения. Задача этой работы — формировать инициативную, творческую молодежь, сила которой заключалась бы не в слепой вере, а в разуме и знании, в умении сообразовать свои поступки и действия с глубокими внутренними убеждениями.

Крепость только тогда сильна, если ее охраняют люди, вооруженные настоящими идеями, преданные своему делу, своему народу. На VIII пленуме ЦК ВЛКСМ мы во весь голос еще раз заявили о верности нашего поколения революционным, боевым и трудовым традициям Коммунистической партии, советского народа. Решения пленума направлены на укрепление у молодого поколения марксистско-ленинского самосознания; эти решения способствуют выработке классового подхода ко всем явлениям жизни и служат острым оружием против влияния буржуазной пропаганды. Вот почему волчья стая идеологов капитализма подняла дикий вой, с гневной бранью обрушилась на комсомол.

Западная идеология поставила своей стратегической целью оторвать молодежь от традиций прошлого, оторвать комсомол от партии и на этой основе вести антисоветскую обработку. Жизнь нашей молодежи изучают ныне сто сорок институтов советологии — от Гарварда до Мюнхена. США тратят сейчас на идеологическую диверсию средств в сто раз больше, чем тратил Гитлер, готовясь к войне.

Но зря тужатся господа. Никогда не удастся им завербовать себе идейных сторонников среди молодого поколения Страны Советов. Ленинский комсомол, вся советская молодежь отдает себе отчет в характере развернувшейся идейной битвы, зрело оценивает события прошлого и настоящего, ясно видит пути к будущему, умело отделяет ложь и полуправду от большой, настоящей правды.

Идеалы молодых

Практика революционного движения во всем мире доказала, что только коммунистический идеал способен дать верное направление нравственному развитию молодого поколения. «Наш Запад не может представлять идеала для молодежи, — пишет с горечью один из буржуазных авторов, Жером Дешюсс. — Это конец. Летящие кубарем вниз моральные нормы, наш циничный мир, ведущий к абсурду, — все это не может не вызвать моральных и психических беспорядков... Я не коммунист, но скажите мне, как не понять тех из моих товарищей, которые становятся коммунистами?»

Недавно в Ленинграде общественный институт социальных исследований распространил среди молодежи анкету «Человек будущего». Каковы же штрихи его портрета, нарисованные молодыми ленинградцами? Это человек высокого интеллекта, имеющий стойкие идейные убеждения и не боящийся их отстаивать, проявляющий максимум заботы об общественной пользе, умело сочетающий ее с личными интересами.

Давайте внимательно присмотримся к окружающим, говорят участники опроса. Сколько замечательных людей рядом с нами! Они воспитаны советским обществом, и уже сейчас их дела и поступки служат образцом для подражания.

Делегатом XV съезда избран Николай Горбачев. Теперь он прописан на стройке железной дороги Хребтовая — Усть-Илимская ГЭС. А до этого прокладывал трассу Абакан — Тайшет. Туда он прибыл из Калуги по комсомольской путевке. Работал разнорабочим, потом окончил курсы мастеров-путейщиков. Приехал в Бирюсу. Потребовались бетонщики — стал бетонщиком. В 1960 году открылась новая стройка — Саранчат. Кругом тайга. И Николай становится лесорубом. Начали строить дома — обучился плотничьему делу. Можно было бы и осесть. Предлагали квартиру, спокойную работу, но он вновь собрался в путь. И опять тайга, болота, опять дорога...

Так шагает по жизни один из многих тысяч комсомольцев-добровольцев, прочно связавших свою жизнь с ударным комсомольским строительством. Если собрать в одну линию только мосты и тоннели, построенные Николаем и его друзьями по всей этой трассе, они протянулись бы, скажем, от Москвы до Тулы.

А вот жизненный путь другого нашего ровесника.

Победителем поэтического конкурса «Комсомольской правды» весной 1965 года стал молодой председатель колхоза Рязанской области Вячеслав Карасев. Вячеславу исполнилось двадцать восемь лет. А в 1962 году, когда он возглавил отстающий колхоз области, ему было двадцать четыре. Перелистаем страницы его короткой биографии.

Работал на заводе «Рязсельмаш». В армии стал ракетчиком. Окончился срок службы — вернулся в родную Рязань. В ту пору здесь началось сооружение завода искусственного волокна. Молодежь объявила стройку ударной. На ней Вячеслав работал плотником, столяром. Когда партия призвала комсомол послать своих лучших сынов на работу в село, в числе первых добровольцев был и Вячеслав Карасев, комсорг строительного управления. В совхозе «Комсомольский» он вновь организатор молодежи. Вскоре его посылают учиться. А затем...

...Хозяйство колхоза было запущенным. Не было семян, не хватало кормов, животноводческие помещения находились в плохом состоянии. Трудодни не оплачивались. Вячеслав сумел сплотить коллектив, и уже первую осеннюю страду хозяйство встретило более организованно.

Сейчас колхоз окреп. В прошлом году успешно выполнил план по сдаче государству зерна и продуктов животноводства, увеличилась оплата трудодней.

Еще не все трудности преодолены, еще многое предстоит сделать — в этом и видит свой долг молодой председатель.

Меня земля уставшая
На плечи подняла.
На пашне вместо павших я
Продолжил их дела.

.....
И, может быть, поэтому
В плену родных полей
Становятся поэтами
Потомки плугарей.

...Передо мной документы, рассказывающие о молодом потомственном сталеваре из Донбасса Владимире Грибиниченко. Вот выписка из решения комитета комсомола Макеевского металлургического завода имени Кирова: «...Мастер разливного пролета Владимир Грибиниченко в ночь с 5 на 6 мая 1965 года, находясь на работе, совершил героический поступок. В трудовых буднях повторил легендарный подвиг Александра Матросова. Спасая жизнь товарищей, он бросился под раскаленный поток металла и погиб».

Решением заводского комитета комсомола Владимир Грибиниченко навечно занесен в списки комсомольской организации.

Вот что говорят о нем товарищи: «Можно было удивляться разносторонности Володиных запросов, увлечений, каждому из которых он отдавался всей душой. Занялся спортом — сумел стать штангистом-перворазрядником. Полюбил танцы — стал одним из лучших в танцевальном коллективе заводского Дворца культуры. Он готовился к поступлению в институт, строил для мальчишек волейбольную площадку, занимался с ребятами атлетической гимнастикой...»

Вот что рассказывает мать: «Вовка мой весь в батьку пошел, вылитый отец. После техникума — прямой дорогой на завод. Мой там тоже работал. Сталь вывозил из мартена...»

Вот что писал в одном из писем сам Володя: «Мне нужно жить так, чтобы не оголенная просека прошла за мной — живой, человеческий след, по которому бы шли люди...»

Коллектив комсомольско-молодежной печи, который носит имя Владимира Грибиниченко, в рапорте накануне съезда докладывал: сверх задания выплавил семь тысяч тонн стали. Друзья ежедневно выполняют норму Владимира... Он оставил след, по которому идут другие.

Три очень коротко изложенных биографии. За ними встают три очень разных человека. Но судьбы их схожи, ибо люди эти объединены высшей духовной общностью — общностью борцов, каждым своим прожитым днем приближающих страну к заветной цели.

В. И. Ленин говорил, что «образцы борьбы должны служить нам маяком в деле воспитания новых поколений борцов». Большую роль призваны играть в этом литература и искусство.

Советская молодежь благодарна нашим художникам слова, мастерам музыки, кисти, резца, которые своими произведениями помогают юношеству осмысливать окружающую действительность, создают образы настоящих героев нашего времени. Сегодня, как никогда, ощущается потребность в образах героических, в персонажах, умеющих действовать революционно, обличать и побеждать зло, утверждать великие идеи. Но могут ли — и об этом нельзя не сказать — помочь воспитанию мужества те инфантильные скептики, упивающиеся собственным претенциозным интеллектуализмом, которые, к сожалению, иногда еще появляются в нашей литературе?

Издержки в литературе и искусстве бывают по разным причинам: и за отсутствием твердых идейных позиций у авторов и за неумением или нежеланием изучать жизнь. Огюст Роден говорил: чтобы создать что-либо настоящее, надо взять глыбу мрамора и отсечь все лишнее, потому что в каждой глыбе скрыто прекрасное. А бывает «творчество», как по чеховскому штабс-капитану: берут дырку и, чтобы получилась пушка, со всех сторон оплавливают ее чугуном. Тогда и появляются произведения, в которых за словесной эквилибристикой зияет пустота, в которых нет подлинной правды жизни и нет революционного оптимизма.

А советской молодежи нужны Корчагины, Мересьевы, Космодемьянские наших дней; нужны литературные герои, которые вдохновляют на строительство коммунизма.

Четыре года отделяют нас от предыдущего съезда комсомола. Срок небольшой. Но многое успело измениться. XXIII съезд КПСС поставил новые задачи перед ВЛКСМ. Среди них особенно выделены задачи по коммунистическому воспитанию молодежи. Как лучше решить их, как добиться наиболее эффективных результатов в труде, учебе, воспитании, как повысить роль комсомола в хозяйственном, культурном строительстве и политической

жизни страны, в борьбе за формирование человека — все эти и многие другие вопросы призван обсудить очередной, пятнадцатый съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.

Комсомол называют светлым пламенем революции. Он был им, он им остается. Это пламя разгорается все ярче. Его поддерживает могучее дыхание партии, ее дела и ее идеи.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Генрих Гофман

Братья МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ

При работе над повестью автор использовал материалы из архивов гестапо, захваченных Советской Армией. Полностью повесть выйдет в издательстве «Молодая гвардия» под названием «Герои Таганрога».

«Об одном прошу тех, кто переживет
это время: не забудьте!
Не забудьте ни добрых, ни злых».

Юлиус ФУЧИК

1

Немцы вошли в город под вечер. Танки с черными крестами на башнях, вырвавшись на берег к маяку, открыли огонь по последним уходившим в море судам с эвакуированными. За танками в город хлынула пехота. 17 октября 1941 года.

Тяжелые запыленные грузовики, рыча, двигались по городу. Повсюду слышалась чужая речь. На стенах домов, на специальных стендах появились немецкие приказы: о регистрации коммунистов и комсомольцев, о сдаче радиоприемников и пишущих машинок, о переименовании улиц, об организации русской вспомогательной полиции и русской газеты «Новое слово», о том, что бургомистром города назначен некто господин Ходаевский, а ортскомендантом — майор Альберти...

Каждый приказ завершался одним словом: «расстрел».

*

Секретарь горкома комсомола Николай Морозов (настоящее его имя было Семен, но почему-то с детства друзья окрестили Колькой) не успел эвакуироваться из города.

До последнего момента он руководил в порту раздачей зерна населению. А когда поднялся на палубу парохода «Ростов», гитлеровские танки уже вышли к маяку. Корабль был потоплен прямым попаданием снаряда. Николаю удалось выплыть.

Еще за несколько дней до ухода наших войск из Таганрога Николай попросил оставить его для подпольной работы. Горком партии отказал — это было рискованно: Морозова в городе слишком хорошо знали.

Сейчас, лежа в землянке, вырытой в саду за домом, Николай вспомнил свой последний разговор в уже опустевшем здании горкома с секретарем Ростовского обкома партии Ягупьевым.

Ягупьев сказал ему тогда:

— Выполняй приказ горкома и прорывайся в Ростов. Ну, а если не прорвешься, собери вокруг себя надежных ребят. Но помни: дело это трудное и опасное. Расплата за ошибку одна — жизнь.

Николай не был специально подготовлен для этой работы. Ягупьев не успел проинструктировать его, не дал явок, не назвал людей, оставленных горкомом партии в Таганроге.

О том, что Николай в городе, знали только его мать и старший брат Виктор.

Виктор работал машинистом на железной дороге. За день до прихода немцев он повел на Ростов эшелон с эвакуированными. Но дорога была уже перерезана, и Виктору пришлось пригнать эшелон обратно в Таганрог.

Николай не выходил из землянки. Мать приносила ему еду, от брата он узнавал, что делается в оккупированном городе.

Через несколько дней Виктор сообщил ему, что подполье, оставленное в Таганроге, провалилось. Об этом открыто говорили все. И это еще больше укрепило Морозова в решении создать свое, новое подполье.

Но с чего начинать?

Прежде всего Николаю нужны были люди, чтобы склотить первую подпольную группу, пусть сначала небольшую, но сплоченную и надежную. Николай понимал, что в новых условиях ему придется относиться к людям по-новому — с придирчивой подозрительностью и осторожностью. Но нужно было им верить! И это было гораздо ближе натуре Николая Морозова.

От брата и матери он постепенно узнавал о тех, кто волей или неволей остался в городе. Он устраивал им мысленную проверку, и тех, кто прошел ее, заочно зачислял в подпольную организацию.

Так думал он о семье Турубаровых: старике Турубарове, его сыне и дочерях. Николай еще до войны частенько бывал в их доме. Кузьма Иванович Турубарое рыбачил в Азовском море. Петр, Раиса и Валентина учились в 8 школе, где Николай был когда-то пионервожатым. Но и потом по старой дружбе они часто заходили к Николаю в горком комсомола, правда, без Петра: за год до войны он ушел служить в армию, в погранвойска.

*

В конце Исполкомовской улицы дорога круто спускается к морю, а по бокам ее, над обрывом, прилепились маленькие домики рыбаков.

Распахнув незапертую калитку, Николай вошел во дворик, весь завешанный рыбацкими сетями, прошел вдоль дома, постучал в дверь.

За дверью послышались шаги, в сенях раздался знакомый глуховатый голос:

— Кто там?

— Откройте. Свои.

Дверь распахнулась. На пороге стоял Кузьма Иванович.

— Николай Григорьевич... Неужели вы? Заходите скорей!

Николай переступил порог и увидел не только сестер Турубаровых, но, к немалому своему удивлению, и Петра.

— Я вижу, вся семья в сборе.

— Мы теперь больше дома сидим, — отозвался Кузьма Иванович. — Ноне на улицу выходить страшновато: того и гляди на неприятности нарвешься.

— Да, времена настали невеселые, — согласился Николай и повернулся к Петру. — А мне сказали, что тебя нет в городе. Ну, выкладывай, откуда в родной дом прибыл.

В первый же день войны, оглушенный взрывом немецкой бомбы, Петр попал в плен, бежал. Снова был схвачен под Мариуполем, потом ему опять удалось бежать. Голодный и измученный, он с большим трудом добрался до дома.

— Ну, а что теперь собираешься делать? — спросил Морозов.

— По-моему, из города уходить надо... В партизаны податься.

— Вокруг города голая степь. Партизанским отрядам там негде укрыться. — Морозов помолчал, раздумывая. — Что ж, надо решаться. В Таганроге мы у себя дома и можем многое сделать. За этим я к вам и пришел.

Петр внимательно посмотрел на него.

— Подполье?

— Да.

— Я буду вам помогать! — вдруг быстро сказала Валентина.

— И я, — отозвалась Рая.

— Правильное ты дело затеваешь, Николай Григорьевич, хотя и опасное, опыт для этого большущий нужен... — вмешался в разговор Кузьма Иванович. — Если я, старый, тебе пригожусь, я тоже согласен.

Николай вздохнул с облегчением.

2

Следующая встреча должна была состояться через месяц, но уже через неделю Петр срочно вызвал Морозова в дом старого рыбака.

За это время Рая поговорила слевой Костиковым и Женей Шаровым, Валентина разыскала Мишу Чередниченко и Олега Кравченко. Все они сразу же согласились работать в подпольной организации.

Николай с порога узнал Леву Костикова — они были давно знакомы.

— Что случилось?

— Я сам хотел к вам бежать, — сказал Лева. — Посмотрите, Николай Григорьевич. — Он протянул Николаю смятый лист бумаги с оборванными углами. — Сегодня утром сорвал с забора.

Морозов с первого взгляда все понял, передал лист Петру.

— Читай вслух.

«Воззвание к еврейскому населению города Таганрога.

В последние дни имелись случаи актов насилия по отношению к еврейскому населению со стороны, жителей неевреев...»

— Это же ложь. Ничего подобного не было! Явная провокация!

— Успокойся, Лева. Читай, Петро, дальше, — попросил Николай.

«Предотвращение таких случаев и в будущем не может быть гарантировано, пока еврейское население будет разбросанным по территории всего города. Германские полицейские органы, которые по мере возможности соответствовали противодействовали этим насилиям, не видят, однако, иной возможности предотвращения таких случаев, как в концентрации всех еще находящихся в Таганроге евреев в отдельном районе города. Все евреи города Таганрога будут поэтому в четверг 30 октября 1941 года переведены в особый район, где они будут ограждены от враждебных актов. Для проведения в жизнь этого мероприятия все евреи обоих полов и всех возрастов, а также лица из смешанных браков евреев с неевреями должны явиться в четверг, 30 октября 1941 года, к восьми часам утра на Красную площадь города Таганрога.

Все должны иметь при себе документы и сдать на сборном пункте ключи занимаемых до сих пор ими квартир. К ключам должен быть проволокой или шнурком приделан картонный ярлык с указанием имени, фамилии и точного адреса собственника квартиры. Евреям рекомендуется взять с собою, их ценности и наличные деньги, по желанию можно взять необходимый для устройства на новом местожительстве ручной багаж».

— Подлецы, грабят среди бела дня! — снова не выдержал Костиков. ...

— Нет, это не просто грабеж, — хмуро сказал Николай.

«О доставке остальных оставшихся на квартире вещей будут даны дополнительные указания. Беспрепятственное проведение в жизнь этого распоряжения — в интересах самого еврейского населения. Каждый противодействующий ему, а также данным в связи с этим

указаниям еврейского совета старейшин берет все ответственность за неминуемые последствия на самого себя.

Ортскомендант города Таганрога майор Альбертй».

— Что же это такое? — Рая перевела испуганный взгляд с Петра на Николая, потом на Костикова. — Лева! Они ведь всех убьют? Правда, убьют?

— Так было в Минске и во Львове. Так будет и у нас, — глухо проговорил Николай. — Мы обязаны по мере сил помочь этим людям.

— Но чем? — Костиков встал со стула, зашагал по комнате.

В комнату без стука вошел Женя Шаров, невысокий беловолосый паренек.

Не здороваясь, протянул на ладони маленький браунинг.

— А я у одного румына вот что выменял на пять стаканов махорки!

— Что же ты собираешься с ним делать? — спросил Морозов.

— Немчуру стрелять.

— Подожди стрелять. На вот, прочти. — Николай протянул Жене листок.

Шаров прочел, опустил на стул.

— Ну и сволочи! — Он вдруг вскочил, взмахнул браунингом. — Я предлагаю поднять панику на площади. Стрелять там в немцев...

— Не горячись, — остановил его Николай. — «Стрелять»... Мы можем помочь людям только советом. Необходимо попытаться убедить хотя бы знакомых нам людей не идти туда.

Костиков подался вперед.

— Николай Григорьевич, пусть это будет наше первое задание.

До самого комендантского часа ходили ребята по знакомым квартирам.

— Нас расстреляют? Стариков и детей? За что? — наивно спрашивали недоумевающие люди.

— Куда жэ мы спрячемся? Нас здесь все знают. Где же мы будем жить? В погребе? А у меня Сонечка грудная на руках... Мы же умрем с голода. Кто нас будет кормить?

Ребята с отчаянием смотрели на черноволосую испуганную женщину с грудной девочкой на руках.

— Спасибо, спасибо, — благодарили в другой квартире. — Мы и сами так думаем. Сегодня же уедем из города.

— Уходите, уходите, ничего не хочу слышать! — испуганно шептал седоволосый, с бескровным лицом старик. — Вы себя подведете. А нам все равно ничем нельзя помочь...

К комендантскому часу ребята успели обойти около двадцати семейств. Молодые подпольщики торжествовали. Все-таки некоторые из предупрежденных ими людей согласились уехать из города.

*

Утром на Красной площади собралось больше двух тысяч евреев. Старики, женщины, подростки с узлами, чемоданами, мешками и дорожными сумками озабоченно топтались возле своих вещей, испуганно поглядывая на немецких солдат, оцепивших площадь. Начальник городской полиции, бывший дворянин Юрий Кирсанов, вместе со своим помощником Стояновым и немецким капитаном Эрлихом забирали у людей ключи от квартир и тут же ощупывали каждого человека, отбирая наличные деньги и драгоценности.

Осеннее солнце выглянуло из-за туч, когда на боковой улице остановились четыре крытых брезентом грузовика. Солдаты торопливо подвели к ним женщин с грудными детьми на руках и совсем уже дряхлых стариков. Подталкивая их прикладами, загнали в машины. Разом взревели моторы. Наполнив улицу черным едким дымом, грузовики исчезли за поворотом.

Прошло около двух часов. Русская полиция и немцы под наблюдением ортскоменданта майора Альбертй зарегистрировали оставшихся евреев, а заодно произвели

осмотр содержимого чемоданов и свертков. Наконец ортскомендант подал знак общего построения. Изнуренные, взволнованные люди нехотя становились в колонну, когда к сборному пункту подъехал грузовой автомобиль. Это был один из тех четырех, на которых увезли женщин и стариков. Из кабины водителя на землю соскочил немецкий солдат и принялся осматривать скаты. Стоявшие поблизости увидели на сиденье шофера груды женского платья.

Колонну под охраной автоматчиков повели по улицам города в сторону аэродрома.

— Куда их гонят? — спрашивали друг друга горожане.

Среди стоявших на улицах таганрожцев был Кузьма Иванович Турубаров. Неожиданно его внимание привлекла молодая рыжеволосая женщина. Она шла вдоль самого тротуара, держа за руку мальчика лет четырех. Мальчик с любопытством озирался. У него была рыжая челка, щербатый рот и бледные веснушки на носу.

Глаза Кузьмы Ивановича встретились с отчаянным, молящим взглядом женщины.

— Жорик! Иди ко мне! — ласково позвал он мальчика.

Женщина торопливо подтолкнула сына. Тот удивленно оглянулся на мать, но она улыбнулась ему измученной улыбкой и кивнула головой.

— Я не Жорик. Я Толя, — сказал мальчик. — А я, дядя, вас знаю. Мы с мамой приходили к вам зз рыбкой.

Кузьма Иванович быстро огляделся. Никто не обращал на них внимания.

— А я тебе сейчас еще рыбки дам, — сказал он, взял мальчика за руку и быстро протиснулся в толпу.

Скоро они вышли на Исполкомовскую улицу. Так Толя стал членом семьи Турубаровых.

— А когда придет моя мама? — часто спрашивал он у взрослых.

— Потерпи, Толик. Скоро придет, — отвечали ему. Не могли же они рассказать, что его мать вместе с другими евреями, жителями Таганрога, была расстреляна в то солнечное, морозное утро за колючей проволокой аэродрома. Там, в небольшом овраге, названном Петруиной балкой, на самом краю аэродрома, под аккомпанемент ревущих моторов ежедневно трещали автоматные очереди. Этот овраг таганрожцы прозвали теперь Балкой Смерти.

3

Настало семнадцатое ноября. Вечером в доме Турубаровых собралась молодежь.

На большом накрытом старой клеенкой столе стояло блюдо с дымящейся картошкой и несколько бутылок домашней наливки, принесенной из погреба Марией Константиновной Турубаровой. Если забредет кто-нибудь чужой, решено было сказать: празднуем день рождения Раи.

Всего собралось девять человек. Петр разлил по рюмкам фруктовую наливку, девушки разложили по тарелкам картошку. Но ни есть, ни пить никому не хотелось.

Николай внимательно оглядел ребят. О каждом он знал теперь все, биографии у них были почти одинаковые. Большинству — восемнадцать лет, только Петр Турубаров старше, а младшим — Олегу Кравченко и Рае — не исполнилось еще и шестнадцати.

Вот сидит Петр Турубаров. Чувствуется, что он человек сильный, волевой, твердый.

Лева Костиков старается держаться солидно, старше своих лет, говорит басом, хмурит густые, разлетающиеся к вискам брови. Он немножко позер, но это — позерство юности, которая хочет скорее казаться зрелостью. Характер у него пылкий и деятельный, Лева всегда все хочет делать сам, горяч, но отходчив.

Рядом сидят Иван Веретеинов и Спиридон Щетинин, оба крупные, с тяжеловатыми плечами. У того и другого носы с приметной «южной» горбинкой, и над верхней губой одинаковый темный пушок, которого еще не касалась бритва, — настоящие таганрогские парни. Сколько таких перебивало у Николая во время его работы в горкоме!

А вот и Женя Шаров — любимец товарищей, неутомимый балагур и остряк. Женька рвется к самостоятельности, не очень-то любит дисциплину, его нужно сдерживать.

Наконец, Рая и Валентина Турубаровы и Олег Кравченко. Олег — совсем еще мальчишка.

Все. И вот с этими ребятами предстоит Николаю начать сражение против жестокой, хорошо налаженной немецкой машины. Хватит ли у них сил и выдержки для этой ежедневной борьбы?

— Друзья! — волнуясь и не скрывая своего волнения, начал Николай. — Пришел час испытания. Будем бороться с врагами нашей Родины и не побоимся, если придется, отдать в этой борьбе нашу юность и нашу кровь... Сегодня мы должны принести клятву. Клятву, которая свяжет нас в нашей борьбе, на жизнь и на смерть...

Николай достал из пиджака измятую ученическую тетрадь. В тишине зазвучал его приглушенный голос:

— Я, Николай Морозов, вступая в ряды борцов против немецких захватчиков, клянусь, что буду смел и бесстрашен в выполнении даваемых мне заданий; буду бдителен и не болтлив; буду беспрекословно выполнять даваемые мне поручения и приказы... Если я нарушу эту клятву, — Николай пристальным взглядом обвел лица собравшихся, — го пусть моим уделом будут всеобщее презрение и смерть...

Ребята молчали. Глаза у всех были суровыми.

— Есть замечания и предложения? — спросил Морозов.

— Все правильно. Яснее не скажешь, — твердо проговорил Петр Турубаров.

— Тогда каждый пусть перепишет, — сказал Николай. — Я буду диктовать.

При тусклом свете керосиновой лампы ребята выводили слова клятвы. Кто писал огрызком карандаша, кто ученическими ручками, принесенными Раей. Когда переписали все, решено было, что каждый прочтет клятву вслух. Первым поднялся Леза Костиков. Он приблизил лист к свету керосиновой лампы, и вдруг...

Комната медленно осветилась: над столом зажглась электрическая лампочка. Ребята удивленно и радостно переглянулись. Уже больше месяца в городе не работала электростанция, а тут — на тебе! Яркий свет непривычно резал глаза.

— Да будет свет! Лампочка Ильича освещает нам путь во тьме фашистской оккупации! — с пафосом произнес Лева Костиков.

Слова прозвучали как часть клятвы. Когда смолк голос Валентины Турубаровой, которая давала клятву последней, Морозов сказал:

— С этой минуты, друзья, мы боевой отряд. Теперь надо выбрать командира группы.

— Николай Григорьевич, вы же наш командир, — сказал Костиков.

— Нет, ребята, — ответил Морозов. — Моя задача — руководство всей организацией. Вы в ней только ячейка.

— Значит, уже сейчас, кроме нас, есть еще группы? — спросила Рая.

Морозов еле сдержал улыбку, сказал после паузы:

— Пока нет. Но будут.

Закон конспирации входил в силу.

Несколько дней назад Морозов встретил Георгия Пазона, своего бывшего ученика, раненого бойца Красной Армии, и дал ему задание тоже собрать надежных ребят для подпольной группы. О ней пока будет знать только он, Морозов.

Командиром единогласно избрали Петра Турубарова. Начальником штаба назначили Леву Костикова. Ему поручили хранить клятвы.

— Теперь о практической работе, — сказал Морозов. — По мере сил мы должны добывать оружие. Вот у Шарова уже есть браунинг. Это хорошо. Но оружие носить при себе опасно. Можно нарваться на облаву. Его надо хранить в тайниках. И пока ни в коем случае не пускать в ход.

Шаров недоуменно поднял брови.

— А я только позавчера кокнул фашиста... Ребята впились в него глазами, пытаюсь понять, шутит он или говорит серьезно.

— Как же ты его, Женя? — испуганно вскрикнула Рая.

— Вечером возле порта с ним встретился. Кругом никого. А он пьяный идет, пошатывается. В небе самолеты гудели. Я его тихонечко и тюкнул. А сам драпу во все лопатки. Только дома и отдышался.

— Газету «Новое слово» читали? — сурово спросил Николай. — Гитлеровцы за это расстреливают заложников. Вот послушайте. — Николай достал из кармана газету, развернул и начал читать: «Уже несколько наших доблестных спасителей — немецких солдат и офицеров — пали жертвами предательских ударов из-за угла. В ночь с 29 на 30 октября в Таганроге был убит немецкий офицер. За это по распоряжению германского командования расстреляно десять граждан-заложников. Германское командование уполномочило нас заявить, что так будет и впредь. За каждого убитого в городе немца будут расстреливаться заложники».

— Николай Григорьевич! Так я же только позавчера убил. А этого в октябре кто-то кокнул! — воскликнул Женя.

— Значит, за твоего еще десять жителей расстреляют.

Все растерянно смотрели на Николая.

— А что же делать? — спросил Шаров. Морозов думал. От его ответа на этот вопрос во многом зависело будущее подпольной организации. У молодых парней, горящих ненавистью к врагу, впервые в жизни оказалось в руках настоящее боевое оружие. Конечно, им не терпится пустить его в ход. Но если каждый начнет действовать на свой страх и риск, — организация перестанет существовать.

— В наших условиях может произойти всякое, — сказал Николай. — Может случиться, что не будет другого выхода. Надо стрелять. Не раздумывая. Но я хочу, чтобы вы поняли главное: мы члены организации, и, следовательно, действовать каждый из нас должен организованно. В этом наша главная сила. Конечно, мы должны уничтожить врага. Но тебе, Женя, предстоят более серьезные дела, чем убийство одного вражеского солдата. Будешь действовать по общему плану — и от руки твоей погибнут сотни врагов. Случайный выстрел может только все испортить. И потому предупреждаю: на каждый выстрел по врагу должно быть решение командира и штаба. Это приказ.

Он перевел дух и продолжал совсем спокойно:

— А сейчас задачи у нас такие. Накапливать оружие. Продумать план боевых операций. Развернуть агитацию среди населения. Поддержать в людях уверенность в скором освобождении, в победе Красной Армии. Приемник нужен — слушать сводки Информбюро, а потом распространять их в городе. Словом, пока на первом плане должна быть агитация и пропаганда... Кстати, хорошо бы раздобыть пишущую машинку.

— Машинку достать попробуем, — сказал Петр Турубаров. — А вот с радиоприемником сложнее. Сданы они все. Некоторые еще нашим сдали, а те, у кого оставались, с перепугу немцам отнесли...

— Постой, Петр! Тут у одного паренька на квартире два немецких офицера стоят. Я у них видел приемник. Днем, когда их нет, можно и послушать, — предложил Щетинин.

— А паренька ты хорошо знаешь?

— Вроде бы неплохо. Только ведь я ему не буду объяснять. Да и ему-то, небось, тоже интересно.

Со скрипом растворилась дверь. В комнату ворвался холодный ветер.

— Почему бутылки полные? — спросил с порога Кузьма Иванович. — Гляди-ка, мать, до картошки даже не дотронулись. Эх, вы... конспираторы.

До комендантского часа осталось минут тридцать. Пора было расходиться. Ребята прощались, выходили по одному.

— А вы куда путь держите? — спросил уходившего последним Морозова Кузьма Иванович. — Ночуйте у нас. Место всегда найдется. Сейчас ужин справим, рыбки поедим.

Разрешили теперь рыбачить. Видно, немец по рыбе соскучился. Вот и ловим. Трохи себе, а остальное фашист забирает. Ни в жисть не стал бы ловить, да кормиться надо, товарищ Морозов.

— И правда, Николай! Куда ты пойдешь? Оставайся, коли батя приглашает, — поддержал отца Петр.

Морозов вспомнил свою землянку. Сейчас в ней сыро, холодно...

— Пусть будет по-вашему. Остаюсь.

4

Морозов и Георгий Пазон встретились на улице случайно. Пазон был с палкой и сильно хромал. Николай сразу узнал своего бывшего ученика. Больше года преподавал он историю в классе, где учился Георгий.

Морозов хотел пройти мимо, но такая простодушная и горячая радость засветилась в глазах Георгия, что Николай остановился, презрев все законы конспирации.

— Николай Григорьевич! — кинулся к нему Пазон. — Неужели это вы? Теперь мы не пропадем.

— Кто это мы? — спросил Николай.

— А у меня тут дружок один есть, Колька Кузнецов. Мы с ним хотели фашистам вредить, — прямо и просто сказал Пазон. — Только не знаем, с чего начать. Но теперь, раз я вас встретил...

— Доверяешь, значит, мне? — усмехнулся Николай.

— А как же? Если не вам, то кому же можно доверять?

Глаза Георгия смотрели открыто и смело. Да, такому взгляду можно было довериться.

— Эх, и заводила ты был, Юрка, — ласково и весело сказал Николай. — Теперь-то хоть стал серьезнее?

— Будешь серьезнее, когда гитлеровцы кругом. Вот от костыля избавлюсь и возьмусь за дело. Руки чешутся. Пусть не думают гады, что мы им покорились.

— Что ж, задумано неплохо. Попробуй найти и других ребят. Но обо мне ни слова. Связь со мной будешь держать сам. Понял? А там мы сообразим что-нибудь дельное.

— Понял, — весело ответил Пазон. — На меня можете положиться, Николай Григорьевич!

...И вот теперь они виделись во второй раз. Они сидели в небольшой, чисто прибранной комнате. Обычная комната, каких много в Таганроге: фикусы у окна, швейная машина в углу на столике, этажерка с книгами. Пазон жил вдвоем с матерью.

— Ну, как дела? — спросил Морозов, глядя, как Пазон, морщась, растирает раненую ногу. — Мешает нога-то?

— Теперь уже ничего. Терпимо. А когда фашисты пришли, ходить не мог.

Николай уже знал, что Пазон был ранен в одном из первых боев на Западном фронте. Несколько месяцев лежал в московском госпитале, потом был отправлен домой на поправку. Приехал к матери на костылях, а тут и немцы подоспели. При всем желании не мог уйти из родного города.

— Нашел еще кого-нибудь из ребят? — спросил Николай.

— Есть туг у нас одна дивчина, — сказал Пазон. — Колька с нею вместе в школе учился. Бойко по-немецки разговаривает. Хотим сагитировать.

— Ты хорошо ее знаешь?

— Знаю. И Колька за нее головой ручается. Да и вы, Николай Григорьевич, должны ее знать. Во всяком случае, о родителях ее наверняка слышали.

— Кто такие?

— Трофимовы. И отец и мать — оба врачи. Сам Трофимов в Красной Армии служит. А жена его во время эвакуации была больна. Дочь Нонна с ней и осталась.

— Что ж... Может пригодиться. Только проверьте ее как следует. А еще что ты сделал?

Пазон встал, отодвинул стол, стоящий посередине, приподнял две половицы. Под половицами были спрятаны два пистолета, гранаты, несколько брикетов тола, кучка патронов, автомат с круглым диском.

— Да у тебя тут целый арсенал! — поразился Николай.

— На днях две гранаты стянул из немецкой машины, — улыбнулся Пазон. — Пришлось пробежаться. В другой раз восемь толовых шашек из грузовика утащил.

— А мать знает?

— Она мне сама пистолет раздобыла. Говорит, нашла. Она у меня молодец. Смелая... Партизанкой хочет быть. Вся в меня.

— Ну, ты молодчина! Пазон гордо поднял голову.

— То ли еще будет, Николай Григорьевич! Мы с Колькой грандиозную операцию на днях проведем...

— Какую операцию? — встревожился Николай. — Ты знаешь, что без моего разрешения, вернее, без решения центра действовать запрещено?

— Вот я и хотел посоветоваться... — Пазон прикрыл половицы, поставил на место стол и подсел к Николаю.

Он рассказал, что они вдвоем с Кузнецовым решили взорвать в порту склад с боеприпасами. Вся операцию продумали детально, до каждой мелочи.

Пазон с надеждой смотрел на Николая. А тот молчал. Не слишком ли рискованно для первого раза? Сумеют ли эти двое, из которых одному не исполнилось и семнадцати, а второму — Пазону — едва перевалило за двадцать, осуществить столь смелую диверсию? Имеет ли он право рисковать этими ребятами и успехом такого важного дела?

— Николай Григорьевич! — нетерпеливо прервал его мысли Пазон. — Вот посмотрите...

Он достал из кармана тетрадь, раскрыл последнюю страницу и начал рисовать на внутренней стороне обложки план расположения склада. Затем объяснил, где хранятся боеприпасы, где прохаживается немецкий солдат, откуда легче напасть на него сразу же после смены часовых.

— Придумано смело. И, по-моему, есть шансы на успех.

— А мы без шансов, мы наверняка, — сказал Пазон. — Колька головой ручается, что все будет в порядке.

— Не ценит твой Колька свою голову. — Николай строго посмотрел на Пазона. — За Нонну Трофимову — головой, за взрыв — головой. Голова, ведь она человеку на всю жизнь одна выделена. Ее побережь надо. Так и передай своему другу. И вообще, вижу я, горячий он у тебя. Воспитывать его надо для нашего дела. Вот ты за это и возьмиись.

— Есть воспитывать! — весело ответил Георгий.

— Городской подпольный комитет комсомола назначил тебя командиром подпольной молодежной группы. Это приказ. Ясно? Вот тебе текст клятвы.

...Темной осенней ночью Таганрог содрогнулся от сильного взрыва. В небе распростерлось зарево большого пожара. В порту горели склады с оружием и боеприпасами. С грохотом рвались в этом громадном костре артиллерийские снаряды.

5

После сильных заморозков наступила оттепель. Под ногами прохожих чавкала слякоть. В ночь на двадцать девятое ноября шестеро молодых подпольщиков вышли из города и направились в сторону станции Марцево. Возглавлял группу Петр Турубаров.

Хлестал дождь, крупные капли скатывались за воротник.

По полю шли молча, гуськом, напрямик к железнодорожному полотну. От липкой грязи ботинки казались пудовыми.

Обязанности распределили так: Лев Костиков и Спиридон Щетинин выходят на насыпь и выкапывают лунку под рельсом. Иван Веретеинов подносит им противотанковую мину, Петр Турубаров, Евгений Шаров и Олег Кравченко прикрывают их с автоматами.

Несколько дней ждали ненастной погоды. Рассчитывали, что в дождь немцы будут отсиживаться в помещениях. И вот начавшийся утром дождь, не прекращаясь, лил весь день. Не перестал он и ночью.

На востоке, у самого горизонта, зарницами вспыхивали артиллерийские залпы. Впереди, совсем близко, прогремел паровоз.

Петр Турубаров остановился. За ним, наталкиваясь в темноте друг на друга, остановились и остальные. Из-за стука колес удалявшегося поезда ничего не было слышно.

Когда вплотную приблизились к насыпи, дождь немного утих. Петр с трудом вскарабкался наверх, нащупал стык.

— Вот здесь! — приказал он.

К нему подползли Костиков и Щетинин. Когда слуха достиг тихий, натужный гул, все было уже налажено.

— Рельсы гудят. Кажется, эшелон идет от Таганрога, — сказал Щетинин.

— Пошли отсюда. Сейчас увидим, что из нашей затеи получится, — отозвался Костиков.

Невольно убыстряя шаг, ребята почти побежали. Теперь никто не обращал внимания на промокшую обувь, на грязь. Позади отчетливо слышался перестук колес на стыках железнодорожного полотна. Правда, не было привычного грохота тяжеловесного состава.

— Дрезина, — догадался Костиков.

И в то же мгновение вспышка света озарила поле. Прогредел взрыв, и опять темнота окутала землю. Только на морском побережье чаще стали взлетать осветительные ракеты.

Долго в эту ночь не мог заснуть Петр Турубаров. И не только потому, что было обидно: ведь вместо дрезины могли взорвать воинский эшелон... Но хорошо и то, что все сошло благополучно.

И вот сейчас Петр думал о работе подпольной группы.

У каждого из ребят было свое постоянное дело. Лева Костиков под руководством Николая Морозова сочинял и обрабатывал тексты листовок с воззваниями к жителям Таганрога. Рая и Валентина каждый вечер переписывали от руки разборчивым, школьным почерком целые пачки этих листовок. А Женя Шаров и Олег Кравченко расклеивали их по городу. Иван Веретеинов, Спиридон Щетинин и сам Петр Турубаров добывали оружие. На чердаке у Петра уже хранился ручной пулемет и несколько автоматов.

Днем Петр встретился с Морозовым и доложил о проведенной операции. Николай уже слышал от брата, что на подорвавшейся дрезине погибли семь немецких солдат и два полица. Движение поездов на перегоне Таганрог — Марцево было прервано на шесть часов.

6

В оккупированном Таганроге своеобразным барометром настроения стал базар. Отсюда расползались по городу разные слухи.

Несмотря на требование немецких властей торговать на деньги, никто ничего не продавал. Процветал обмен. Меняли все: обувь на рыбу, рыбу на яйца, яйца на табак, табак на рубашку или ботинки.

В первые дни оккупации на базаре можно было сменить поношенный пиджак на стакан махорки, а затем выменять махорку на полдесяток яиц. За пару кожаных подошв для сапог давали две селедки. «Свободное предпринимательство» поощрялось немцами вовсю. Но так продолжалось недолго. С наступлением холодов немцы потребовали продавать продукты только на деньги. По базару расхаживали патрули, следившие за торговлей.

Цены заметно подскочили. Ведро картошки стоило пятьдесят рублей, или пять марок, курица — шестьдесят, или соответственно шесть марок, стакан махры — двадцать пять, селедка — четыре рубля штука. В зависимости от силы артиллерийских залпов, доносившихся с востока, спекулянты торговали на рубли или марки. Если докатывается только гул, — марки в ходу, если и земля вздрагивает, — значит, Красная Армия близко, — тогда рубли подавай.

В первых числах декабря в Таганроге похолодало. Вереницы грузовиков потянулись по улицам города на запад — в сторону Мариуполя. В ночь на третье с вокзала отправился поезд, переполненный удиравшими гитлеровцами из тыловых учреждений. На востоке все отчетливее слышалась сильная артиллерийская перестрелка. На базаре пронесся слух, что Красная Армия со дня на день придет в Таганрог. Советский рубль стал набирать силу.

Но пятого декабря Таганрог вновь наполнился лязгом гусениц и ревом моторов. Колонны немецких танков и самоходок шли на восток. По городу поползли слухи, что гитлеровцы вновь овладели Ростовом. Базар вернулся к немецким маркам.

И все-таки однажды над городом показались краснозвездные самолеты. Они бомбили аэродром и сбрасывали листовки. Одна листовка упала во двор турубаровского дома. Рая подобрала ее.

— Ура! — закричала она. — Ура! Немцев разгромили... под Москвой! — У нее срывался голос, и Рая вдруг заплакала от радости.

Все в доме старого рыбака по несколько раз перечитывали это долгожданное известие. Цифры потерь фашистов под Москвой действовали ошеломляюще. По указанию Морозова Петр Турубаров приказал каждому члену подпольной группы переписать по десять экземпляров сводки Информбюро и расклеить их по городу.

*

Ртутный столбик термометра часто опускался ниже двадцати градусов. Уголь и дрова стали редкостью. Подтапливали стульями, табуретками, досками от сараев. Несмотря на строжайший запрет германских властей, люди ухитрились под покровом темноты разбирать заборы. По таким патрули стреляли без предупреждения.

На стенах расклеивали обращение бургомистра:

«Ввиду начавшихся зимних морозов германское командование просит население сдать всю излишнюю теплую одежду. За новые вещи военные власти выдадут владельцам продукты питания по номинальной стоимости. На поношенные теплые вещи будет произведена соответствующая скидка.

В случае, если указанная мера не достигнет желаемых результатов, военные власти будут вынуждены произвести обыски в квартирах граждан гор. Таганрога. Выявленные в этом случае излишки теплой одежды будут изыматься безвозмездно».

Далее следовали адреса приемных пунктов, разбросанных по всему городу. Но добровольцев не находилось. Приемные пункты пустовали.

Для обмена на продукты люди несли одежду в ближайшие села. На заснеженных дорогах их задерживали гитлеровцы. Отбирали последнее. По обочинам дорог лежали раздетые, обледеневшие трупы.

Гром артиллерии катился с востока. Почти каждый день советские самолеты бомбили аэродром и береговую артиллерию немцев. Боясь атаки с моря, гитлеровцы обнесли побережье колючей проволокой, ночами взлетали ракеты, освещая скованный льдом залив. По слухам, фронт проходил всего в пятнадцати километрах от Таганрога.

Фашисты усиленно возили в сторону фронта бревна и доски для оборонительных сооружений. По городу не прекращались облавы. Задержанных гнали на окопные работы.

Видно, туго приходилось захватчикам. Десятки грузовиков и санитарных автомобилей доставляли в Таганрог раненых и обмороженных. Городские больницы,

амбулатории, школы срочно оборудовались под госпитали. Постелей не хватало. Немцы ходили по квартирам и реквизировали простыни и одеяла.

Подпольщики Морозова продолжали действовать.

— Нужно взорвать электроподстанцию на заводе. Там ремонтируется боевая техника для фашистов. Подумай, как это сделать, — сказал Морозов Петру Турубарову.

— Хорошо! Будет выполнено! — обрадовался Петр.

В одну из следующих ночей электроподстанция завода сгорела дотла. Ее подожгли бутылками с горючей жидкостью. Такими же бутылками в ту же ночь подпольщики подожгли около двадцати автомашин и мотоциклов с колясками.

7

В небольшом домике на Котельной улице собрались братья Афоновы. За столом, рядом с отцом — старым потомственным рабочим завода «Металлург», — сидели Александр, Константин и Андрей, Только старший брат, Дмитрий, отсутствовал в этот новогодний вечер. Он сражался на фронте в рядах Красной Армии.

Мать, невысокая, худенькая женщина, уже закончила кухонную возню, поставила рядом с селедкой большой чугунок вареного бурака и присела к столу.

— Ешьте. Вот как мы Новый год нынче встречаем...

Семен Терентьевич наполнил самогоном небольшие лафитники, поставил бутылку на прежнее место и торжественно произнес:

— Чтобы в Новом году наш Дмитрий вернулся с победой!

Движения его были неторопливы. Казалось, ничто не в состоянии вывести его из себя. Но сыновья были невеселы.

В этом году Константину исполнилось двадцать. Женился рано. А тут фашисты. И завод стал не в радость. По примеру отца Константин не пошел наниматься к врагам. Только что теперь делать, как жить, как кормить семью, не знал.

— Может, пойти на завод работать? — сказал Константин. — Там незаметно немцам и навредить можно. А все же пайком наделят. На заводе, говорят, и хлеб выдают и столовую открывать собираются...

Отец поморщился.

— Перед братом-то как оправдаешься? Иль не веришь, что вернется? Будешь для фашистов железо катать?

— Делами своими оправдаюсь, — сказал Константин. — Если людей на заводе подобрать...

Он не договорил. В дверь постучали. В комнату вошел человек, до глаз обмотанный серым шарфом.

— Василий, никак ты? — обрадовался Семен Терентьевич, признав племянника.

Сняв пальто, Василий сел к столу. И лицом, и невысокой, коренастой фигурой, и неторопливыми жестами он походил на Семена Терентьевича. И хотя было ему всего тридцать два года, выглядел он старше: морщинки, лучами расходившиеся от глаз, и небритые, покрытые светлой щетиной щеки старили его.

— Значит, встречаем Новый год? — покосился он на лафитники.

— Надо же для порядку, — ответил Семен Терентьевич. — А тебя как в Таганрог занесло? Пошто с Красной Армией не ушел? Ведь ты был в Матвеевом Кургане секретарем райисполкома... Гитлеровцы ноне таких не жалуют. Аль две головы на плечах имеешь?

— Уходил, дядя Семен, уходил. А потом обратно решил вернуться. Потому что надо же кому-нибудь и здесь праведный суд вершить. Соображаешь? Вот и пришел в родной город. Дел и здесь много. — Василий умолк.

Ему тяжело было рассказывать о провале Курганского подполья. Оно было плохо организовано: люди почти не проверены, слабо знали друг друга. Василий не ждал, что его оставят, а пришлось стать начальником штаба подпольной организации.

Конспирация подпольщиками почти не соблюдалась, о тайнике с оружием знали многие. Ничего удивительного, что гестапо на второй день после прихода уже обнаружило этот тайник: один из подпольщиков оказался предателем. На собрании на конспиративной квартире было решено из Матвеева Кургана уходить. Некоторые ушли в Шахты, другие подались через фронт к своим. Так Курганское подполье перестало существовать. Василий Афанов решил обосноваться в Таганроге и, учтя все ошибки Курганской организации, создать новое подполье...

— А как вы в Таганроге остались? — спросил он, в свою очередь.

— Работали по эвакуации станков до последнего дня. А немец-то вдруг дорогу на Ростов и перерезал. Теперь вот голову ломаем, как жить дальше. Константин на завод собрался. — Семен Терентьевич зло усмехнулся. — А я не хочу — погожу...

— Да что вы, батя! Я не работать, я вредить им хочу! На улице кто-то листовки расклеивает, склады подожгли в порту. Люди головой рискуют. А что мы? Ждем, когда другие немца погонят.

Семнадцатилетний Андрей восторженно наблюдал за братом.

Василий молча доедал вареный бурак.

— Молодец, Костя! — вдруг сказал он, отодвинув пустую тарелку. — Верно говоришь. Работать можно по-умному. Зачем дома сидеть? Иди на завод, а там и дело найдется...

Он обернулся к старику Афанову.

— А ты, дядя Семен, собираешься за Советскую власть бороться? Или дома отсиживаться будешь?

— Я и борюсь... На немца работать не иду, голодать предпочитаю. Вот моя борьба.

— А если придумать что-нибудь посерьезнее?

— Это уж твое дело, Василий. Ты партийный руководитель. А я что? Я как все... — И Семен Терентьевич хитро посмотрел на Василия.

*

...До комендантского часа оставалось каких-нибудь сорок минут, когда на Котельной улице Константин Афанов вдруг лицом к лицу столкнулся с Николаем Морозовым.

— Это ты, Афанов? — Николай обратил внимание на его оттопырившееся пальто. — Что, опять голуби?

До войны Костя слыл ярым голубятником. Даже на собрание, где его должны были принимать в комсомол, он принес за пазухой голубей и выпустил в окно целую стаю «чиграшей» и «монахов».

— Нет, — улыбнулся Константин и кивнул в сторону. — Зайдем во двор.

Там он распахнул пальто. Блеснул вороненый ствол немецкого автомата.

— С пьяным румыном на валенки поменялся! — Николай глянул на ноги Константина и только теперь увидел, что тот топчется на снегу в одних шерстяных носках.

Вместе направились они по Котельной улице.

— Достану патроны, начну потихоньку постреливать, — говорил Константин.

— Один с фашистами не справишься. Только беду накличешь. Надо товарищей подбирать. Тогда веселей дело пойдет.

— А у нас уже есть... — сказал Константин и запнулся.

— Ну, чего смолк? Теперь уж выкладывай начистоту.

На длинных ресницах Константина искрился иней. Голову плотно облегал кожаный летный шлем. Вокруг шеи топорщился черный ворот свитера. Глаза у него стали недоверчивые, колючие.

Их встреча не была случайной. Николай уже давно искал связи с людьми на заводе. О семье Афановых ему сказал Кузьма Иванович Турубаров, а это была рекомендация надежная.

От Константина Морозов узнал, что в городе Василий Афионов. Частенько встречались они в Ростовском обкоме партии на совещаниях и семинарах. Бывал Николай по службе у Василия и в Матвеевом Кургане. Афионов всегда нравился ему своей серьезностью, честностью и прямоотой.

Решив не откладывать встречу, Николай тут же пошел к Афионову. Василий встретил Морозова так, словно давно его ждал. Спать им в ту ночь не пришлось. Говорили, говорили, планировали совместную работу. Под утро за окнами пролязгали гусеницами немецкие танки.

— Новые силы подбрасывают. К наступлению готовятся, — сказал Василий. — Надо и нам собрать наши силы.

8

Восемнадцатого февраля в доме у Василия Афионова собрались руководители подпольных групп: Георгий Тарарин и Максим Плотников с завода, Юрий Каменский, Николай Морозов, Петр Турубаров, Лева Костиков и еще несколько человек.

Расположились в комнате у Василия, оставив Андрея Афионова во дворе «на часах». Со стены сняли старенькую гармонь мужа Евдокии, водрузили ее на самом видном месте, хотя играть на ней никто не умел. На столе стоял чугунок с вареной подмороженной черно-лиловой картошкой.

Лица у всех подпольщиков были утомленные, осунувшиеся: многие недоедали, недосыпали, жили в постоянном нервном напряжении.

Петр Турубаров и Лева Костиков сели рядом — многих они видели здесь впервые, хорошо знали только Константина Афионова.

— Товарищи! Подпольный центр в Таганроге считаю созданным, — сказал Василий. — В него входят руководители всех подпольных групп, то есть вы. Надо избрать руководителя центра. Я предлагаю секретаря городского комитета комсомола Николая Морозова.

— Можно мне? — поднял руку Морозов.

— Давай говори, Николай.

— Я благодарен за доверие, товарищи, но считаю, что руководить центром должен Василий Афионов. И вот почему. Обком оставил его для подпольной борьбы в Матвеевом Кургане. Он получал инструкции. Я такого опыта не имею.

Командиром Таганрогского подполья единогласно избрали Василия Афионова, Николая Морозова — комиссаром. Все поклялись беспрекословно выполнять указания городского подпольного центра.

— А теперь попробуем сформулировать наши задачи, — сказал Василий. — Пока на повестке дня создание организованных, боеспособных групп. При отступлении фашисты попытаются взорвать промышленные предприятия и склады. Мы не допустим этого. Достанем оружие. Будем добывать его любыми средствами. Далее. Немцы мобилизуют молодежь для отправки в Германию. Мы должны всеми силами препятствовать этому.

— А как препятствовать? Из нашей группы уже двоих зарегистрировали, — сказал Турубаров.

— Где работали эти двое? — спросил Василий.

— В том-то и дело, что нигде.

— Товарищи! Всем членам подпольных групп необходимо твердо обосноваться в учреждениях и на предприятиях города. Это сейчас для нас самое главное — мы должны легализоваться... Нам нужно иметь справки и пропуска для свободного передвижения по городу. Это усилит нашу связь с массами, позволит сохранить людей от угона в Германию.

— У меня предложение, — поднял руку Лев Костиков. — Немцы объявили набор учащихся в сельхозтехникум. Я считаю, что нашим ребятам есть резон поступить туда.

— Правильно Костиков говорит. Среди молодежи тоже работать нужно, — поддержал Морозов.

— Значит, решено, — сказал Василий. — Считаю, Турубаров, что поступление вашей группы в сельскохозяйственный техникум — это задание подпольного центра. — Выждав несколько секунд, он продолжал: — Необходимо также подумать о военнопленных. Мне известно, что в первой и третьей больницах лежат раненые танкисты, летчики, артиллеристы — словом, подготовленные офицеры, которые мечтают вырваться на свободу. Надо разыскать патриотов среди медицинских работников и через них попытаться помочь этим людям.

Совещание подпольного центра закончилось перед комендантским часом.

— Теперь мы с тобой за всех в ответе, — сказал Николай, когда товарищи разошлись. — Теперь никаких тайн друг от друга. Так вот: для связи с командованием Красной Армии я послал человека через линию фронта.

— Кого? — оживился Василий.

— Это наша связная: Наташа. Комсомолка. Сама вызвалась. Если ничего не случилось, должна быть уже там.

*

Однако напрасно они ждали связную. Наташа не вернулась. Подпольщики так и не узнали, что с нею случилось. А произошло вот что.

Наташа благополучно перешла залив. В ту же ночь еще затемно ее доставили в штаб батальона, потом — в штаб полка, дивизии. На другой день к вечеру ее привезли в Ростов. В обкоме партии Наташу принял Ягупьев.

Четыре дня провела Наташа во фронтовом Ростове. Встречалась с Ягупьевым и с другими товарищами, которые инструктировали ее, как в дальнейшем действовать таганрогским подпольщикам. Наизусть запомнила пароли, с которыми явятся в Таганрог связные.

В конце февраля Наташу отправили назад через линию фронта. Но гитлеровцы схватили девушку и, сколько она ни убеждала, что бежала от большевиков, что родные живут в Таганроге, ей не верили. Во время пыток Наташе отрезали груди, но она не выдала товарищей. Ее расстреляли.

Так первая попытка таганрогских подпольщиков установить связь с Большой землей потерпела неудачу.

9

Командир сто одиннадцатой немецкой пехотной дивизии генерал Шведлер расположил свой штаб на восточной окраине Таганрога и принял все меры по укреплению обороны. По приказу командования группы армий «Юг» ему надлежало стойко оборонять достигнутые рубежи.

Генерал Шведлер приказал, чтобы доблестные солдаты фюрера глубже зарылись в землю. После значительных потерь в предыдущих боях дивизия была доукомплектована личным составом, пополнена боевой техникой и приданными частями. Все это успокаивало генерала Шведлера, вселяло надежду на успех в оборонительной операции. К тому же пригревало мартовское солнце, и случаи обморожения среди солдат и офицеров прекратились.

Генерал был в отличном расположении духа, когда вместе со своим заместителем, полковником Рекнагелем, выбрался из подвалов штаба, собираясь ехать в одну из вверенных ему частей. Уже возле автомобиля дорогу им преградил высокий, подтянутый оберлейтенант.

— Вилли Брандт, — представился он командиру дивизии, — новый начальник группы тайной полевой полиции ГФП-721.

Шведлер и Рекнагель залюбовались молодцеватой выправкой обер-лейтенанта, его красивым, выхоленным лицом.

— Откуда родом? — спросил генерал.

— Из Гамбурга.

— Мой земляк! — воскликнул полковник Рекнагель и протянул обер-лейтенанту руку. — Чем занимались до армии?

— Отец имеет торговую фирму. А я служил в гестапо. — Лицо Шведлера помрачнело. Старый армейский офицер, он недолюбливал молодчиков Гимmlера.

— Фронт я держу крепко. Хотелось бы, чтобы и тыл дивизии был обеспечен надлежащим образом, — бросил он холодно.

— Так будет, — пообещал Брандт.

— Как устроились в городе? — спросил Рекнагель.

— Хорошо! В моем доме сразу три дамы... Интеллигентная семья. И младшей всего восемнадцать... — улыбнулся Вилли Брандт. — Очень красивая девушка.

— Завидую. И желаю удачи, — усмехнулся полковник Рекнагель, прикладывая руку к козырьку фуражки.

*

Вилли Брандт сказал правду. В доме, где ортскомендант предоставил ему комнату, проживала врач Лидия Владимировна Трофимова с дочерью Нонной. Третьей «дамой» была старая бабушка, мать Лидии Владимировны. Нонна была красива. Она знала немецкий язык. И все это понравилось Брандту.

В первый день знакомства с Трофимовыми Брандт решил не показывать, что он хорошо владеет русским языком. Ему хотелось из разговоров женщин выяснить их отношение к оккупации, к немецкой армии, к новому порядку. Сказывалась привычка опытного гестаповца.

Но бабушка Нонны интересовалась только ценами на продукты и целыми днями возилась на кухне. Лидия Владимировна работала в больнице и приходила домой поздно вечером. А Нонна вежливо отвечала на вопросы, рассказывала о городских новостях и охотно слушала радиопередачи из Берлина.

Не уловив ничего подозрительного, Брандт заговорил по-русски. Он стремился улучшить свое произношение и не сердился, когда Нонна поправляла его и смеялась над его акцентом.

Иногда Брандт приносил немецкие или датские консервы, французское вино, брикеты крупы, которыми он всегда делился с женщинами, и, когда бабушка готовила обед или ужин, Брандт никогда не притрагивался к пище первым. Он терпеливо ждал, пока женщины сядут за стол и начнут есть.

— Боится, что отравим, — шепнула однажды бабушка.

Отравить офицера? Это было бы слишком глупо... Их сейчас же арестуют и расстреляют. К тому же Вилли Брандт не был похож на обычного фашиста. Глядя на него, трудно было представить, что его соотечественники могли быть жестокими и бесчеловечными.

Он был безукоризненно вежлив с бабушкой и матерью Нонны, внимательно-любезен с самой Нонной. В голосе его никогда не появлялись повелительные или недовольные ноты. Но Нонну раздражал звук его шагов, его наигранная вежливость хозяина-оккупанта, его прилизанные волосы и бледные руки.

Иногда к Нонне заходили ее знакомые — Николай Кузнецов и Анатолий Мещерин. Дружба их началась еще в школе. В девятом классе оба парня влюбились в Нонну. Ей было интереснее с шумным и восторженным Анатолием, который любил стихи и готов был

читать их Нонне в любое время суток. Анатолий был близорук и носил очки, но Нонна не обращала на это внимания. Он казался ей красивее всех на свете. Однако внешне она ничем не проявляла своего отношения.

Николай Кузнецов был застенчив и мрачноват, но его молчаливая преданность тоже нравилась Нонне.

Когда мальчики узнали, что у Трофимовых поселился немецкий офицер, Мещерин, не задумываясь, предложил отравить фашиста. Поначалу Нонна приняла это за шутку. Но Анатолий говорил серьезно, напоминал об их комсомольском долге, о долге перед Родиной. Нонна поняла, что он не шутит.

Теперь же, когда бабушка высказала свое предположение, Нонна задумалась. «А что, если правда отравить? Одним фашистом будет меньше». Однако одно дело — схватка в бою, другое — подсыпать в пищу яд.

При очередной встрече с друзьями Нонна высказала свои сомнения.

— Ты ничего не понимаешь, — возразил ей Анатолий Мещерин. — Идет величайшая битва двух миров. Война света и тьмы. Каждый убитый гитлеровец — это еще один удар по фашизму. Их надо уничтожить любым способом. Потому что не бывает хороших фашистов. Все они людоеды. И ваш оберлейтенант не лучше других...

— Нет, Толя, он не похож на других. Он даже радио позволяет мне слушать...

— Какое радио? — вмешался в разговор Кузнецов.

— У него радиоприемник...

— А Москву он слушает?

— В основном Берлин... Но иногда ловит и Москву.

— Нонка! Ты даже представить не можешь, как это важно. Ты могла бы записать хоть одну сводку Советского Информбюро?

— Зачем записывать? Я тебе и так могу рассказать.

— Нет. Важна точность.

— Кому это важна? — подозрительно спросила Нонна.

— Ну... нам, мне... тебе, — помявшись, сказал Николай.

— Тогда это лучше сделать днем. Брандт не запирает комнату...

Больше двух месяцев Николай скрывал от друзей, что состоит в подпольной организации. Раздумывал, стоит ли вовлекать Нонну и Анатолия. Нонна — прекрасная девушка, но... Подходит ли она для этой работы? А Анатолий? Слишком он горяч и разговорчив для подпольной борьбы... Однако радиоприемник решил дело. Николаю стало стыдно, что он колеблется: ведь это его лучшие друзья...

— Ребята, — сказал он, — мы не будем убивать этого Вилли Брандта. Используем его приемник. Будем слушать передачи из Москвы, записывать их на листки и расклеивать потом по городу. Чтобы наши люди здесь знали правду.

— Ой, Коля, вот это здорово! Как это я не додумалась?

— Молодец, Колька! — поддержал и Анатолий. — Никогда не подумал бы, что в твоей голове могут родиться такие мысли...

Николай с грустью взглянул на них — они даже не понимали, как серьезно менялась их жизнь.

В этот день они впервые записали сообщение Советского Информбюро. Вечером Николай Кузнецов уговорил Пазона принять Нонну и Анатолия в подпольную группу. Теперь их было пятеро: Пазом, Кузнецов, Мещерин, Трофимова и Раиса Капля, которую Георгий Пазон хорошо знал еще с детства.

*

Главный врач третьей больницы Мартирос Арменакович Сармакешьян был давним другом семьи Трофимовых. Он помнил Нонну еще маленькой девочкой и теперь приветливо встречал ее в больнице. С некоторых пор он стал к ней приглядываться.

В больнице для военнопленных уже месяц действовала подпольная группа медиков, созданная по заданию Василия Афонова. Руководил ею аптекарь Григорий Сахниашвили. Сармакешьян решил в эту группу вовлечь и Нонну.

Для начала он предложил ей поступить в больницу медицинской сестрой. Однако Нонна отказалась, объяснив, что и так достаточно помогает раненым.

Сармакешьян насторожился. Каково же было его разочарование, когда он узнал, что его любимица работает переводчицей у немецкого гарнизонного врача полковника Шмитке. Сармакешьян перестал здороваться с Нонной, избегал встреч с нею. Девушка страдала от этого, но не могла же она сказать, что выполняет ответственное задание подпольного центра. Что это она, пользуясь своим новым положением, раздобыла ночные пропуска для раненых военнопленных, которых группа врачей готовила к побегу...

Темной майской ночью шесть беглецов выбрались из больницы, пользуясь ночными пропусками, миновали два полицейских патруля. В условном месте их ждали Лева Костиков и Константин Афонов. Бесшумно спустились они с обрывистого берега, отыскивали приготовленный рыбацкий баркас, столкнули его в море. Ветер мигом подхватил распутившийся парус и помчал баркас к берегам Азова.

Когда Лева Костиков и Константин Афонов пролезали под колючей проволокой, протянутой вдоль берега, в небо взвилась осветительная ракета. На поверхности залива был четко виден одинокий парус. Тишину распорили беспорядочные выстрелы. Десятки ракет повисли в воздухе. Но баркас быстро проскочил освещенную зону и скрылся во мгле.

Несколько дней ожидали руководители подпольного центра весточки с той стороны. Пленные должны были сообщить командованию Красной Армии о Таганрогском подполье, передать разведывательные данные. В подтверждение полученных сведений советская дальнобойная артиллерия должна была трижды ударить по городскому парку, в котором располагался немецкий склад с боеприпасами.

Подпольщики ждали. Наконец, на четвертый день после бегства военнопленных над центром города просвистели снаряды. Они громыхнули в парке против здания городской полиции. С интервалом в одну минуту туда же ударили еще два залпа. А спустя полчаса на городской парк обрушился уже шквальный огонь советской артиллерии. Склад перестал существовать.

*

Вилли Брандт продолжал ухаживать за Нонной. По его протекции она устроилась на работу. Вечерами он любил разговаривать с нею.

— Посмотрите, что делается вокруг, — говорил Брандт, — русский народ с радостью принимает новый порядок. Нам благодарны за освобождение от большевизма. Только фанатики ведут еще бесполезное сопротивление. Кому нужны эти излишние жертвы? Через месяц-два война в России закончится...

Нонна слушала разглагольствования фашиста и даже поддакивала ему: подпольный центр потребовал от нее войти в доверие к Брандту и попытаться выведать планы немецкого командования.

Брандт с удовольствием разглядывал Нонну.

— Ради вас я мог бы бросить семью, детей, — сказал он однажды. — Если вы согласитесь, я увезу вас к себе в Германию. Вы же созданы для цивилизации, а в вашей стране до этого еще далеко...

Он начал гладить ее руку. Только теперь Нонна обратила внимание на массивный перстень на его пальце. Девушка вздрогнула. Этот перстень она видела раньше на руке своего школьного учителя. Совсем недавно он был арестован и расстрелян немцами.

В эту ночь Нонна долго не могла уснуть, ворочалась с боку на бок, вспоминая водянистые глаза Брандта, его бледную холодную руку и перстень с витиеватым старинным вензелем. Теперь она и сама, не задумываясь, могла бы отравить Вилли Брандта.

По мнению ортскоменданта майора Штайнвакса, сменившего прежнего ортскоменданта Альберти, в Таганроге наконец постепенно восстанавливался порядок. Правда, пока так и не выяснилось, кто из обслуживающего персонала лагерной больницы помог бежать советским командирам. Оставались непойманными и авторы многочисленных листовок со сводками Советского Информбюро. Но зато полиция успешно проводила облавы, выявляла уклонившихся от работы жителей города, обеспечивала набор молодежи для отправки в Германию. В этом особенно усердствовала русская вспомогательная полиция под началом Стоянова.

Хорошее настроение ортскоменданта объяснялось еще и тем, что через Таганрог к фронту двигались все новые и новые части. От знакомых офицеров он слышал о скором наступлении группы армий «Юг» и верил в близкую победу Германии.

*

Вечером начальник русской полиции Стоянов посетил бургомистра. С виноватым и хмурым видом стоял он перед Ходеевским.

— Что случилось?

— Опять листовка. Только что обнаружили на Петровской улице.

Стоянов протянул бургомистру листок.

— О! У них уже появилась машинка, — нахмурился Ходеевский. — Интересно, что они пишут?

«Дорогие соотечественники, братья и сестры и вся молодежь города Таганрога! — прочел он. — Фашистское зверье не стесняется ни в какой лжи и в неслыханном обмане населения временно оккупированных советских районов. Эти бандиты всеми силами стараются обмануть нас, граждан г. Таганрога, придумывая стократные регистрации, обвивая «золотые горы» уезжающим в так называемую «Великую Германию».

Мы призываем вас, граждане, не поддавайтесь на всякие уловки фашистских псов. Не давайте себя обмануть, не соглашайтесь выезжать из родного города, потому что наша родная Красная Армия наводит страх на врагов, которых все больше и больше теснит на запад.

Будем помогать Красной Армии всем, чем можем. Все, кому дорога любимая Родина, останутся в Таганроге и помогут Красной Армии изгнать коричневую чуму из любимого города.

Прочти и передай товарищу».

— Этой листовке уже два месяца. — Ходеевский показал Стоянову верхний уголок бумаги, где над призывом «Смерть немецким оккупантам» стояла дата: «16 апреля 1942 г.».

— Да, но к дому ее прилепили только сегодня.

— Пора бы полиции серьезно заняться этими бандитами. К их поимке надо привлечь население. Я прикажу редактору газеты дать объявление, что бургомистрат заплатит по сто рублей за каждого партизана.

— Давно пора, — пробормотал Стоянов.

— Но и вы, господин Стоянов, должны мобилизовать полицию. Мне стыдно перед ортскомендантом и перед начальником гарнизона генералом Швеллером, что в нашем городе еще орудуют коммунисты...

— Господин бургомистр! Генерала Шведлера уже нет. Час назад он убит осколком советского снаряда. Сто одиннадцатой пехотной дивизией командует теперь полковник Рекнагель.

— Что вы говорите! Какая жалость! Генерал был так чуток к нуждам нашего города, — искренне расстроился Ходаевский. — Теперь надо устанавливать контакт с полковником...

Стоянов знал «цену» этим контактам: каждому новому начальнику гарнизона Ходаевский от имени бургомистра преподносил дорогие подарки, — поэтому он ухмыльнулся и предупредил:

— С полковником Рекнагелем советую не торопиться. Кажется, эта дивизия на днях уходит из города на передовую.

*

Как-то вечером Вилли Брандт вернулся домой раньше обычного. Торопливо собрал он свои вещи, поблагодарил хозяйку за гостеприимство и попросил Нонну зайти к нему в комнату.

— Я должен оставить вас, но ненадолго, — сообщил он девушке.

«Неужели фашисты уходят?» — подумала Нонна и, сдерживая радостное волнение, спросила:

— Почему так поспешно?

— Это небольшой секрет. Но от вас я не имею тайн. В ближайшее время германская армия перейдет в последнее, решительное наступление. Мы уже получили приказ овладеть Ростовом. А через месяц солдаты фюрера освободят от большевиков Кавказ, выйдут к Волге... А я вернусь в Таганрог и увезу вас в Берлин, — поспешно добавил Брандт, увидев, как побледнела Нонна. — Я покажу вам Европу, покажу цивилизованный мир. Вы мне верите?

«Бежать, скорей бежать к Пазону, — билась мысль в голове Нонны. — Надо сообщить городскому подпольному штабу о готовящемся наступлении немцев». Она уже хотела выйти из комнаты и протянула на прощание руку, как вдруг заметила на ладони Брандта красивую, сверкающую брошь.

— Это вам, Нонна. Мой маленький подарок.

— Нет, нет! Не нужно, Я все равно не возьму. — Она отдернула руку.

— О! Это невежливо. За подарок надо сказать «спасибо». Здесь есть чистое золото... Вы чем-то обеспокоены, Нонна?

— Я... да, — спохватилась девушка и уже спокойнее проговорила: — Я боюсь, Вилли. Я очень боюсь, что вас могут убить. Ведь вы уезжаете на фронт, а это так ужасно...

Самодовольная улыбка скользнула по лицу Брандта.

— Умереть за фюрера, за великую Германию — это большая честь, Нонна. Но я верю в судьбу. Фатум. Я буду жить. Я вернусь к вам.

Из квартиры Трофимовых Брандт выехал поздно ночью. Боясь нарваться на патрули, Нонна решила дожидаться утра. Днем Николай Морозов и Василий Афионов узнали о предполагаемом наступлении гитлеровских войск.

11

Фронт по-прежнему стоял у Самбека. Красная Армия рвалась к Таганрогу. Но через город к фронту нескончаемым потоком двигались танки, артиллерия, мотопехота врага. Видимо, Брандт сказал правду. Требовалось срочно предупредить советское командование. Но как? Для этого и зашел Морозов к Василию Афионову.

— Связная твоя до сих пор не вернулась? — спросил Афионов.

— Видимо, не дошла до наших. Надо еще рискнуть. Пошлем сразу двоих. Может, хоть один доберется.

— Согласен. Есть у меня тут двое. Николай Каменский и Василий Пономаренко. Они еще зимой готовились, только ждали твою связную. Костя два пробковых пояса раздобыл. На них ребята и поплывут на тот берег. Море сейчас теплое.

Морозов прищеп к Афонову не только для того, чтобы договориться о связных.

Таганрогское подполье уже насчитывало более ста пятидесяти человек. Но еще не все группы были вооружены. Стоило подумать о создании боевых дружин. Надо было равномерно распределить боеприпасы по боевым дружинам, назначить опытных командиров, дать конкретную задачу каждому на случай подхода советских войск к городу.

Наибольшая группа находилась на заводе «Гидропресс»: свыше двадцати человек, которыми руководили Георгий Тарарин и Климентий Сусенко. Там же, на «Гидропрессе», работал слесарем авторемонтного цеха и Василий Афонов, но, по соображениям конспирации, он не входил в эту группу. Только делопроизводитель завода Лидия Лихолетова — связная подпольного центра — да Георгий Тарарин знали, что Афонов руководит всем таганрогским подпольем.

За последние месяцы Павел Фомич Пустовойтов создал подпольную группу на ремонтном заводе, Василий Лавроз — на котельном, Федор Перцев — на кожевенном заводе № 1, Юрий Лихонос — на железной дороге, Анатолий Кононов — в пригородном хозяйстве, были группы учителей, медиков. Молодежная группа Петра Турубарова почти полностью обосновалась в сельхозтехникуме.

Все эти разрозненные группы подпольщиков поддерживали связь с городским центром через связных. От них получали листовки и боевые задания. Изредка на совещания штаба являлись к Василию руководители групп. Однако четкого, продуманного плана совместных действий все еще не было. Это тревожило Николая Морозова.

Долго в этот день обсуждал он все тонкости задуманного дела с Афоновым. А ночью Каменский и Пономаренко ушли через линию фронта для установления связи с Красной Армией.

...На очередном совещании штаба предложение Морозова о создании боеспособных дружин было принято единогласно. Решили организовать три боевых отряда. Командование ими поручили Георгию Тарарину, Виктору Гуде и Федору Перцеву.

*

Больше двух месяцев по заданию штаба один из подпольщиков, Михаил Данилов, собирал самодельный радиоприемник. С появлением приемника распространение листовок по городу пошло быстрее, Теперь жена Каменского Таисия ночами не отходила от пишущей машинки. Когда радио приносило сводки об успешных действиях Красной Армии, Морозов сам составлял листовку и требовал от Таисии подготовить к утру не менее пятидесяти экземпляров. А утром в квартиру Каменских приходили тайные почтальоны: Мария Кущенко, Тина Хлопова, Лидия Лихолетова и Дора Галицкая. Они получали по десятку бюллетеней, которые назывались «Вести с любимой Родины», и распространяли их в городе.

Случалось и Таисии Каменской распространять листовки среди своих знакомых. Однажды к ее больному ребенку пришла врач Нина Козубко. Выписав лекарства, она стала рассказывать о положении на фронтах. Таисия и ее муж переглянулись. Заметив это, доктор Козубко достала из портфеля смятую, замусоленную листовку.

— Можете сами прочесть, если не верите... Таисия Каменская узнала свой бюллетень «Вести с любимой Родины» и принесла другой — с новыми данными. С этого дня и Нина Козубко стала забегать по утрам к Таисии за свежими новостями.

На второй машинке работала жена подпольщика Федора Перцева. Подпольщики Таганрога выпускали теперь до ста листовок в неделю.

В эти же дни Николай Морозов, Петр Турубаров, Константин Афонов и Максим Плотников подорвали вражеский эшелон. Ночью они подложили мину под небольшой железнодорожный мостик.

Операция прошла удачно. Погибли сотни фашистов. Груды покоренной техники остались валяться у полотна дороги.

Возвращаясь в город, подпольщики набрали на высоковольтную линию электропередачи. И вдруг Максим Плотников понял: «Вот он, ключ ко всем заводам!»

— Послушай, Николай! — тихо обратился он к Морозову. — А что, если рвануть высокое напряжение, заводы ведь останутся?

— Молодец, Максим! — восхитился Константин Афионов.

Следующей ночью несколько массивных опор высоковольтной линии были взорваны. Больше недели простояли без электроэнергии заводы Таганрога. В цехах застыли те самые танки и самоходные артиллерийские установки, которых так не хватало немцам.

12

Николай Морозов готовил воззвание к жителям Таганрога. Уже второй день не выходил он из своей землянки, сочинял текст будущей листовки. Только здесь, в привычной обстановке, на жестком топчане, мог он спокойно собраться с мыслями, обдумать каждое слово.

Николай уже исписал половину ученической тетради, но не хватало чего-то очень важного, главного. Он вычеркивал слова, надписывал сверху другие, потом рвал листы и начинал писать снова. Наконец последний вариант текста пришелся ему по душе. Николай перечитывал его, когда у входа в землянку послышались шаги.

— Проходите сюда. Он здесь, наверно, — услышал Николай голос брата и спрятал тетрадку под матрац.

Вслед за Виктором в землянку спустился Сергей Вайс. Николай с трудом узнал его. Голова Вайса была острижена наголо, глубоко посаженные глаза ввалились еще больше.

— Здравствуйте, — робко проговорил Сергей.

Вайс перед войной работал в конструкторской мастерской Дворца пионеров, умел превосходно мастерить модели самолетов, учил этому делу ребят.

— Сережа! Какими судьбами? — поднялся ему навстречу радостный Морозов. — Говорили, что ты в Германии.

Сергей только махнул рукой.

— Садись, рассказывай.

Николай освободил край топчана. Сергей сел, закашлялся надрывно, вытер платком губы.

— Попал зимой в облаву... Работал в Лейпциге. Чернорабочим на паровозном заводе. Бежал... Поймали и отправили в лагерь... Кругом топи, болота, а мы с рассвета и дотемна горячий шлак грузим. От него по телу у всех язвы. Там я чахотку и заработал. Немцы больных домой отправлять начали. И меня, как чахоточного, тоже домой повезли. Вот и приехал к матери. Две недели дома отлеживался. А теперь к вам пришел...

— А не боишься опасности?

— Чего мне бояться? Туберкулез у меня, все одно жить недолго осталось.

Так в группе Георгия Пазона появился еще один товарищ.

*

Когда Данилов смастерил радиоприемник, ему поручили собрать передатчик.

Он был необходим. К Новому году срок задания истекал, однако и половина нужных деталей еще не была найдена. К их поискам были подключены молодежные группы Турубарова и Пазона, но им не везло. Анатолий Мещерин предложил с оружием в руках напасть на немецкую радиостанцию и добыть детали в бою. Пазон и Кузнецов отвергли этот сумасбродный план.

— Лучше не выполнить задание, чем погубить и людей и дело, — заявил Мещерину Кузнецов.

— Ты же клятву давал! — закричал Мещерин. — А там ясно сказано: «Буду смел и бесстрашен в выполнении заданий».

— Смел и бесстрашен — это правильно, — спокойно вмешался Пазон. — Только при этом с умом надо действовать. Что толку, если нас постреляют? А то ведь и вообще все подполье провалить можно. К тому же без решения центра такую операцию мы проводить не имеем права.

*

К этому времени проявил незаурядные организаторские способности Сергей Вайс. Начал он в группе Пазона, но постепенно связался и с другими подпольными группами и стал одним из руководителей городского подполья.

Под руководством Вайса было проведено несколько сложных «идеологических операций». Подпольщики связались с русскими «добровольцами», служившими в гитлеровской армии. Несколько «добровольцев» после бесед, стремясь искупить свою вину перед Родиной, дезертировали из немецкой армии, предварительно достав радиолампы для передатчика.

Вскоре по заданию Вайса фельдшер Александр Первеев начал готовить к побегу из лагеря военнопленных новую группу советских командиров.

13

Смрадный дым, пепел и гарь от полыхавших станиц носились над выжженной степью. Плыли по небу немецкие бомбардировщики. В клубах густой пыли шли по донским большакам колонны фашистских танков, тянулись вереницы румынских обозов, двигались пехотные части.

В первых рядах наступающей немецкой армии прорывала русскую оборону и сто одиннадцатая пехотная дивизия генерала Рекнагеля. При форсировании Дона дивизия хоть и понесла значительные потери, но прочно закрепилась на занятом плацдарме и обеспечила дальнейшее продвижение к Волге. За это полковник Рекнагель получил звание генерала.

По стопам дивизии в потрепанном штабном автобусе ехал и Вилли Брандт со своей группой тайной полевой полиции. Он вешал и расстреливал коммунистов, назначал старост, инструктировал предателей, допрашивал военнопленных. И устал. Устал от нестерпимой жары, от въедливой пыли, от этого беспрестанного движения к отступающему горизонту, от допросов с пристрастием. Потому-то так обрадовался Брандт, когда дивизию генерала Рекнагеля вывели в резерв группы армий и расположили на отдых в районе Калача.

Здесь немецкие солдаты доставили к Брандту пленного русского лейтенанта. Всю свою злобу выместил на нем Вилли. Он хлестал плеткой по лицу лейтенанта и бил его ногами, пока русский еще шевелился. Потом приказал запереть в сарае. Только на другой день Брандт приступил к допросу. И лейтенант рассказал все, что знал.

Звали лейтенанта Николай Мусиков. Он назвал номер своей части, аэродром, где базировались советские истребители, фамилии командиров. Вилли даже пожалел, что так жестоко избил его вчера.

— Поедешь в лагерь военнопленных. Будешь выявлять комиссаров и коммунистов. Этим заслужишь право на жизнь, — сказал Брандт на прощание.

Когда Мусикова увели, Брандт сделал особую пометку на его документах и принялся читать донесения агентов. В них перечислялись крамольные разговоры солдат Великой Германии. «Густав Шметке говорил Гансу Вильдену, что если бы не занесенные снегом степи России, то он еще зимой сбежал бы из этого ада», — сообщал один из доносчиков.

Другой писал о Карле Керере, который заявил, что больше не верит в силу немецкого оружия и не хочет гнить в русской земле из-за глупости Адольфа Гитлера.

Брандт вызвал своего помощника, приказал немедленно арестовать рядового Карла Керера. С такими тайная полевая полиция не церемонилась: Карла Керера ожидала своя, немецкая пуля.

*

В конце октября предатели Родины вместе с представителями и командованием немецких частей, расквартированных в городе, пышно отпраздновали в театре годовщину освобождения Таганрога от большевиков.

В торжественной обстановке ортскомендант от имени германского командования вручил награды отличившимся работникам бургомистра и полиции. Орден «Служащих восточных народов» второго класса без мечей получил и редактор газеты «Новое слово» Алексей Кирсанов. В ответ бургомистр города господин Дитер, сменивший Ходаевского, наградил ценными подарками нескольких офицеров германской армии.

В ознаменование этой даты и как символ незыблемости новой власти бургомистрат принял решение о сооружении памятника основателю Таганрога — Петру Первому в самом центре города на Петровской улице. И хоть голод валил людей, хоть не на что было восстанавливать разрушенные дома, рабочие приступили к закладке фундамента.

7 декабря редактор газеты «Новое слово» Алексей Кирсанов был вызван к бургомистру Дитеру. В кармане у него лежали гранки новой статьи Дитера, которую тот должен был завизировать. Поэтому вызов не обеспокоил Кирсанова. В кабинете бургомистра находился еще начальник русской полиции Стоянов. Кирсанов хотел дождаться, пока тот выйдет, но услышал приветливый голос Дитера:

— Милости прошу, господин Кирсанов. Хорошо, что зашли. Садитесь, — сказал бургомистр и, протягивая Алексею Кирсанову измятый листок бумаги, добавил: — Вот полюбуйте, чем порадовал нас господин Стоянов...

Лицо Дитера, когда он повернулся к Стоянову, перестало быть приветливым. Кирсанов поднес листок к глазам и прочел заголовок:

«Вечернее сообщение 6 декабря.

8 течение дня наши части продолжали упорные наступательные бои на Сталинградском и Центральном фронтах. С 29 ноября по 5 декабря сбито в воздушных боях 192 самолета, в том числе 108 трехмоторных транспортных.

Северо-западнее Сталинграда наши части отбивали контратаки противника и продвигались вперед. Враг потерял 1400 убитых гитлеровцев, 38 танков, много минометов и другой техники.

Юго-западнее Сталинграда враг крупными силами атаковал позиции. Все атаки были отбиты, и части Красной Армии продвигались вперед.

На Центральном фронте, в районе Великие Луки, освобождено несколько населенных пунктов...»

Алексей Кирсанов услышал раздраженный голос бургомистра:

— Я требую положить этому конец! Неужели городская полиция не в состоянии выловить ничтожную кучку большевистских агитаторов? Извольте всерьез заняться этим делом, господин Стоянов!

Дитер повернулся к Кирсанову.

— Что вы на это скажете? Чем нам поможет ваша газета?

Кирсанов пожал плечами.

— Это же маньяки. И главное, ни слова правды. Мы можем опровергнуть эти слухи...

— К великому сожалению, вы ошибаетесь, — сказал Дитер. — Под Сталинградом германские войска действительно терпят временные неудачи. Русская матушка-зима им еще не по плечу. Будем надеяться, что грядущим летом все станет на свои места... А вы извольте

заняться этим вопросом. — Дитер снова хмуро повернулся к Стоянову. — Я хочу поморозить этих бандитов, — он кивнул на листовку, — еще в зимнюю стужу...

— Примем надлежащие меры, господин бургомистр. Позвольте идти? — Начальник полиции почтительно склонил голову, показывая ровный пробор.

— Можете идти, — буркнул Дитер.

От бургомистра Стоянов вышел в прескверном настроении. В приемной он увидел Николая Кондакова. Этот высокий холеный паренек работал секретарем бургомистрата и одновременно был тайным агентом оперкоманды СД-6. О второй его службе начальник полиции точно не знал, но догадывался об этом, потому что несколько раз видел его с немцами, имевшими непосредственное отношение к этому карательному органу.

— Как жизнь складывается? — спросил Стоянов, дружелюбно протягивая Кондакову руку.

— Ничего. Пока не жалуясь, — улыбнулся Кондаков, сверкнув золотыми коронками.

— Заходи сегодня ко мне в полицию, дело есть.

— Обрато-то выпустите? — пошутил Кондаков.

— Не беспокойся.

...Когда вечером Кондаков явился к Стоянову, начальник полиции усадил его в кресло и без лишних слов спросил напрямик:

— Заработать хочешь?

— А кто ж откажется?

— В агентуру ко мне пойдешь?

— Хорошо заплатите — чего ж не пойти.

— Городская полиция платит неплохо. — Стоянов хотел сказать, что не хуже, чем немцы в оперкоманде, но лишь скривил губы в многозначительной улыбке и достал из ящика стола несколько помятых листовок «Вести с любимой Родины». — Это видел?

— Приходилось встречать на улице.

— Как думаешь, чья работа?

— Надо приглядеться... Платить-то сдельно будете или на оклад возьмете? — Кондаков опять блеснул золотыми коронками.

— Поначалу -окажи способности... Что заработаешь — все твое, — усмехнулся Стоянов и вкрадчиво понизил голос: — Тебе штурмбанфюрер Биберштейн сколько кладет за душу?

Кондаков перестал улыбаться, испытующе уставился на Стоянова. «Знает или на пушку берет? Наверно, знает...»

— У штурмбанфюрера не разживешься. За каждого незарегистрированного коммуниста — четвертак, за «кильку» — червонец. Так что на комсомольцах не заработаешь...

— А ты не мельтешишь, — оборвал Стоянов. — Ты мозгами раскинь. Может, листовки-то эти «кильки» твои и выстукивают. Найдешь — за каждого по две сотни в карман положишь. Понял?

— Ага.

— И никому ни слова! Чтоб к Биберштейну в СД-6 эти бандиты только через мои руки попали. Иначе... иначе одной его десяткой сыт будешь. Разумеешь?

С этого дня Кондаков все время мотался по городу: приглядывался, прислушивался к разговорам, выслеживал, выжидал. Но «охота» его пока не приносила результатов.

В новогоднюю ночь сводная группа боевых дружин под руководством Николая Морозова и Максима Плотникова совершила налет на полицию села Бессергиновка. На трех санях — в каждых по паре лошадей — разместилось около двадцати человек. Были тут и Турубаров с Костиковым, и Пазон, и Вайс, и Николай Кузнецов.

К Бессергиновке подкатили около двух часов ночи. На рукавах у всех повязки полицаев, на шее автоматы. Сергей Вайс в офицерской немецкой форме.

На окраине их встретил ночной патруль.

— Стой! Куда едете? — пробасил осипший голос.

Два полицаев, вскинув автоматы, несмело подходили к головным саням.

Вайс спрыгнул с саней и по-немецки начал распекать полицаев. Те опустили автоматы и покорно выслушивали брань. Пазон, Турубаров и Евгений Шаров подошли сзади, разом набросились на полицаев и убили их.

Так же бесшумно сняли немецкого часового возле небольшого кирпичного здания полиции.

Оставив лошадей у соседней хаты, подпольщики окружили дом. Максим Плотников первым шагнул на крыльцо, распахнул дверь и, метнув гранату, выскочил на улицу. Вайс, Турубаров и Пазон швырнули гранаты в окна.

Глухие взрывы взбудоражили тишину. Трое полицейских, толкая друг друга, показались в дверях. Автоматные очереди уложили их на крыльце.

Подпольщики побежали к своим саням, но Морозов, увидев длинный сарай, остановил их.

— Подождите! Здесь могут быть арестованные. Все ринулись к сараю. Петр Турубаров прикладом сбил висячий замок на больших дверях. Громко заскрипели проржавевшие петли. Кто-то чиркнул зажигалкой. Тусклый огонек выхватил из темноты ящики с консервными банками, длинные бутылки с подсолнечным маслом, груды набитых мешков.

— Продовольственный склад, — объявил Морозов. — Гони сюда лошадей! — приказал он Петру Турубарову. — А ты, Плотников, поставь кругом людей с автоматами.

Опасения оказались напрасными. Четыре немца, охранявшие склад, встречали Новый год вместе с русскими полицаями. Они тоже были убиты. Перепуганные жители после первых же взрывов попрятались в погребах и боялись выйти на улицу. Подпольщики погрузили в сани три мешка с крупой, несколько ящиков масла, подпалили склад и укатили в степь.

Несколько дней гитлеровцы безрезультатно рыскали по станицам с надежде поймать партизан, разгромивших полицию в Бессергиновке. А подпольщики Таганрога, окрыленные удачей, действовали все более дерзко.

В ночь на восемнадцатое января боевые дружины Плотникова, Гуды, Турубарова и Пазона по заданию штаба вышли охотиться за фашистами на улицы города. Одиночные выстрелы прогремели в разных районах: возле кожевенного завода, у «Металлурга», на углу Петровской и Исполкомовской. Утром полиция обнаружила трупы шести немецких солдат и одного офицера. Ортскомендант майор Штайнвакс был взбешен. Начальник русской вспомогательной полиции получил новый выговор и указание усилить патрульную службу в ночное время.

15

К концу января 1943 года, после долгого перерыва, над Таганрогом вновь появились советские самолеты. Сквозь черные шапки зенитных разрывов пролетели они на большой высоте к аэродрому и сбросили бомбы на стоянки фашистских «юнкеров».

Фронт неотвратимо катился на запад. Ежедневно в немецкие госпитали прибывали все новые партии раненых. Голодные, оборванные, укутанные в женские платки, в огромных соломенных калошах, плелись через Таганрог немецкие и румынские солдаты.

Гитлеровцы спешно грузили награбленные вещи в отходившие на запад эшелоны. На заводах снимали оборудование и отправляли его в Германию, а все, что невозможно было увезти, готовили к взрыву.

15 февраля к Василию Афонову прибежал Морозов.

— Я только что от Данилова, — в радостном волнении проговорил он. — Слушал сообщение. Вчера наши овладели Ростовом. Василь! Еще несколько дней — и они будут здесь. Фашисты бегут без оглядки. Посмотри, что делается в городе...

— Знаю! Нужно срочно писать воззвание к жителям Таганрога. Надо спасти заводы от взрывов.

— Поставим задачи боевым дружинам, распределим между ними секторы действий, — предложил Морозов. — Я беру на себя группы Пазона, Лихоноса, Турубарова. А ты — Тарарина, Плотникова, группу Перцева... Попытаемся организовать охрану промышленных предприятий.

За дверью послышались голоса. В комнату вошли Георгий Сахниашвили, Сергей Вайс и Максим Плотников. Поздоровавшись, Вайс протянул клочок бумаги. На нем ровным ученическим почерком было написано: «Под Вареновский мост немцы заложили аммонал. Под резервуар станции «Таганрог» тоже подложен аммонал. Там дежурят наши люди. Взорвать не дадим. Через море по льду в сторону Семибалки пошел провокатор. Вооружен. Одет в черное пальто с барашковым воротником, кубанка, серые валенки. За ним пошли двое наших. Дойти до места не допустим».

Морозов узнал почерк Николая Кузнецова.

— Эти не подведут, — сказал он Василию Афонову.

— А как нам быть? Немцы уведут военнопленных из лагерей. Гонят на запад по берегу моря. А тех, кто не в силах идти, расстреливают в бараках, — взволнованно сказал Сахниашвили.

Морозов и Афонов переглянулись.

— Разрешите, я приму меры? — обратился к ним Вайс.

— Что ты предлагаешь? — спросил Василий.

— Повидаю врачей Сармакешьяна, Козубко, Александра Первеева. Они заберут в госпиталь тех военнопленных, с которыми мы уже связаны. Немцы и своих-то раненых вряд ли успеют эвакуировать, а до русских у них руки не дойдут...

*

Обескровленную в боях сто одиннадцатую пехотную дивизию вновь отвели в Таганрог для пополнения личным составом и боевой техникой. Это случилось, когда армия Паулюса была уже в кольце советских войск под Сталинградом.

Вместе с дивизией в Таганрог прибыл и Вилли Брандт. Сообщение ортскоменданта о диверсиях на заводах, об убийстве немецких офицеров насторожило Брандта, но не испугало.

— В отношении бандитов я буду применять самые суровые наказания. Расстреливать каждого, кто стоит на нашем пути, — сказал он майору.

— Мы это делаем, но пока никаких результатов, — брезгливо поморщился ортскомендант. — Только сегодня утром за аэродромом мы расстреляли тридцать заложников.

— Плохо работаете, господин майор. Штайнвакса передернуло. Брандт был младше его по званию. Следовало оборвать этого выскочку капитана, но майор сдержался; выдавив из себя улыбку, он ответил:

— Надеюсь, вам это удастся лучше. Можете целиком рассчитывать на русскую вспомогательную полицию. Она переходит в ваше распоряжение. И, конечно, на мою помощь, если в этом появится необходимость.

— Конечно, конечно. У нас один долг перед фюрером и фатерляндом, — примирительно проговорил Брандт.

Каждый день Брандту докладывали о трупах немецких солдат, обнаруженных на улицах Таганрога. Начальник русской вспомогательной полиции Стоянов поклялся, что в ближайшее время поймает бандитов. Брандт со своей агентурой тоже включился в работу.

Когда в Таганрог приехал инспектор ростовской полиции Волобуеа, Брандт направил его в госпиталь военнопленных, откуда регулярно исчезали советские офицеры.

Помимо группы Брандта, местного гестапо и службы безопасности СД-6, в Таганроге уже действовали: зондеркоманда СС-10«а», группа морской разведки и политическая полиция команды внешних сношений. Но основную разработку операции по борьбе с большевистским подпольем генерал Рекнагель поручил вести капитану Брандту. И Брандт решил доказать, что он сумеет оправдать доверие генерала.

Вот почему он так обрадовался, когда к нему явился начальник лагеря военнопленных и рассказал, что, по донесению русского военнопленного лейтенанта, в городе действует подпольная большевистская группа, которая организует побеги советских командиров.

— Как фамилия лейтенанта? — заинтересовался Брандт.

— Мусиков.

Брандт вспомнил русского пленного, которого жестоко избил на первом же допросе. «Если это он, его можно использовать. Он отвечал на вопросы довольно охотно».

— Хорошо. Пленного привезите ко мне, потом выпустим его на свободу. Но чтобы это не вызвало подозрений... Через несколько дней к вам явится женщина и скажет, что Мусиков — ее брат. Отдадите его ей на поруки. Вам ясно?

— Будет исполнено, господин капитан!

*

Кондаков торопливо шел по Петровской улице.

Возле здания городской полиции он на мгновение остановился, огляделся по сторонам и шмыгнул в подъезд. Не переводя духа, взбежал вверх по лестнице, миновал коридор, влетел в кабинет Стоянова.

— Деньги готовьте! — воскликнул он, увидев, что начальник городской полиции стоит у окна и наблюдает за рабочими, которые воздвигают у парка постамент памятника Петру Первому. — Долго разыскивал, но нашел. Вот она, новая листовка, е сельхозтехникуме раздобыл. Левка Костиков там всех мутит...

Стоянов взял у него листовку:

«БЮЛЛЕТЕНЬ М 00 — «ВЕСТИ С ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ»

«В последний час. Части Красной Армии, усиленно продвигаясь вперед, заняли города Волчанск, Чугуево, Печенеги, Белый Колодезь, Приморско-Ахтарскую.

В районе Ростова наши части вели ожесточенные бои с противником. Сломив сопротивление врага и прорвав линию обороны, наши войска вышли на железнодорожную линию Новочеркасск — Ростов. Имеются трофеи и пленные. В районе Краматорской наши части, сломив упорное сопротивление врага, продвигаются вперед, заняв несколько населенных пунктов.

Прочитав, передай товарищу».

Стоянов поднял глаза от листовки.

— Откуда знаешь, что это Костиков?

— Точно знаю. Он одному моему знакомому уже третью листовку передает. Да еще уговаривал его а какую-то организацию вступать. Стыдил, что тот зарегистрировался как комсомолец...

— Так, так. В организацию, говоришь, предлагал? — Стоянов оперся на палку.

Потом, подойдя к столу, позвонил начальнику политического отдела полиции и приказал срочно зайти. Через несколько минут в кабинете появился Петров.

— А ну-ка расскажи все снова! — приказал Стоянов Кондакову.

Тот повторил дословно.

— Ясно, где зверь притаился? А мы все по заводам рыщем, — зло сказал Стоянов. — Арестовать этого Костикова немедленно, сегодня же ночью. Я этого гада сам допрашивать буду.

Петров скрылся за дверью. Повернувшись к окну, Стоянов мысленно представил себе лицо капитана Брандта, когда тот узнает, что русская вспомогательная полиция первой нашла след подпольщиков. С тех пор, как Брандт появился в городе и стал его непосредственным начальником, Стоянову очень хотелось добиться расположения капитана. Теперь-то Брандт останется доволен его работой. Поглощенный своими мыслями, Стоянов забыл о Кондакове. Но тот напомнил о себе.

— А деньги-то когда заплатите?

— Погоди ты. Если банду накроем, к ордену тебя представлю.

— Орден — это неплохо, а только мне деньги нужней.

— Никуда они не денутся, Позднее получишь — целее будут. Тебе марками или рублями выписывать?

— Мне все одно.

— Ладно, сегодня восемнадцатое, приходи двадцать пятого за получкой. Куда девать их будешь?

— В оборот пушу. Свое дело открывать собираюсь.

— Ишь ты, что задумал! — рассмеялся Стоянов. — Ну, да ладно, ступай. И мне пора. Только смотри: Костиков мой. Штурмбанфюреру Биберштейну ни звука.

— А деньги--о двадцать пятого отдадите?

Вопрос насторожил Стоянова. «Что если этот болван, боясь, что ему не заплатят, сообщит о Костикове в оперкоманду СД-6?»

— Эх, ты, Фома неверующий! Пойдем, прикажу сейчас выдать.

Он проводил Кондакова к бухгалтеру, распорядился о выплате двухсот рублей. И просчитался. Еще у него в кабинете, собираясь получить деньги только двадцать пятого, Кондаков решил повременить с донесением немцам. Теперь же, когда две сторублевые бумажки похрустывали в кармане, он прямо из полиции помчался к зданию Чеховской школы, где размещалась зондеркоманда СС-10«а», с которой он тоже стал недавно сотрудничать.

Надеясь заработать еще две десятки, Кондаков сообщил и о Костикове и о своем приятеле — зарегистрированном комсомольце, который получает и читает антигерманские листовки. Но шеф зондер-команды СС-Ю«а» Курт Кристман в отличие от Стоянова не стал торопиться с арестом Костикова. Он позвонил в оперкоманду службы безопасности СД-6 и, рассчитывая ухватить нить, ведущую к подпольной организации большевиков, попросил установить слежку за Костиковым.

Этот план гитлеровских разведчиков был непредвиденно сорван русской вспомогательной полицией. За самовольные, не согласованные с немцами действия Стоянову грозило суровое наказание. На письменном столе капитана Брандта появились гневные письма и Курта Кристмана и начальника оперкоманды СД-6 штурмбанфюрера Биберштейна. От сурового наказания Стоянова спас лишь случай.

16

Восемнадцатого вечером в домике Турубаровых собрались члены молодежной группы. Николай Морозов рассказал о последних сообщениях с фронта.

— У меня заготовлены листовки, которые надо распространить. — Он извлек из кармана пачку бюллетеней. — Вот послушайте.

«К гражданам города Таганрога. Дорогие товарищи! Героическая Красная Армия громит врага на всех фронтах. Час освобождения от немецких оккупантов приближается.

Каждый трудящийся Таганрога должен оказать содействие Красной Армии.

Товарищи! Организуйте боевые отряды помощи фронту. Вооружайтесь к предстоящей борьбе. Не допускайте взрывов фашистами заводов, все должно быть сохранено.

Героические патриоты города Ставрополя сделали так, что все военные склады остались в руках Красной Армии. Они убивали гитлеровцев, захватили много пленных, оружия и им же били врага. Так делом граждане города Ставрополя оказали помощь нашей родной Красной Армии.

Товарищи, не медлите ни минуты в подготовке к грядущей борьбе. Сигнал борьбы будет подан, и тогда все силы и средства — на борьбу с фашистскими головорезами.

Дорогие товарищи таганрожцы, докажем делом свою преданность нашей великой Родине. За оружие — в бой с ненавистным врагом!».

Морозов кончил, но еще некоторое время ребята сидели молча. Как-то не верилось, что скоро наступит долгожданное освобождение, придет конец ненавистному гитлеровскому режиму.

Николай первым нарушил тишину:

— Вопросов нет?.. Итак, сигнал к вооруженному восстанию получите через связных штаба. Никаких самовольных действий не предпринимать. Выступим все сразу. В спешном порядке привлекайте в группу новых членов — всех, кто хочет сражаться с фашистами.

— Николай! А оружие можно уже раздать? — спросил Петр Турубаров.

— Раздавайте. Чем на сегодня располагает ваша группа?

Поднялся Лева Костиков.

— У нас есть два ручных пулемета, одиннадцать автоматов и девять винтовок. Они в трех тайниках. Кроме того, на руках есть пистолеты. Шесть штук...

— А сколько боеприпасов?

— Около тысячи патронов и двадцать девять гранат...

— А как будем распределять оружие? — спросил Петр Турубаров.

— Надо учесть, каким видом оружия кто лучше владеет, — сказал Морозов.

Петру Турубарову и Евгению Шарову достались пулеметы. На них охотников было мало. Но из-за автоматов разгорелся спор. Каждый считал, что из автомата можно уничтожить больше фашистов, чем из длинной, неудобной винтовки. Когда страсти улеглись, Турубаров сказал:

— Я сейчас выдам автоматы, каждый спрячет их в надежном месте... Женя, пойдем со мной, поможешь.

На улице было уже темно. Петр попросил Шарова подержать лестницу, а сам забрался по ней на крышу дома и скрылся в слуховом окне чердака. Через некоторое время он вернулся с шестью автоматами.

— Остался только ручной пулемет и несколько гранат. Винтовки и второй пулемет — в другом месте.

Вскоре все разошлись, пряча оружие под пальто. Морозов остался ночевать, как и много раз до этого, у Турубаровых. Он уже совсем привык к дружной, гостеприимной семье. Частенько далеко за полночь затягивались у него разговоры с Кузьмой Ивановичем.

Морозов еще не успел заснуть, когда послышался резкий стук в дверь. Кузьма Иванович вышел с сени.

— Кто там?

— Открывайте! Полиция!

«Неужели кого-нибудь из ребят схватили с автоматом? — мгновенно мелькнула у Морозова мысль. — Что делать? Бежать в окно?» Но во всех окнах — и в тех, что выходили во двор, и в тех, что обращены на улицу, — раздавался нетерпеливый стук. Дом был окружен.

— Открывайте живее, а то стекла выставим!

— Сейчас, сейчас. — Кузьма Иванович откинул щеколду.

В столовую ворвалось несколько полицаев с белыми повязками на рукавах.

— Собирайтесь, Турубаровы! Живее! Вы арестованы.

— Кто же все-таки арестован? — тихо спросил Кузьма Иванович.

— Вы и ваши дети. Разговаривать будем не здесь, — заявил Петров, руководивший ночной операцией...

В спальне послышался плач мальчика. Мария Константиновна кинулась туда и вернулась с Толиком на руках. 1

— Хозяйка с мальчиком могут остаться! — распорядился Петров. — Остальные живей, а то выгоню раздетыми.

Николай, успев натянуть брюки и куртку, подошел к Петрову.

— А мне можно остаться? Я здесь в гостях задержался. Знаете, ведь комендантский час. Вот и заночевал...

Морозов сам удивился, как спокойно прозвучал его голос.

— Документы, — коротко бросил Петров.

— Мой паспорт остался дома.

— Пройдете снами. В полиции разберемся.

В спешке полицаи даже не стали производить обыск. Подталкивая арестованных прикладами в спину, они вывели на улицу Кузьму Ивановича, Петра, Раису, Валентину Турубаровых и Николая Морозова.

Сразу же за воротами чернела толпа людей. Подойдя ближе, подпольщики узнали своих товарищей и их родителей. Вокруг, держа наперевес немецкие автоматы, стояли полицейские.

«Кажется, взяли всю группу, — подумал Николай. — Вот и настал час самых трудных испытаний...»

Когда Турубаровых и Морозова втокнули в толпу арестованных, Петров подал команду двигаться.

«Кто-то выдал», — решил Николай. Сомнений не было. Рядом с ним действительно шли почти все члены подпольной группы Петра Турубарова. Отсутствовало всего два-три человека.

Со стороны Ростова продолжал доноситься раскатистый гром далекой артиллерийской канонады.

«Может, в эту минуту там, на востоке, наши поднялись в атаку, — подумал Морозов. — А мы идем на верную смерть и даже не сопротивляемся». И, словно угадав его мысли, к нему протиснулся Евгений Шароз.

— Николай! Надо бежать, пока не поздно, — заговорил он шепотом. — Меня взяли дома. Один полицай проговорился, что у Костикова нашли все наши клятвы... Его взяли сразу же, как он вернулся с совещания. Часа два назад.

Рядом с Морозовым шагал Петр Турубаров.

— Надо бежать... Только сейчас... Потом поздно будет...

В это время арестованные вышли на перекресток. Из боковой улицы метнулся снежный вихрь, стегнул по лицам.

— Давай! — выдохнул Петр и выхватил из кармана . пистолет.

Раздался выстрел. Один из полицаяев схватился за грудь и рухнул в сугроб. И в ту же секунду ринулись в разные стороны, в клубы взвихренного снега три одинокие фигуры. Чьи-то крики нарушили тишину. Загремели беспорядочные выстрелы.

Морозов заскочил в первый попавшийся дворик, побежал, проваливаясь в сугробы, к высокому забору. Бежать было тяжело, перехватывало дыхание. И те, кто бежал сзади, дышали так же прерывисто. Шума их шагов не было слышно. Только это хриплое, прерывистое дыхание.

Еще два шага!.. Еще шаг!.. Николай собрал последние силы, подпрыгнул, ухватился за холодные, обледенелые доски. Подтянулся, закинул на гребень забора ногу... Но другую уже железной хваткой стиснули чьи-то сильные руки, сразу несколько жестоких, беспощадных в своей ярости рук.

Два полица с сорвали Николая с забора и вместе с ним рухнули в снег. Изловчившись, отплеываясь от набившегося в рот снега, Морозов нащупал в кармане пистолет. Но на него уже навалились сверху, схватили за руки. Град ударов посыпался в спину, кованый сапог стукнул по голове. В глазах поплыли круги, в ушах растекался звон.

Вдруг на соседней улице прогремели одиночные выстрелы. И опять все стихло. «Верно, Петра или Женю Шарова ловят», — подумал Николай.

17

Стоянов до позднего вечера сидел в своем кабинете: ждал, когда приведут в полицию арестованного Льва Костикова. Телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Сняв трубку, он услышал голос Петрова:

— Господин начальник! Прошу срочно выслать усиленный наряд полиции. При обыске у Костикова мы обнаружили семнадцать партизанских клятв. Сейчас послал человека в сельхозтехникум и к заведующему адресным столом — выяснять адреса. Хочу по горячим следам накрыть весь выводок... Стоянов задохнулся от радости.

— Порядок. Действуешь правильно. Сейчас соберу людей и отправлю в твое распоряжение. Куда высылать?

— Угол Петровской и Исполкомовской. Мы скоро туда подойдем, — прохрипела телефонная трубка.

Бросив трубку на рычаг, Стоянов выбежал из кабинета и приказал дежурному объявить тревогу. Через пятнадцать минут около двух десятков заспанных полицейских собрались возле здания полиции. Построившись в колонну по три, они мелкой рысцой побежали вдоль безлюдной Петровской улицы.

Стоянов вернулся в кабинет.

— Передашь Петрову, чтоб Костикова в одиночку, отдельно от других посадили, — сказал он дежурному.

— Слушаюсь, господин начальник!

— Да! Без меня пусть немецким властям не докладывают. Утром сам разберусь. А пока домой отдыхать пойду. Если что срочное будет, пришлешь посыльного.

«Небось, пьянствовать поехал... А может, и впрямь спать захотел, домой подался — сил-то ему завтра нужно много», — задумался Анатолий Кашкин. Это он дежурил сегодня. Настроение у него было паршивое. Весь день грызла мысль, что пристал не к тому берегу.

Неожиданное наступление Красной Армии, сдача немцами Ростова ломали все жизненные планы. Он подумывал, куда бы бежать, причем рассчитывал сделать это в самые ближайшие дни. Но всего несколько часов назад к Стоянову заезжал капитан Брандт, и Анатолий Кашкин через неплотно прикрытую дверь слышал их разговор.

Брандт говорил начальнику полиции, что завтра через Таганрог к фронту пойдут свежие танковые части, что есть приказ Гитлера о закреплении на старых оборонительных рубежах по реке Миус, что сам генерал Рекнагель поклялся удержать фронт, а с наступлением весны вновь овладеть Ростовом. Кажется, еще не все потеряно, думал Кашкин. Просто немцы к нашей зиме не привыкли. А летом, небось, опять до Волги махнут.

Нет, раньше Кашкин не был врагом Советской власти. Но по скудости ума он поверил немцам, что с Красной Армией уже покончено и новый порядок установлен теперь надолго. Вот и пристроился на работу в полицию и лез из кожи, выслуживался.

Был он крепок в плечах, и хоть мал ростом, силенками бог его не обидел. Бывало, в уличных драках одним ударом мог сбить человека с ног. Да разве это ценили? Нынче другое дело. Однажды Стоянов пригласил его на допрос, приказал арестованного по зубам стукнуть. С тех пор и пошло. Каждый следователь норовил на подмогу вызвать. И Кашкин старался...

За окном, разорвав тишину, прокатились отдаленные выстрелы, рассыпалась автоматная очередь. Дежурный насторожился, прислушался. Где-то в проводах подвывал ветер. К зданию полиции подходила толпа людей. «Ишь, сколько набрали», — подумал Кашкин.

Вскоре в комнату дежурного вошел Петров и направился к кабинету Стоянова. За ним два полица ввели окровавленного человека.

— Господин начальник домой уехал, — доложил Кашкин. — Велел Костикова в отдельную камеру посадить...

— Без тебя знаю, что делать, — ответил Петров и, распахнув дверь кабинета, гаркнул: — Давай его сюда!

Морозов еле держался на ногах. Все тело ныло от побоев. Петров сел за письменный стол, вынул из кармана шинели листовки, отобранные у Морозова, с издевкой спросил:

— Паспорт, значит, дома оставил, а это всегда при себе носишь?

Морозов молчал.

— Фамилия?

Рассеченные губы арестованного скривились в усмешке.

— Фамилия, спрашиваю! — закричал Петров.

— Морозов моя фамилия. Николай Морозов.

— Кто руководит вашей бандитской организацией? Морозов пожал плечами.

— Никакой организации я не знаю.

— Тогда откуда эти листовки? — уже спокойнее заговорил Петров.

— Больше на вопросы отвечать не буду.

— Ничего, ответишь. Все расскажешь. Не таких обламывали... Еще раз, по-хорошему спрашиваю: откуда эти листовки?

Николай молчал.

— А ну, кликни Кашкина, — попросил Петров одного из полицаев.

Кашкин появился в дверях.

— Звали, господин начальник?

— Тебя, небось, сон одолевает? А ну-ка разомнись маленько. — Петров кивнул на Морозова.

Кашкин подошел неторопливой походкой. От удара в подбородок Николай рухнул навзничь.

— Так ведь убить можно, а мне он живой до зарезу нужен, — прошипел сквозь зубы Петров.

Виновато улыбаясь, Кашкин вытянул руки по швам.

— Унесите его в общую камеру. Утром я его потрясу за душу, — сказал Петров.

*

В подвалах управления городской полиции, там, где раньше были авиамодельные и столярные мастерские Дворца пионеров, располагались теперь камеры арестованных. В стенах узкого коридора, освещенного блеклым светом двух электрических лампочек, виднелись массивные деревянные двери со смотровыми оконцами-глазками и большими висячими замками. Под низкими сводами была нестерпимая духота.

Сюда-то загнали молодых подпольщиков и их родителей. Полицейские увели женщин и девушек в отдельную камеру. Всех мужчин, за исключением Костикова, втолкнули в другую общую и, захлопнув дверь, оставили в непроглядной тьме.

Зажженная кем-то спичка осветила трехъярусные, грубо сколоченные нары, распростерты на полу тела и глядевшее в ночь зарешеченное окно под самым потолком. Храп и сонное бормотание, приглушенные стоны неслись из каждого уголка переполненной камеры.

— Вон там посвободнее, — сказал старик Шаров Кузьме Ивановичу Турубарову и увлек его за собой.

Натыкаясь на спящих, они с трудом добрались до боковой стены, потеснили лежавших и опустились на корточки.

Шаров подтолкнул Турубарова локтем, зашептал на ухо:

— Раз мой Женька на свободе, пусть делают со мной, что хотят.

— А думаете, их не поймают?

— Где там! Они хлопцы шустрые. Которые за моим сыном погнались, так и вернулись ни с чем. Я их приметил. И вашего, небось, не догнали.

— У меня за дочек сердце болит, — вздохнул Турубаров. — Петр, тот крепкий... А эти — совсем девочки... Младшей-то и шестнадцати нет.

— А энтова Костикова зачем от нас увели, не знаете? — спросил старик Шаров.

— Кто их ведает, кого они еще уводить будут. Посидим, и до нас доберутся.

— Не надо! Не надо! Пустите меня! — раздался рядом с ними чей-то приглушенный крик.

— Во сне мается, — сочувственно проговорил Шаров.

Долго еще сидели они молча, как вдруг под потолком загорелась лампочка. Тусклый ее свет озарил нары, до отказа забитые людьми, цементный пол. В углу, возле параши, было немного просторнее. Там сидели друзья их сыновей.

В коридоре послышались сбивающиеся шаги. Чувствовалось: несут что-то тяжелое. Зазвенели ключи, запахнулась дверь, и два полиция, словно мешок, бросили на пол безжизненное тело. Ударившись головой о цемент, человек застонал, повернулся на бок.

— Это же Николай Григорьевич! Морозов! — испуганно вскрикнул Иван Веретеинов.

Ребята подхватили Морозова, подтащили к стене.

— Дайте платок. У него все лицо в крови. Да намочите же вы его, — расслышал Кузьма Иванович негромкие голоса.

Сердце у него похолодело от мысли, что и Петр не смог убежать. Он стиснул руку Шарову, но тут же поднялся и, перешагивая через спящих, подошел к Морозову. В этот момент Николай приоткрыл глаза, увидел товарищей и улыбнулся. И эта улыбка красноречивее слов сказала, что он не сломлен.

Склонившись над ним, Кузьма Иванович спросил вполголоса:

— Николай Григорьевич! А Петра моего не видели?

Морозов молча покачал головой, опустил веки. Потом, пересилив боль, приподнялся, прислонился к стене.

— Друзья! Помните клятву! — прошептал он. — Теперь наше основное оружие — молчание... Мы не знаем, кто нас выдал... Но того, кто начнет давать показания, и будем считать предателем... Ясно?

Ребята утвердительно закивали.

— У меня листовку нашли, — прошептал Спиридон Щетинин. Смуглое, горбоносое лицо его с темной черточкой усов над верхней губой выглядело взволнованным. Но на нем не было страха. «Этот выдержит», — подумал Николай.

— И у меня их немало забрали, — с трудом усмехнулся он окровавленными губами. — Говорите, что я давал вам листовки... а где брал, вы не знаете...

До самого утра арестованные не сомкнули глаз. А когда за окошком забрезжил рассвет, их стали по очереди вызывать из камеры на допрос.

*

Стоянов приехал на службу раньше обычного. Он собирался лично допросить Костикова и только потом доложить капитану Брандту о ночном успехе полиции.

Петров уже был на месте и ожидал прихода начальника. Услышав от него об убитом полице, о пистолете, отобранном у Морозова, о двух бежавших во время ареста, увидев пачку листовок и партизанских клятв, Стоянов окончательно убедился, что городская полиция случайно выловила в Таганроге подпольную комсомольскую организацию, которая так досаждала немцам и бургомистру.

Он приказал доставить к нему в кабинет арестованного Костикова и, не дожидаясь, пока того приведут, позвонил Брандту и сообщил радостную весть.

Брандт поблагодарил Стоянова за усердие и попросил к вечеру доложить в тайную полевую полицию ГФП-721 результаты допросов. И хотя в голосе капитана Стоянов уловил недовольные нотки, он не придавал этому никакого значения.

А между тем об аресте Костикова Брандт узнал еще до доклада Стоянова. Ему позвонил разгневанный штурмбанфюрер Биберштейн — шеф оперкоманды службы безопасности СД-6, а вслед за ним и начальник зондеркоманды СС-10«а» Курт Кристиан. Оба они с возмущением потребовали, чтобы русская вспомогательная полиция не мешала работать немецким разведывательным органам, которые установили слежку за коммунистическими агентами. Теперь же арест Костикова сорвал их тщательно разработанный план.

Капитан Брандт пообещал во всем разобраться и наказать Стоянова за самовольные, несогласованные действия. Но, узнав из доклада начальника русской вспомогательной полиции, что вместе с Костиковым арестована целая подпольная группа, решил повременить с выводами.

Ведь русская полиция подчинялась теперь ему лично. И если Стоянов на самом деле в одну ночь выловил этих бандитов, которые убивали немецких солдат, расклеивали по городу коммунистические листовки, то и он, Вилли Брандт, начальник группы тайной полевой полиции, заслуживает всяческого поощрения. Надо только вовремя и умело доложить обо всем начальнику ГФП-721 полицейскому комиссару Майснеру и генералу Рекнагелю.

Стоянов уже успел вызвать следователей политического и уголовного отделов полиции и дал им указание о немедленном активном допросе арестованных подпольщиков, когда дежурный полицейский Кашкин втолкнул к нему в кабинет Леву Костикова.

— Так вот ты каков, герой!

Опираясь на палку, Стоянов проковылял через кабинет, подошел вплотную к Костикову.

— Что же ты, козявка, один против всей германской армии поднялся? Новый порядок тебе не по душе?.. Гляди-ка, храбрец, а дрожит, как заяц, — рассмеялся Стоянов, оборачиваясь к стоявшему возле стола Петрову.

Костикова действительно бил озноб. Всю ночь он просидел на голом цементном полу в сырой, холодной одиночке и продрог так, что до сих пор не мог отогреться. Но сказывалось и огромное нервное напряжение и сознание вины перед товарищами, клятвы которых он не сумел надежно упрятать.

«Только бы не проговориться о городском штабе, о совещаниях у Василия, о других...» Но как он ни старался забыть обо всем, что знал, ему это не удавалось. Улыбающиеся лица Василия и Константина Афионовых, Пазона и Вайса, Тарарина и Морозова неотступно стояли перед его глазами. И, чтобы не думать о них, он пристально смотрел на Стоянова.

— Жид? — спросил тот.

— Нет. Я не еврей.

— А почему Левка?

Костиков устало вздохнул, пожал плечами.

— Комсомолец?

— Да! Член Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.

— Ишь какой разговорчивый! Где листовки печатали?

— Этого я не скажу.

— Кто дал тебе задание собирать бандитскую организацию?

— Никто не давал задания. Сами решили.

— Патриоты, значит? — насмешливо спросил Стоянов.

— Да.

Стоянов подумал, медленно покачал головой.

— Нет, патриоты на фронте дерутся, — сказал он. — А вы здесь, в немецком тылу, под мамкиными юбками остались. Думаете, вас за это Сталин помилует?

Костиков промолчал.

— Ну так вот что, поиграли — и хватит. Теперь у вас всех одна дорога. На Петрушину балку. Но ты парень толковый. Нам такие нужны... Расскажешь, чье задание выполнял, кто вас подбил организовать банду и снабжал листовками, — останешься цел. Ну как, по рукам?

Стоянов протянул ему руку. Костиков брезгливо поморщился и отвернулся.

— Жаль мне тебя, — сказал Стоянов. — Дураки вы. Восемнадцать щенков против такой силы поперли. На что надеялись?.. Комсомольцы! Вон Кашкин тоже комсомольцем был, — кивнул он на застывшего у двери дежурного полицая. — Так, что ли, Кашкин?

— Не, господин начальник, меня не приняли, — испуганно признался тот.

— И правильно сделали, — бросил Костиков. Он уже успел успокоиться.

— Ну ладно, поговорили, — сказал Стоянов и, подойдя к столу, достал толстую резиновую плетку. — На вопросы отвечать будешь?

— Нет!

Стоянов приблизился и стал неистово хлестать арестованного по голове, по плечам, по лицу. Прикрыв голову руками, Костиков продолжал стоять.

— Скажешь! Скажешь! Скажешь! — приговаривал Стоянов с каждым ударом. Наконец он в изнеможении опустил плеть.

Костиков молчал. На его щеках и на лбу вздулись малиновые рубцы, под правым глазом расплывался огромный синяк.

— Разрешите мне, господин начальник? — попросил Петров, молча наблюдавший эту картину.

— Валяй, попробуй. — Стоянов кивнул Петрову на резиновую плетку, лежавшую на подоконнике.

Но тот подошел к столу, взял клятвы, листовки «Вести с любимой Родины» и подошел к Костикову.

— Вот эти клятвы, в том числе и твоя, обнаружены у тебя во время обыска. Узнаешь?

Костиков устало кивнул головой.

— А эти листовки обнаружены у Морозова. Кстати, вот и его клятва, — обрадовался Петров, разглядев фамилию Морозова на одном из листочков. — Значит, это вы распространяли листовки по городу?

Костиков продолжал молчать.

Его снова начал бить мелкий озноб. Правый глаз совсем заплыл.

— Вашу банду мы всю выловили, — продолжал Петров. — Эти клятвы, листовки и оружие — достаточные улики, чтобы сейчас же отправить всех на Петрушину балку.

— Что же вам еще от меня нужно? — тихо спросил Костиков.

— Фамилии тех, кто руководил вами, от кого вы получали задания. Только чистосердечным признанием ты можешь искупить свою вину. О твоих показаниях никто не узнает. Если же ты будешь упорствовать, мы сообщим твоим друзьям, что ты сам лично передал нам эти клятвы. Представь себе, нам поверят. Ведь клятвы-то, вот они, налицо... Так стоит ли заставлять нас прибегать к крайним мерам?

— Хорошо! Я сознаюсь... Я сам, по своей личной инициативе создал подпольную группу, в которую вовлек знакомых ребят. Это я заставил их написать клятвы и призывал бороться с оккупантами...

— Вот и прекрасно! — воскликнул Петров, придвигая Костикову стул. — Садись, пожалуйста. А я запишу это в протокол. — Он подошел к столу, сел в кресло Стоянова, достал ручку и принялся быстро писать.

— Кто же печатал листовки? Где находится пишущая машинка? И какие цели вы перед собой ставили? — уже мягче спросил Стоянов.

— Цели ясные. Они записаны в клятве. Бороться с немецкими оккупантами.

— Кто руководил вашими действиями?

— Я... сам.

— Кто печатал листовки?

— Я.

— А где машинка?

— Уничтожил. Негде было хранить.

— Та-а-ак, — протянул Петров и положил на стол ручку. — Я вижу, хорошего разговора у нас с тобой не получается.

— А ну, Кашкин, выдай ему за то, что тебя не приняли в комсомол, — распорядился Стоянов.

18

Петр Турубаров благополучно ускользнул от своих преследователей. Несколько пуль, посланных ему вдогонку, не достигли цели. Миновав несколько проходных дворов, перелезая через плетни и заборы, он оказался на Греческой улице. Здесь неподалеку жила подпольщица Валентина Конура. Боясь нарваться на ночной патруль, Петр не стал больше испытывать судьбу и решил укрыться у нее.

Дверь открыла сама Валя. После недолгих расспросов она спрятала Петра в погребе под домом, где хранились продукты и немного сена.

С первыми лучами солнца Валентина сбегала к Василию Афонову и предупредила его об аресте молодежной группы Турубарова. А вечером, когда стемнело, Василий вместе с Вайсом навестил Петра.

Никто не знал, удалось ли Николаю Морозову бежать от полиции. Но судя по тому, что за весь день он не сообщил о себе, дела его были плохи.

— Серьезное положение, — размышлял Афонов. — Надо думать, как спасти городское подполье.

— Вы считаете, что Морозов может выдать? — спросил Петр Турубаров.

— Нет, — твердо сказал Василий. — Я ему верю больше, чем себе. И всем ребятам верю. Но есть закон конспиративной работы: провалилось одно звено — думай, как сохранить всю цепь. Завтра собираем экстренное совещание штаба. Надо переменить адреса явок, а руководителям штаба временно скрываться у знакомых. Ты, Петр, пока останься здесь. А через несколько дней мы подыщем для тебя надежное убежище. Домой ни в коем случае не являйся. В вашем доме возможна засада. Впрочем, не маленький, сам понимаешь... Где у тебя еще тайники с оружием?

Петр подробно рассказал о двух тайниках, объяснил, как лучше их отыскать.

Об арестованных вначале ничего не удавалось узнать. Было известно только, что они живы. Потом один из полицейских проболтался, что допросы идут день и ночь со страшными пытками, но подпольщики молчат.

А в ночь на 23 февраля, в самый канун двадцатипятилетия Красной Армии, Валентина Кочура привела к Петру Евгения Шарова.

После длительного одиночества Петр несказанно обрадовался, увидев розовощекое улыбающееся лицо друга, его жесткие, соломенные волосы.

Они долго тискали друг друга в объятиях. А когда немного успокоились, Петр сказал:

— Рад за тебя. Женька. Жаль только, мало нас побежало. И Николая жаль.

— Подожди, Петя, еще не все потеряно. Я сегодня у Вайса был. Штаб принял решение об организации побега Морозова и остальных. Возьми свой автомат и будь наготове. — Шаров расстегнул пальто, протянул Турубарову автомат. — Василий передал, что Сергей Вайс может прийти за тобой в любую минуту.

— Хорошо, — оживился Петр. — Скорей бы.

— А я сегодня здесь переночую, — сказал Женя. ...Проснулись Турубаров и Шаров одновременно то ли от холода, то ли от мощных залпов зениток. Бомбы рвались где-то за городом. Потом все стихло.

— Салют в честь годовщины Красной Армии, — пошутил Шаров и, чтобы согреться, стал делать гимнастику.

Турубаров тоже встал, начал махать руками. Но тут же остановился.

— Уже согрелся? — спросил Шаров.

— Нет. Не по себе что-то. — К нему снова вернулись мысли об отце и сестрах.

Так иногда случается в жизни. Через огромные расстояния чувствуем мы беду, нависшую над близким человеком. Мы еще ничего не знаем о случившемся, но уже ощущаем тревогу, маемся в непонятной тоске. То же происходило и с Петром.

А в это самое время в Петрушиной балке, возле ямы, на комьях промерзлой земли, рядом с Морозовым, Костиковым и другими стояли сестры Петра — Раиса и Валентина. За колючей проволокой аэродрома ревели моторы «мессершмиттов» и «юнкерсов», а Стоянов, Петров и следователь полиции Ковалев в присутствии капитана Брандта и немцев из зондеркоманды СС-10«а» в упор расстреливали советских патриотов.

19

Оставшиеся на свободе подпольщики во главе с Василием Афоновым и Сергеем Вайсом готовили побег Николаю Морозову и остальным ребятам. С одним из надзирателей было договорено, что за сорок тысяч рублей он во время прогулки подведет арестованных к глухому забору и отвлечет внимание других полицейских. Были найдены деньги, грузовая машина, был разработан план. Но...

Когда Сергей Вайс забежал к Василию, скрывшемуся у подпольщицы Кубаревой, чтобы сообщить, что нужная сумма денег уже собрана, с базара вернулась Наталья Кубарева. Бледность покрывала ее лицо.

— Все кончено, — проговорила она и подала Василию свежий номер газеты «Новое слово».

Афонов и Вайс сразу обратили внимание на жирный заголовок «Сообщение оккупационных властей». Гитлеровцы извещали граждан Таганрога, что карательными органами раскрыта бандитская подпольная организация, которая выпускала и распространяла антигерманские листовки и тем самым наносила вред новому порядку в тревожное для германского командования время.

«Проведенным следствием неопровержимо доказана подрывная деятельность большевистских выродков: Льва Костикова, Николая Морозова.

— Далее перечислялись фамилии арестованных подпольщиков группы Турубарова.

— Всех вышеперечисленных бандитов германское командование приговорило к расстрелу. Приговор приведен в исполнение. Теперь город Таганрог полностью и навсегда очищен от большевистской заразы».

— За пять дней расправились, гады. Кто мог подумать... — нарушил тягостное молчание Сергей Вайс.

— Гляди-ка! Тут и награжденные есть. — Василий кивком показал на газету.

Вайс прочел:

«Отличия и награждения служащих русской вспомогательной полиции.

Группа Рекнагеля в г. Таганроге.

В подавлении и обезвреживании партизанской банды «Костикова — Морозова» наиболее отличились следующие нижеприведенные служащие русской вспомогательной полиции:

1. Стоянов Борис — начальник русской вспомогательной полиции.
2. Петров Александр — начальник политического отдела.
3. Ковалев Александр — специалист в политическом отделе.
4. Рязов Сергей — специалист в политическом отделе.
5. Кашкин Анатолий — полицейский. Из перечисленных лиц награждаются:

1. Начальник русской вспомогательной полиции Стоянов Борис награждается орденом «Служащих восточных народов» второго класса в бронзе без мечей.

2. Начальник политического отдела полиции Петров Александр и специалист в политическом отделе Ковалев Александр награждаются орденами «Служащих восточных народов» второго класса без бронзы и без мечей.

Эти лица неустрашимо, с оружием в руках принимали активное участие в задержании и уничтожении бандитов. Поэтому пожалование наград справедливо.

3. Специалист в политическом отделе Сергей Рязов и полицейский Анатолий Кашкин, которые отличились упорной работой и беспредельной преданностью при обнаружении бандитов и допросов их, получают из фондов тайной полевой полиции каждый по одной бутылке водки в награду и как поощрение для дальнейшей отдачи себя борьбе против враждебных немцам элементов».

— Ты эту газету побереги, — попросил Василий. — Мы предателям перед смертью как приговор этот приказ прочитаем. Чтоб все по закону было...

Сергей кивнул.

— А теперь снова за работу. Товарищей наших нет, но дело продолжается. Оповестите связных — завтра на два часа назначаю совещание штаба.

*

Петр Турубаров встретился с отцом в доме у Лиды Лихолетовой. Тяжелой была эта встреча.

— Петруша, один ты теперь у нас, — рыдая в объятиях Петра, говорил отец. — Нет больше Раечки и Валеньки нет. Убили, проклятые, наших девочек.

Петр еще крепче прижал к себе отца, сердце у него зашлось от боли. Он не помнил, как усадил отца.

— Расскажи, батя! Расскажи все по порядку. Старик долго не мог собраться с силами.

— Привезли нас в ту ночь в полицию, — наконец начал он. — Затолкнули всех в камеру... Народу там видимо-невидимо... Девочек наших от нас отделили, и женщин других. Я даже попрощаться с ними не успел. Леву Костикова поместили отдельно... — Голос у старика прерывался. Он надолго умолкал, глядел в угол опухшими от слез глазами. Потом рыдания снова начинали душить его, и Петр с Лидой молча ждали, пока он успокоится. — А с утра... допросы. У Стоянова — железная линейка... Бил ею по голове... Искры из глаз сыплются. Только мы договорились терпеть, не стонать... Чтоб ни одного звука. Чтоб не было радости этим гадам. Терпели... И Николай Григорьевич не давал никому унывать. Придет с допроса, улыбается... Один раз вернулся в камеру, руку показывает. Говорит: «Никогда в жизни маникюра не делал, а теперь, посмотрите, что немцы сделали...» Они ему, подлые души, булавки под ногти втыкали... Конечно, и Раечке с Валею тоже досталось... Когда увозили, я их в окошко увидел. На Раечке кофточка вся изодрана, рука тряпкой повязана. А Валентина, та...

Петр стиснул зубы. Лидия Лихолетова, прикусив кончик шерстяного платка, всхлипывала.

— Но все эти наши муки — ничто по сравнению с тем, что досталось Леве. Истинный он великомученик... Они ведь порешили, что он и есть самый главный. Они за ноги его к

потолку подвешивали, пятки жгли. А потом со спины кожу полосами снимали... Это Морозов видел. Они ему показывали... припугнуть хотели. Пришел он в камеру, а сам чуть не плачет. «Лучше бы, — говорит, — со мной такое...» А Костиков молчал... А однажды утром собака Стоянов зашел в нашу камеру, прочитал по бумажке фамилии. Все мальчики в коридор вышли. Слышим, девочек вывели... Мы — к окошку. Гляжу, во дворе две крытых машины стоят. В последний раз Валечку и Раю увидел. За руки держались. А Леву Костикова мальчики поддерживали. Сам-то он идти не мог... Погрузили их всех на одну машину. Туда же и немцы с автоматами влезли. А на другую полицаи с лопатами забрались. Так и повезли их...

— Вы-то как же? — спросила старика Лихолетова.

— Нам ничего... Нас, родителей, Стоянов потом взащей из полиции вытурил... — Старый рыбак умолк, посмотрел на сына. — А тебе, Петруша, уходить надо из города. Не дай бог поймают... Наши-то совсем рядом. Ступай через фронт...

— Нельзя мне, батя. Я теперь, пока Стоянова не убью, не успокоюсь.

Кузьма Иванович опустил тяжелые, опухшие веки.

20

На казнь товарищей подпольщики ответили активными действиями. Городской подпольный центр принял решение о массовых диверсиях на предприятиях города, об уничтожении предателей Родины, награжденных гитлеровскими орденами. В список приговоренных к смерти попали: Борис Стоянов, Александр Петров, редактор газеты Алексей Кирсанов, бургомистр Таганрога. Наметили организовать покушение на генерала Рекнагеля.

Вместо погибшего Николая Морозова парторгом таганрогского подполья члены штаба избрали радиотехника Михаила Данилова. В помощь ему выделили Николая Кузнецова, умевшего сочинять листовки. Он сам теперь слушал сводки Советского Информбюро и составлял по ним тексты для бюллетеня «Вести с любимой Родины».

С наступлением теплых дней на улицах Таганрога все чаще стала раздаваться стрельба. Иногда город неожиданно содрогался от сильных взрывов. Правда, жители к ним привыкли, сказывалась близость фронта. И мало кто догадывался, что это — дело советских патриотов, действовавших под самым носом у немцев. Выполняя задание подпольного штаба, Анатолий Мещерин несколько дней дежурил у ворот проходного двора, поджидая автомобиль бургомистра. Все было продумано до мелочей. И когда в вечерних сумерках черный «оппель-капитан» выкатил из-за поворота, Мещерин отступил в глубь двора, вытащил автомат и, прошив длинной очередью поравняющуюся машину, благополучно скрылся.

К сожалению, бургомистра в автомобиле не было. Только шофер получил пулевое ранение в руку, да новенький «оппель» надолго вышел из строя.

Этой же ночью во время налета советской артиллерии Георгий Пазон забросил гранату в окно дома, где проживал ортскомендант майор Штайнвакс. Правда, осколки гранаты достали не того, кого наметили подпольщики. Но зато взрывом был убит приехавший в Таганрог любимец адмирала Канариса — руководитель абвергруппы «1-ц» обер-лейтенант Локкерт, которому ортскомендант любезно предоставил свою квартиру.

Сергей Вайс воспользовался немецким легковым автомобилем, взятым из автомастерских для послеремонтной обкатки. И пока Георгий Тарарин на большой скорости гнал машину мимо гитлеровского склада с боеприпасами, Вайс успел бросить через забор две гранаты.

А Георгий Пазон вместе с Николаем Кузнецовым в одном из глухих переулков облили бензином и подожгли большой тягач с прицепом, груженным зерном. Машины сгорели дотла.

Но и немцы вместе с русской вспомогательной полицией все активней и яростней продолжали розыски подполья.

11 мая был арестован Василий Афонов. Его взяли на заводе, прямо в цеху, по доносу Кондакова, в котором говорилось, что Афонов — коммунист, не прошедший регистрации. Уже в тюрьме Василий совершил досадный промах. С ним в камере ожидал расстрела румынский солдат-дезертир Петр Понтович. Пожалев румына, Василий рассказал, что товарищи на воле готовят его побег, и предложил Понтовичу бежать вместе с ним. Рассчитывая любой ценой спасти свою жизнь, Понтович сразу же донес на Василия. Немцы поняли, что Афонов — птица крупного полета. С этого момента для Василия начались дни изощренных пыток, которые он выдерживал, не издав ни звука.

Группа на «Гидропрессе» была арестована по доносу Мусикова, бывшего лейтенанта, завербованного Вилли Брандтом.

*

В ночь на двадцать второе мая многие жители Таганрога были подняты со своих постелей. Немцы и русские полицаи бесцеремонно ломались в двери квартир, стучали в окна, врываются в комнаты к спящим людям. В поисках спрятанного оружия они с грохотом передвигали мебель, взламывали чуланы, заглядывали в сараи и на чердаки.

Уже к трем часам ночи около ста подпольщиков были арестованы и под конвоем доставлены в управление городской полиции, где их ожидали следователи. Начались перекрестные допросы с побоями и зверскими пытками.

Подпольщики держались стойко. Но нашлись и такие, кто не в силах был перенести физическую боль.

Первым начал давать показания Юрий Каменский. Он сознался, что жена его Таисия Каменская, родная сестра Василия Афонова, по заданию брата печатала на машинке листовки со сводками Советского Информбюро. Потом он рассказал, что тот же Василий в феврале 1942 года вовлек и его в подпольную антигерманскую организацию.

Уже под утро, когда Юрия Каменского в бессознательном состоянии выволокли из камеры пыток, Виктор Могичев и Петр Фетисов показали, что Василий Афонов является командиром и руководителем городского подпольного штаба в Таганроге. Вздернутый на дыбу, Фетисов назвал Антонину Стаценко, Вайса, Пазона и Константина Афонова, за которыми тут же умчались полицейские.

Камеры пыток действовали бесперебойно. Все новые и новые жертвы оставляли на ее полу и на стенах свежие пятна крови. Стоянов и Петров безотлучно присутствовали на допросах.

К утру подвальные камеры городской полиции были до отказа заполнены арестованными. Молодые, неопытные ребята, встречаясь за решеткой со своими товарищами, говорили о друзьях, оставшихся на свободе, о надежно запрятанных тайниках с оружием и о многом другом, о чем следовало бы молчать. Все эти разговоры становились достоянием «камерных» агентов Стоянова и Брандта, посаженных к подпольщикам.

В течение двух дней в городском адресном столе, не умолкая, звонил телефон. Петров уточнял адреса новых жертв. Стоянов еле успевал подписывать ордера на аресты и обыски. На квартирах, где никого не удавалось застать, полицаи устраивали засады. Анатолия Мещерина арестовали дома, Лидию Лихолетову схватили вместе с летчиком Маниным, которого она вела из госпиталя к одной из подруг.

Некоторым подпольщикам все же удалось спастись. Александра Афонова спрятали у знакомых. Андрейка, его брат, забрался в широкие трубы, которые валялись на улице возле дома. Там и пролежал он несколько дней, изнывая от голода и жажды. Юрий Товель спрятался в подzemелье, во дворе, где жила его тетка. Парторга подпольного штаба Данилова жена замуровала в нише комнаты, оставив лишь небольшую отдушину возле пола для

передачи пищи. А фашисты и полицаи продолжали рыскать по улицам притихшего Таганрога.

*

Константина Афонова с товарищами поместили в одну камеру. Вайс сразу узнал ее. Ведь здесь была хорошо знакомая ему авиамодельная мастерская Дворца пионеров; стояли длинные столы, верстак, лежали груды картона, под потолком висели модели самолетов и планеров.

Кроме подпольщиков, в камере находились уголовники. Но Константин Афонов собрал своих ребят в один угол, сюда же перенесли единственную койку и положили на нее раненного при аресте в бедро Сергея Вайса. Он не стонал, только сказал сокрушенно:

— Ребята! Какая судьба! В этой комнате я провел свои лучшие годы. А теперь это моя тюрьма перед смертью. Я помню, сюда приходил Морозов, когда отбирали модели на городскую выставку... А теперь уже нет Николая...

Первым на допрос увели Константина. В напряженном волнении ожидали ребята его возвращения. Пришел он весь в крови. Улыбнулся товарищам, молча подошел к баку с водой, смочил разбитые губы.

— Этим нас не возьмешь, не такое видели, — проговорил он, присаживаясь среди своих. — Полиция знает все. Пытают, где спрятано оружие. Показывали план немецких объектов в Таганроге, говорят, у Назаренко при обыске обнаружили. Я сказал, что впервые его увидел и никакого Назаренко не знал. Ну, после этого мне и дали. Думал, до камеры не дойду.

За дверью послышался звон ключей.

— Это за мной, — простонал Вайс. Но на допрос вызвали Тарарина...

*

Судьба Георгия Пазона и его друга Николая Кузнецова стала известна таким образом. Каждое утро возле ворот городской полиции собирались родственники подпольщиков. Часами выстаивали они под палящим солнцем, выжидая, пока надзиратели начнут принимать передачи.

Общее горе сблизило людей. Поэтому, когда в возвращенных полицейскими пустых кастрюльках, чугунках или мисках кто-нибудь обнаруживал записку из тюремных камер, ее читали все. Каждый надеялся услышать о близком или родном человеке.

Однажды и мать Николая Кузнецова обнаружила в грязной посуде маленький скомканный клочок бумаги. Дрожащими руками она развернула его.

«Дорогая мамочка, родные, близкие и друзья! Пишу вам из-за тюремной решетки. Арестовали нас с Юрием Пазоном 28 мая, в четыре часа утра, на море у мыса Вареновского. Третий товарищ погиб, убиты"" из пулемета.

Полиции известно, что мы с Юрием Пазоном спалили дотла немецкий вездеход с пшеницей, автомашину, убили изменника Родины, крали у немцев оружие, совершали диверсии, террор. За это нас повесят или в лучшем случае расстреляют. Гвардия погибает, но не сдается. Били, мучили. Ничего, им же будет хуже! Они нас опередили, но скоро на берегу зажгутся сигналы, и армия будет в Таганроге. На той стороне о нас помнят и никогда не забудут...

Крепись, мама! Береги здоровье ради Светланы. Кок дед, мать, дядя?

Привет родным, близким. Привет Зине — моему другу Товарищи наши имена не забудут. Гордись, мама!»

Ни меть Кузнецова, ни другие родители подпольщиков не знали, что третьим товарищем, который отправился на советский берег с Пазоном и Кузнецовым, был Виталий Мирохин.

Когда начались аресты и засады, они два дня просидели в ржавых котлах «Металлурга», не решаясь вернуться домой. А на третий, дождавшись ночи, пошли в сторону Бессергиновки. Не доходя до поселка они вышли к морю и по горло в воде тихо побрели по мелководью вдоль берега.

Впереди совсем рядом дробно выстукивали пулеметы. Трассирующие пули светлячками впивались во тьму. Хотелось бежать. Но движения сковывались волнами.

Рассвет застал их всего в одном километре от передовых частей Советской Армии, но гитлеровцы обнаружили смельчаков. Пулеметная очередь просвистела над головами. Небольшие фонтанчики вздыбились вокруг. Мирохин вскрикнул и ушел под воду.

Вступать в неравную перестрелку было бессмысленно. На открытой воде ребята являлись отличными мишенями. Кузнецов и Пазон подняли руки и пошли к берегу. Пазон незаметно выбросил пистолет. У Кузнецова оружия не было. К вечеру обоих доставили в городскую полицию.

До конца своей жизни они так и не узнали, что, подняв руки, отвлекли внимание немцев и этим спасли Мирохина, который всего лишь нырнул и отплыл в сторону. А когда поднялось солнце, он уже обнимал бойцов Советской Армии.

*

С тех пор, как Анатолий Мещерин находился в полиции, Нонна Трофимова не могла успокоиться. Анатолий Мещерин стал для нее с некоторых пор не только школьным другом, не только товарищем по борьбе, а и тем единственным человеком, которого Нонна полюбила по-настоящему.

Однажды Нонна повстречала на улице мать Николая Кузнецова и от нее узнала об аресте Коли. Весь вечер Нонна думала о своих друзьях.

А Анатолий Мещерин между тем не выдержал испытания. Когда следователь стал бить его железной линейкой по голове, он стал называть имена товарищей. Причем первой он назвал Нонну Трофимову.

Это случилось утро двадцать восьмого мая. А днем Стоянов сам отправился в немецкую воинскую часть, где работала Нонна, и прямо оттуда увез девушку в полицию.

На первом допросе Нонна Трофимова отрицала все. Ночью ее поместили в общую женскую камеру.

На другой день капитан Брандт узнал об аресте Нонны. И он и другие офицеры германской тайной полиции, знакомые с ней, не могли поверить, что такая интеллигентная, мягкая и застенчивая с виду девушка могла быть связана с подпольной организацией.

Брандт потребовал от Стоянова веских доказательств.

Чтобы добыть их, Стоянов распорядился выбить показания у Николая Кузнецова, на которого тоже ссылался Мещерин. Николая привязали к столбу и секли жгутами из телефонного провода. Он молчал. Тогда его подвесили за ноги на двух крючьях, вделанных в стену, и стали вырезать на спине ремни. Потом Стоянов рассек ему голову железной линейкой. Почти теряя сознание, Николай продолжал твердить:

— Нонна Трофимова — мой школьный товарищ. Она ничего не знала о том, что мы делали.

Брандт только ухмылялся, выслушивая очередной доклад Стоянова.

Не веря в виновность девушки, он решил сам побеседовать с нею прежде, чем дать команду о ее освобождении. Ему хотелось продемонстрировать перед Нонной справедливость и объективность германских властей.

Брандт допрашивал Нонну в присутствии Стоянова в просторном кабинете начальника русской вспомогательной полиции. Он ни разу не повысил голос. Нонна вежливо отвечала на его вопросы, переходя иногда на немецкий язык.

Она, казалось, была искренне удивлена своим арестом и клялась, что никогда и ничего не слышала о подполье...

Вилли Брандт уже готов был принести извинения за допущенную ошибку, когда Стоянов попросил у него разрешения пригласить на очную ставку заключенного Мещерина. Не задумываясь, капитан согласно кивнул головой. Он хотел сам услышать показания этого парня.

Вскоре Мещерина ввели в комнату. У него был измученный вид, лицо опухло, голова рассечена. Нонна едва удержалась, чтобы не вскочить со стула и не броситься к нему навстречу.

— Вы знаете этого человека? — спросил у нее Брандт.

— Да! Мы вместе учились в школе.

— Ты тоже ее знаешь? Мещерин потупил взор.

— Она состояла в вашей банде? Мещерин молчал.

— Отвечай! Она была в вашей банде? — Брандт повысил голос.

Молчание.

Волоча ногу, Стоянов подошел к Мещерину и с силой ударил его толстой палкой, с которой никогда не разлучался.

— Да, да! Она участвовала. Она доставала чистые бланки и документы, добывала важные сведения, — торопливо проговорил Мещерин. — Нонна, прости! Посмотри, что они со мной сделали! — Анатолий рванул на груди рубашку и показал исполосованное рубцами тело. — Отпираться не надо. Они и тебя не пощадят... Скажи им все, Нонна. Они замучают тебя! Они тебя убьют!

Все это показалось Нонне невероятным сном: непроницаемое лицо Брандта, Стоянов со своей палкой, исполосованное страшными рубцами тело Анатолия, его полубезумный взгляд.

— Трус! Негодяй! Спасает свою шкуру?! — закричала Нонна.

— Да! Наверно, это выглядит так. — На глазах Мещерина появились слезы.

— Ненавижу тебя! — Нонна задыхалась. — Как можно жить, если земля носит таких, как ты?

— О, гут, гут. Уведите молодого человека! — приказал Брандт.

За Мещериным плотно захлопнулась дверь.

— А теперь, милая Нонна, будем говорить по-русски. Кто еще были ваши друзья? — Брандт неторопливо, словно видел ее впервые, оглядел лицо Нонны с круглыми карими глазами и шелковистой волной каштановых волос над высоким чистым лбом. Нонне показалось, что во взгляде его промелькнуло сожаление.

— Можете делать со мной, что угодно, — сказала она. — Я не назову никого.

— О, гут. Похвально. — Брандт подошел к ней и ударил девушку по лицу.

Нонна удивленно поднялась со стула, вскинула голову.

— Это у вас при «новом порядке» так обращаются с женщинами?

— Привяжите ее к стулу! — распорядился капитан Брандт.

Стоянов позвал Кашкина. Вместе с ним они посадили Нонну на стул, скрутили веревками.

Брандт взялся за ворот ее платья и дернул так, что разом отлетели все пуговицы.

От стыда и беспомощности Нонна зажмурилась. Внезапная боль пронзила все тело. Горящая сигарета впиалась в грудь.

Нонна дергалась, извивалась, но чьи-то руки навалились на плечи, прижали к стулу. Горящая сигарета вновь вонзилась в кожу. Девушка до крови закусил губу, широко раскрыла глаза.

— Ну... Можно говорить и по-немецки. Я слушаю, — сказал Брандт.

Собрав последние силы, Нонна плюнула в его чисто выбритое лицо.

Потом снова были страшные пытки, но она не изменила комсомольской клятве.

*

В первых числах июня следствие по делу подпольной организации было в основном закончено, и Брандт распорядился очистить камеры. В ночь на двенадцатое июня гитлеровцы расстреляли в Петрушиной балке около ста участников таганрогского подполья.

Руководителей подпольных групп Брандт хотел использовать в целях пропаганды. Приговорив Василия Афонова и его основных помощников к смерти через повешение, он собирался помиловать их на базарной площади, перед виселицей, при скоплении публики. Он уже представлял, какой политический резонанс вызовет такой шаг германских властей. Конечно, помилование должно было произойти лишь в том случае, если главари городского подпольного штаба согласятся обратиться к жителям Таганрога с раскаянием и призывом к повиновению.

Руководителей подполья уговаривали, им угрожали виселицей, били, заставляя согласиться на этот пропагандистский трюк, задуманный капитаном Брандтом. Но советские патриоты держались стойко. Больше всех мучили братьев Афоновых, Сергея Вайса, Пазона и Кузнецова.

Не добившись от подпольщиков согласия на выступление перед народом, Брандт приказал расстрелять их.

*

Ранним утром 6 июля заключенных разбудил сиплый голос Стоянова. Встав на пороге камеры, он вызывал подпольщиков по фамилиям.

Солнце еще скрывалось за крышами домов, когда арестованных вывели во двор. У ворот стояли три крытые брезентом грузовые машины. В одну из них полицаи складывали лопаты.

Среди тех, кого вывели во двор, были только две женщины: медсестра Анна Головченко и Нонна Трофимова.

В разорванном легком платьице, Нонна ежилась от ранней прохлады. Увидев доктора Сармакешьяна, она подошла к нему, но тот испуганно замахал руками и побежал к машине. Стоянов грубо толкнул его палкой в спину.

— Жалко, не я тебя допрашивал, старый болван, — прошипел он. — Я бы тебя заставил заговорить.

Сармакешьян приветливо улыбнулся Стоянову, затряс бородкой. От пыток и истязаний у него помутилось сознание, и он не понимал, что вокруг происходит.

Полицаи прикладами загоняли людей в грузовики. Когда всех загнали, машины выползли из ворот вслед за мотоциклом, на котором ехал Стоянов. Миновав пустынные улицы Таганрога, они выбрались на шоссе и вскоре остановились на краю Петрушиной балки.

Немцы цепью выстроились вдоль небольшого оврага. Это были каратели из зондеркоманды СС-10«а» и тайной полевой полиции ТФП-721. Их выставили в оцепление.

Капитан Брандт предложил Стоянову, Петрову, Ковалеву и Рязову самим расстрелять подпольщиков.

Осужденным приказали раздеться, потом повели их к небольшому обрыву, под которым виднелась свежерытая яма. Василий Афонов видел, как Нонна Трофимова сняла платье и в одной сорочке пошла вместе со всеми.

— Цурюк! — окликнул ее насмешливо Брандт. Кивком головы он показал на туфли.

Девушка вернулась к куче одежды, сбросила туфли и босиком побежала догонять товарищей. Возле ямы гитлеровцы связали всем руки и заставили лечь на землю, вниз лицом.

— Что, гады, боитесь смотреть нам в глаза? — крикнул Константин Афонов.

— погоди, хромая собака, — сказал Василий Афонов Стоянову, — тебя еще найдет советская пуля.

Брандт вытащил из кобуры пистолет и выстрелил Нонне в затылок. Она вздрогнула, на мгновение поднялась на локте и уронила голову.

А Стоянов, Петров, Ковалев и Ряузов уже в упор расстреливали остальных.

В этот день фашистские пули оборвали жизнь тридцати четырех советских патриотов.

*

Женя Шаров долгое время скрывался в погребе у Валентины Кочуры вместе с Петром Турубаровым.

Однажды старик Турубаров принес им резиновый спасательный пояс. Он хотел, чтобы сын переплыл через залив к своим. Но Петр отдал пояс Жене и уговорил его попытать счастья.

Немцы обнаружили Женю в заливе. Допрашивал и мучил его следователь Ряузов.

Евгения Шарова расстреляли в конце августа.

А Петр Турубаров погиб в доме своего отца, куда он в конце концов перебрался от Валентины Кочуры. Он собирался выйти в море на рыбацкой лодке и переждал время на чердаке.

Как-то под вечер подкатили к воротам немецкие мотоциклисты, оцепили дом со всех сторон. Петр притаился на чердаке, сжимая рукоятку нагана.

Гомон на улице усилился, заскрипела наружная дверь. Сначала Петр подумал, что обыск закончился и опасность миновала. Но вот над самым обрешетом крыши показалась голова в немецкой пилотке.

Немец вскарабкался на крышу. Петр поднял пистолет. Массивная фигура фашиста показалась в слуховом окне. Петр нажал спусковой крючок...

Немец со стоном скатился с крыши и тяжело плюхнулся на землю. На смену ему на чердак полезли двое других. Раздалось еще пять торопливых выстрелов и с небольшим интервалом шестой. Один из немцев схватился за руку: пуля раздробила ему запястье. Но этого Петр уже не видел. Он лежал с простреленной головой на чердаке отцовского дома.

21

Сквозь мутную пелену дыма едва просвечивало поднявшееся над горизонтом солнце. Стихли артиллерийские залпы. Только автоматные очереди рассыпались еще кое-где на пустынных улицах Таганрога.

Было восемь часов утра, когда первые бойцы Советской Армии и партизаны отряда «Отважный-2» появились в городе. Короткими перебежками пробирались они от дома к дому, отыскивая последних гитлеровцев.

Но вскоре солнечные лучи пробились через поредевшую дымовую завесу, и, словно сговорившись, одновременно с ними хлынули на улицы Таганрога колонны советских войск.

Восторженными возгласами встречали таганрожцы своих освободителей. Со слезами радости смотрели на красные пятиконечные звездочки, на родные лица советских солдат и офицеров. Люди останавливали машины, обнимали бойцов, засыпали их букетами цветов.

Выбрались из погребов и подвалов и уцелевшие подпольщики. В живых остались немногие. Изнуренные, исхудавшие, но с оружием в руках, они помогали советским бойцам вылавливать спрятавшихся гитлеровцев и предателей.

От автора

В этой повести нет ничего придуманного. Сохранены подлинные имена и фамилии героев и их убийц.

Недолго колесил по военным дорогам Европы бывший начальник русской вспомогательной полиции Таганрога Борис Стоянов. Вступив в армию предателя Родины генерала Власова, он с лютой злобой сражался против своего народа, потом уничтожал партизан в горах Италии, получил чин есаула и вместе с другими власовцами попал в плен к англичанам. Наши союзники передали его в руки советского правосудия. За массовые убийства советских людей Борис Стоянов получил сполна: его приговорили к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение.

Не ушел от пули и провокатор Николай Кондаков. Полагая, что гитлеровцы не оставят улику против тайного агента гестапо, он спокойно проживал в Таганроге. Но все архивы таганрогского гестапо были захвачены Советской Армией.

Среди других документов обнаружили и донесения Кондакова. Советский суд приговорил его к расстрелу. Приговор приведен в исполнение.

Но расплата с убийцами таганрогских подпольщиков еще не закончена. И сегодня живут и здравствуют некоторые из них. На территории Западной Германии проживает корниловский офицер, бывший начальник политического отдела русской вспомогательной полиции Таганрога Александр Петров...

В Канаде, в городе Торонто, на улице Дюпон, проживает садист и убийца, бывший следователь таганрогской полиции Александр Ковалев. Он некоторое время работал в Западной Германии, потом с помощью родственников перебрался в Канаду. А его коллега по палаческим делам — пыткам, истязаниям и убийствам — Сергей Рязов, обосновался на юге Соединенных Штатов Америки, в городе Майами.

Возможно, о новом походе на Восток подумывает и бывший капитан гитлеровского абвера Вильгельм Брандт, тезка ныне здравствующего бургомистра Западного Берлина. Он живет в столице Австрии Вене и пока занимается розничной торговлей кондитерскими изделиями.

Но пусть знают петровы, Ковалевы, рязовы и брандты, что мы ничего не забыли и ничего не простим.

Мы будем помнить тех, чья жизнь оборвалась на Петрушиной балке, которую в дни оккупации жители Таганрога называли Балкой Смерти. С тех пор прошло уже более двух десятилетий. Именами героев названы улицы Таганрога. Многие из них посмертно награждены орденами Союза ССР. И сегодня над братской могилой, где покоятся герои-подпольщики Таганрога, высится монумент. На нем высечены имена погибших товарищей. Остановитесь! Запомните эти фамилии. Ведь за каждой из них была своя жизнь. Жизнь, отданная за то, чтобы жили счастливо мы с вами.

Из указов президиума верховного совета СССР

1.

За особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.. Президиум Верховного Совета СССР Указом от 8 мая 1965 года присвоил звание Героя Советского Союза (посмертно) МОРОЗОВУ Семену Григорьевичу — руководителю подпольной комсомольской организации г. Таганрога, Ростовской обл.

2.

За мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., Президиум Верховного Совета СССР Указом от 10 мая 1965 г. наградил участников подполья по Таганрогу:

Орденом Ленина:

1. Афонова Василия Ильича (посмертно). Орденом Красного Знамени
1. Афонова Константина Семеновича (посмертно),
2. Плотникова Максима Федоровича (посмертно).
3. Турубарова Петра Кузьмича (посмертно).

Орденом Отечественной Войны I степени

1. Афонову Екатерину Федоровну (посмертно).
- Орденом Отечественной Войны II степени
1. Вайса Сергея Александровича (посмертно).
 2. Гисцова Василия Васильевича (посмертно).
 3. Головченко Анну Григорьевну (посмертно).
 4. Гуда Григория Иовича (посмертно).
 5. Козубко Нину Ивановну (посмертно).
 6. Костикова Льва Александровича (посмертно).
 7. Лаврова Василия Ивановича (посмертно).
 8. Лихолетову Лидию Ивановну (посмертно).
 9. Трофимову Нонну Петровну (посмертно).

Орденом Красной Звезды

1. Акименко Дмитрия Сергеевича (посмертно).
2. Варфоломеева Бориса Глебовича (посмертно).
3. Копылова Василия Дмитриевича (посмертно).
4. Литвинова Ивана Григорьевича (посмертно).
5. Мексона Ивана Николаевича (посмертно).
6. Пазона Георгия Федоровича (посмертно).
7. Первеева Александра Ивановича (посмертно).
8. Подолякина Петра Сидоровича (посмертно).
9. Протеку Николая Ивановича (посмертно).
10. Сармакешьяна Мартироса Авакумовича (посмертно).
11. Тарарина Георгия Андреевича (посмертно),
12. Турубарову Валентину Кузьминичну (посмертно).
13. Турубарову Раису Кузьминичну (посмертно).
14. Хлопову Валентину Михайловну (посмертно).
15. Чередниченко Михаила Илларионовича (посмертно).
16. Шарова Евгения Александровича (посмертно).

Владимир Карпенко

СОТВОРЕНИЕ МИРА

1 Много весен тому назад
На плацу продрогший солдат
Говорил: «Я учусь, чтоб впредь
Все я мог, как боец, уметь:
Не дрожать, даже вмерзнув в лед,
«Мессершмитта» ударить влет.
Возвращаться с войны домой,
Оставаться самим собой».

2 Клинок разведчика висит
Над койкой на стене.
Он тускл и неказист на вид:
Так, память о войне.
Он честно сухари пилил,
Консервы открывал...
Но в снежной дымчатой пыли
Убитый остывал!
Не выдал снег, не подсказал.
Не скрипнул хрусткий снег,
И — лишь внезапные глаза
Из-под взлетевших век!
И — лишь внезапные глаза,
И отблеск стали в них,
И не успевшая слеза,—
Так краток смертный миг
Был для него... Но длится он
Уж двадцать с лишним лет!
Все тот же сон.
Все тот же сон,
И мне покоя нет!
Да нет, не жалость — суждено
Ему в могиле тлеть:
Он враг, и, значит, все равно.
И нечего жалеть.
Но отчего ж мне снятся сны!
Один и тот же сон —
Тот самый черный час войны:
Ночь... Снег... Клинок... И он...
И те внезапные глаза,
И отблеск стали в них,
И не успевшая слеза,—
Так краток смертный миг!
Глаза! Глаза со всех сторон!
И не закрыть лица!..
Мертвец всех войн и всех времен
Мне снится без конца...
Но в предрассветной сизой мгле
На крутизне стены
Клинок спокойно спит в чехле:
Клинку не снятся сны.
И если новый день встречать
Нам суждено в бою.
Мне будет жаль его опять,
Но я опять убью.

3 В окопном сыром полумраке
Цигарок плывут светляки.
Примкнутые перед атакой.
Сурово мерцают штыки.
Рассветного солнца полуда

Желтеет на злых остриях.
Ракета! И сразу «Полундра!»
Вгоняет противника в страх.
От ужаса зелены лица.
Траншеей ползет шепоток:
«Матрозен...» И крестятся фрицы:
«Майн готт, шварце тод! Шварце тод!»
Срываются пальцы с гашеток.
Взлетают стремительно вверх...
А завтра наутро в газетах
Короткое: «Взят Кенигсберг».

4 Меня расспрашивал сынок:
— Ты, папа, был военным!
И я рассказывал, как мог,
Совсем обыкновенно.
Рассказывал, как пушки бьют,
Стрекочут пулеметы.
Как в рукопашный бой идут
Бойцы морской пехоты,
В гранату как вставляя запал,
Про танки, про «Катюши»,
И вот уж тему исчерпал,
А сын все хочет слушать.
О чем еще поведать мне!
И вдруг вопрос ребячий:
— А как смеются на войне!
— ...А так же, как и плачут.

5 ДОТ разворочен... Пороховой
Дымок амбразуру гложет.
А он убит. И мы от него
Медсестру оторвать не можем.
— А-а!.. Говорила тебе: «Не ходи!»
(«Иди»,— ты ему говорила.)
— А-а!..
Припала к его груди
И на груди застыла.
— А-а!.. Мой любимый, хороший мой!
Вот я с тобою рядом!..
(А когда он бывал вдвоем с тобой,
Ты говорила: «Не надо!»)
Но правильно все. Винить себя брось!
Правильно до и после...
А пуля, она проходит насквозь.
И — прямо. А не возле.

6 Еще не научившиеся бриться.
Мы в мир, пропахший порохом, вошли.
Над нами пули пели, как синицы.
Снаряды шли, крича, как журавли.
И мы сперва наивно доверяли

Непонятому свисту этих птиц,
С улыбкой изумленья умирали,
К земле родимой припадая ниц.
Когда мы в мае в тишину шагнули,
То сразу к ней привыкнуть не могли:
Теперь синицы стали петь, как пули,
Курлыкать, как снаряды, журавли.
Но крепко верим: это совершится,
Когда на всех материках земли
Синицы будут тенькать, как синицы,
И журавли кричать, как журавли.

7 Рейхстаг! Угрюмый строй колонн.
Последний день войны.
Колонны перечнем имен
Все сплошь испещрены!
И каждый росчерк тут весом,
От них трещит стена!
Как ведомость партвзносов — все
Заполнили сполна.
Пусть роются в догадок мгле
Эклектиков умы —
Я шкурой знаю: на земле
Мир сотворили мы!

Борис Слуцкий

Девятого мая 1945 года
Земля качнулась.
Что-то кончилось.
А что-то снова началось,
пока в плоти планетной корчилась,
ворочалась земная ось.
Земля качнулась — и очнулась,
и улыбнулась людям.
Солдат сказал: война загнулась.
Теперь мы долго воевать не будем.
Солдат сказал: домой поедем
и вещмешки с собой возьмем.
Жене, и детям, и соседям
подарки привезем.
Солдат сказал: прощай, война.
Мне сорок семь.
Я был на двух.
Настали мира времена.
Переведу я дух.
Солдат побрился и помылся,
духами пахнет голова,
и к мирной жизни устремился
на поезде Берлин — Москва.

Девятого мая 1965 года

Снова ордена надели,
привинтили ордена,
словно не прошло недели,
как окончилась война.
Вырыли из сундуков
старые мундиры,
не жалея пиджаков,
провертели дыры.
Оказалось, есть запас
смелости и доблести,
хоть давно ушел в запас
люди отвоевавшийся,
хоть давно ушли в отставку,
уехали в области
те, кого бросала Ставка
на врагов прорвавшихся.
Невысокие чины,
ордена большие.
А за что они даны!
За дела большие.
За хорошие дела
ордена страна дала.

*

Украину — поперек и вдоль,
всю — от Купянска до Севастополя,
мы прошли пешком,
насквозь протопали,
вымеряли бедствие и боль.
Украина очень хороша:
сад вишневый подле хаты белой.
Что ты с ней ни совершай, ни делай,
все равно. Жива ее душа.
Все равно. Весной из-под земли
злаки лезут. Фрукты поспевают.
Тополя стоят, как короли:
Украина многое решает.
Или степь. Великие быки:
мост им ставь на шею — мало, мало,
тащут на себе, как самосвалы,
пирамиды снеговой муки.
С марта сорок третьего, когда
с эшелонов в Купянске сошли мы,
шли мы, солнцем медленным палимы,
и от нас бежала прочь беда.

*

Грамотный обучает неграмотных
ныне на дальнем берегу Кубы.

В темных лачугах, в отелях мраморных
звуки укладываются в губы.
Лавки, где блещут пустые полки,
полнятся новенькими букварями.
Мы это все предваряли задолго.
Мы почти все на себе предваряли.
С детства и я был участник движения:
школьники чернорабочих учили
буквам, сложению и умножению,
даже тому, где Куба и Чили.
Мы их учили, и мы их выучили.
Мы их из неграмотности выручили.
Так же, как выручили из голода
взрослые бледных школьников города.
Грамотный обучает неграмотных.
Скрытые тьмою умы обнажаются.
Скоро на Кубе не будет неграмотных.
Все повторяется.
Жизнь продолжается.
1961 г.

*

У времени вечный завод,
как будто Второй часзавод
его собирал на конвейере.
Заведено на века,
как будто его в ОТК
Второго завода проверили.
Все кончится, что началось,
хотя бы сначала, как лось,
случайно забредший в Сокольники,
шумело, ревело, тряслось.
Все кончится, что началось.
Все кончится. Тихо. Спокойненько.
Полвека, что я проживу,
треть века, что я проработаю,
как лось, я сминаю траву
и розы на клумбах заглатываю.
Но время мое включено,
песок мой все сыплется, сыплется,
и надо дерзать или силиться —
кому что дано.

Борис Шаховский

Когда-то в госпитале

Нам скоро в бой,
По батареям.
Под поперечный град свинца.
И мы хорошей песней греем

В боях уставшие сердца.
И вот уж бинт совсем не тянет,
И забываешь боль свою.
Приподними подушку, няня.
Я вам тихонько подпою.
Нам скоро вновь с врагами драться
И по убитым горевать...
Подвиньте ближе к песне,
Братцы,
Мою больничную кровать.

Александр Ойелендер

На грани мира

В небольшом полярном городке
Тротуар качается дощатый,
Ветер с моря дует без пощады,
И гудит сирена вдалеке.

Милый мой товарищ, ты привык
К блеску удивительного юга,
Здесь же не в гостях, а дома выюга,
Взмыленная, словно маховик.

Вышел — и заносит с головой.
Но зато куда дороже глазу
То, что ты не замечал ни разу
Там, где все отпущено с лихвой.

Надо жить без солнца много дней,
Чтобы встретить утро, словно чудо,
Чтобы даже каменная груда
Заиграла радугой огней.

Это край, где любят до конца,
Как в седых трагедиях Шекспира,
Потому что здесь, на грани мира.
Бьются только сильные сердца.

Письмо, найденное в ранце

Вот мое обещанье:
В атаку пойду, не колеблясь,
Буду драться и драться,
Дыхания хватит пока,
Но врагу не отдам
Ни единого спелого стебля
С материнских полей,
А из чистых озер —
Ни глотка!
Если ж тело мое,

Обливаясь горячею кровью.
Станет тверже, чем дерево,
И холоднее, чем лед,
Перешлите матери
Это посланье сыновье:
Все, что я не дожил,
Пусть она за меня
Доживет!

Алексей Прасолов

Когда прицельный полыхнул фугас,
Казалось, в этом взрывчатом огне
Копился света яростный запас.
Который в жизни причитался мне.
Но мерой, непосильною для глаз,
Его плеснули весь в единый миг —
И то, что видел я в последний раз,
Горит в глазницах пепельных моих.
Теперь, когда иду среди людей,
Подняв лицо, открытое лучу.
То во вселенной выжженной моей
Утраченное солнце я ищу.
По-своему печален я и рад,
И с теми, чьи пресыщены глаза,
Моя улыбка часто не попад,
Некстати непонятная слеза.
Я трогаю руками этот мир —
Холодной гранью, линией живой
Так нестерпимо памятен и мил,
Он весь как будто вновь изваян мной.
Растет, теснится — и вокруг меня
Иные ритмы, ясные уму,—
И словно эту бесконечность дня
Я отдал вам, себе оставив тьму.
И знать хочу у праведной черты.
Где равновесье держит бытиё.
Что я средь вас — как памятник беды,
А не предвестник сумрачный ее.

*

В себе ненужного не трогай.
Смотри
В глаза простого дня.
Он в озабоченности строгой
Хранит иное
Для меня.

Вот голубой трамвай
Прозвякал
Звонком по-детски вдалеке,

И кисть малярная,
Как факел,
У встречной девушки в руке.

Ее цветной и грубый фартук
Среди морозной белизны
Я принимаю.
Словно карту
Открытой заново
Страны.

Пусть счастье
Вызреет не скоро,
Но, пролегая верный след,
Несу я душу.
Для которой
Уже обыденного нет.

*

Я хочу,
Чтобы ты увидела:
За горой, вдалеке, на краю
Солнце сплющилось,
Как от удара
О вечернюю землю мою.

И как будто не в силах
Проститься,
Будто солнцу возврата уж нет,
Надо мной
Безымянная птица
Ловит крыльями
Тающий свет.

Отзвенит —
И в траву на излете, —
Там, где гнезда
От давних копыт,
Сердца птичьего в тонкой дремоте
День,
Пропетый насквозь,
Не томит.

И роднит нас одна ненасытность —
Та двойная
Знакомая страсть.
Что отчаянно кинет
В зенит нас
И вернет —
Чтоб к травинкам припасть.

*

Схватил мороз рисунок пены.
Река легла к моим ногам —
Оледенелое стремленье,
Прикованное к берегам.

Душа мгновения просила,
Чтобы, проняв меня насквозь,
Оно над зимнею Россией
Широким звоном пронеслось.

Чтоб неумный ветер дунул
И, льдами выстелив разбег,
Отозвалась бы
Многострунно
Система спаянная рек.

Звени, звени!
Я буду слушать...
И звуки вскинутся во мне,
Как рыб серебряные души
Со дна — к прорубленной луне.

РАССКАЗ

Василий Аксенов

На площади и за рекой

Всю ночь ждали, и во всем нашем ветхом деревянном доме в центре Казани, в бывшем особняке инженера-промышленника Жеребцова, во всех десяти комнатах-квартирах постоянные жильцы и эвакуированные сидели на «венских» стульях, на табуретах, на сундуках, тихо переговариваясь друг с другом и поглядывая на серые тарелки радиоточек, а мы, мальчишки, копошились в захламленном коридоре, играли в «махнушку», покуривали, никто нас не гнал спать.

То ли был дождь, то ли чистая луна освещала замершие в ожидании улицы, то ли был ветер, то ли полный штиль, то ли были мы голодны, то ли сыты — все это не имело никакого значения и не замечалось в эту ночь.

Конечно, мы знали уже несколько дней, что Берлин взят и вся Германия занята нашими и союзными войсками, но неужели именно сегодня объявят о том, что кончились эти четыре года, эти четырежды четыре года, что никто в доме, во дворе и в школе не получит больше фронтовых похоронок, что всем злодействам Гитлера пришел конец.

«Махнушка» — странная игра военных лет, странный спорт. Она пропала вместе с войной, и нигде и никогда после я не видел детей и подростков, подбивающих сапогом кусок собачьей шерсти, утяжеленный свинцовой plombой. Чемпионом «махнушки» был вертлявый подросток Дамир Фазиев. Он бил и бил, и число ударов перешло уже за полтысячи, а «махнушка» все не падала на пол, нога чемпиона работала, как шатун, а сам он болтал, скалил в улыбке желтые, прокуренные зубы.

«Дамир» — это значит «Даешь мировую революцию». От сокращения этих слов получилось благозвучное восточное имя. Была также среди нас девочка Эльмира, что означало полностью «Электрификация мира», и девочка Велира — «Великий рабочий».

Итак, Дамир исполнял свой коронный номер, а мы сидели на продранном матрасе: Эльмира, Велира, Рафик Сагитов, Боря по кличке «Пузо», Севка Пастернак, Толик, Валерик, Шурик и я. Говорили мы о том, о чем многие дети говорили в то время, — о пленении самого Гитлера и о наказании проклятого злодея.

Вот, представьте, огромный чан, а в нем кипящее олово, и ме-е-едленно туда... Нет, гораздо лучше — в словаре Брокгауза и Эфрона описана китайская казнь «тысяча кусочков»... В клетку, в клетку Гитлера и возить по всем городам...

Гитлер, комически-ужасный, то тигр, то обезьяна, то шакал, то с топором и до локтей в крови, а то пригорюнившийся по-бабьи — «потеряла я колечко, а в колечке двадцать две дивизии», — вставал перед нами с бесчисленных карикатур и сатирических плакатов.

Разволновавшись, мы шебуршали на матрасе, и то и дело из-под нас выскакивали распрямляющиеся пружины.

В другое время на нас бы шикнули, накричали, разогнали бы всю капеллу, но в эту ночь взрослые бодрствовали и тихо бродили из комнаты в комнату, тихо переговаривались, кое-кто всхлипывал. Лишь из квартиры молодого инвалида Миши Мамочко в полуподвале доносилось пение и женский визг.

Юрисконсульт Пастернак Нина Александровна курила большую папиросу, преподнесенную ей в эту ночь тетей Зоей, работницей кондитерской фабрики имени Микояна. Всю войну Нина Александровна тяжело бедствовала, мазала свечкой сковородку, жарила на стеарине картофельные очистки, молча слезилась, а иной раз громко рыдала, говорила что-то интеллигентное, скрытно-умоляющее, а иной раз с площадной бранью обрушивалась на Севку. Никак не могла она приспособиться к военному быту, и соседи кое-как от жалких своих средств старались ее тянуть, кое-как поддерживали, приглашали вечером к печке погреться. Нина Александровна у печки оживала, расстегивалась, развязывалась, убирала вечную свою капельку с кончика носа, рассказывала о крепдешинных платьях, о чебуреках на Военно-Грузинской дороге. Потом засыпала с открытым ртом.

От того блаженного времени, от золотого века «до войны» сохранилась у нас патефонная пластинка, морская раковина и фотоснимок с пальмами и надписью «Привет из Алупки». Пластинка пела: «Ты помнишь наши встречи и вечер голубой, взволнованные речи, любимый мой, родной...», — а на обороте: «Сашка, ты помнишь наши встречи, весенний вечер на берегу... бульвар в цвету... как много в жизни сказки... как незаметно бегут года...» Пластинка пела молча, в памяти, ибо патефон давно уплыл на барахоловку, на Сорочку, туда же, куда уплыли крепдешинные платья Нины Александровны.

Тетя Зоя, напротив, была добрым гением нашего дома. Она была Милостью Божьей Экспедитором Кондитерской Фабрики имени Микояна. Помню, в первый год войны наше семейство после ухода на флот дяди как-то растерялось, растеклось. Мы не могли «прикрепиться» ни к одному магазину, и продовольственные карточки пропадали втуне. Явилась тетя Зоя, собрала целый ворох бесполезных розовых бумажек и заявила:

— С «жирами» ничего сделать не могу, а «сахар» отоварю у себя полуфабрикатом.

Полуфабрикат оказался коричневой, пахучей, невероятно сладкой мнимо-шоколадной массой.

В эту ночь тетя Зоя затеяла пироги. Вдруг ожила и загудела в коридоре огромная русская печь, которая давно уже, много лет, печью не считалась, а рассматривалась скорее как памятник промышленнику Жеребцову. Тетя Зоя была самой активной и оптимистичной, хотя муж ее погиб еще в первый год. Она уже готовилась к коллективному пиршеству, а другие жильцы хоть и готовились, но робко, нерешительно, все еще не веря, что ЭТО произойдет сегодня.

— Сегодня, — говорил фотограф дядя Лазик работнику обкома Камилу Баязитовичу, — из достоверных источников — сегодня. Камил Баязитович, ведь сегодня, не правда ли? Ну, скажите, все уже знают...

— Терпение, товарищи, — посмеивался Камил Баязитович. — Терпение и труд все перетрут. Всякому овощу свое время. Будем живы, не умрем. Сегодня или завтра, объявят — узнаем. Главное — враг разбит, победа за нами.

По коридору прогуливалась белокурая красавица, внакидку синие пальто — дар заокеанского союзника, моя сестра Инна.

Я иду не по нашей земле.
Занимается серое утро.
Вспоминаешь ли ты обо мне...

напепала она и улыбалась, погруженная в свои особые, свойственные лишь красавицам мысли.

Распахнулась дверь Полуподвала. Рыкая, вылез могучий Миша Мамочко, темный элемент. В полуподвале у нас была малина, а сам молодой силач, как потом выяснилось, был главарем подпольной артели каких-то гоп-стопшников, попрыгунчиков, какой-то банды вроде знаменитой «черной кошки». На фронте Миша был две недели и ранение получил, подобно Ахиллу, в пятку, но не погиб от этого, как древнегреческий герой, а, напротив, вернулся, спасся, и военкомат больше его не тревожил. Обычно он ходил прихрамывающий, молчаливый, с загадочной улыбкой, в хромовых «прахарях», с палочкой, бузил шумно, не редко и в полуподвале, не на глазах. Все его боялись невероятно, он был спокоен и снисходителен к соседям, и лишь одна у него была слабость — белокурая медичка Инна не давала ему покоя.

Сейчас он приступил к моей сестре, выпирая мускулами из шелковой майки, поддавая плечом, небрежно, вбок рыча:

— Пойдем, Инка...

— Да ну вас к черту, Мамочко! — хохотала Инка.

— Смотри, «летуны» твои разлетятся, а Мамочко останется, будь спок. Я тебя еще потрогаю своими ручками.

— Стыдитесь, Миша, сегодня война кончается, а вы... — воскликнул дядя Лазик.

— Война! Война! — вдруг заорал Мамочко кривым ртом. — Кому война, а кому мать родна!

— Позор! — воскликнула Нина Александровна.

— А вот я сейчас его ухватом! — крикнула тетя Зоя.

— Держись в рамках, Мамочко, — сказал Камил Баязитович.

— Дорожку не спеша старушка перешла, — запел Миша, — навстречу ей идет миллионер.

Свисток не слушали,
Закон нарушили.
Платите, бабушка.
Штраф три рубля...

Играя в такт большими белыми плечами и выставив вперед растопыренные пальцы, он двинулся на дядю Лазика, но в это время по всему дому из всех радиоточек медлительно прозвенели позывные Московского радио, и разом застучали на улице пистолетные выстрелы, послышалось «ура!».

Под окнами на мокром асфальте с поднятыми пистолетами стояли Инкины летуны, три молодых наших красавца с тросточками, а одна рука на перевязи, а одна нога в гипсе, а четвертым был француз с костылем, выздоравливающий офицер из полка «Нормандия-

Неман». Все четверо вопили «ура», палили в воздух, в серое, едва пробуждающееся небо, и сияли сияющими глазами, молодыми глазами победившей молодежи.

— Инка, победа!

— Победа!

— Инка!

— Внимание! Говорит Москва! — наплывал из репродукторов левитановский раскат.

Француз плясал вокруг своего костыля. Победа необозримой танцплощадкой, феерическим дансингом сияла перед колченогими Инкиными мальчиками.

А мы, зашвырнув куда-то «махнушку» и не дослушав даже приказа, сыпанули по улице Карла Маркса к центру нашего города, к площади Свободы, — Дамир (Даешь мировую революцию), Эльмира (Электрификация мира), Велира (Великий рабочий), Рафик Сагитов, Боря по кличке «Пузо», Севка Пастернак, Толик, Валерик, Шурик и я.

Мы бежали изо всех сил, и все рвалось перед нами, все открывалось с треском, с хлопанием, мгновенно, на миг, как будто лопалось в разных местах беленое полотно — первый луч солнца, одна голубая лужа среди множества темных, косичка, бантик, красный флаг, самолет, лошадь, моряк — ярко и навсегда.

Когда мы выбежали, улица была пустынна, а к площади мы подбегали уже в густой бегущей толпе, а на площади в лужах под окнами юридического института уже танцевали студентки, и подъезжали уже трамваи, обвешанные людьми, и на столбах висели уже мальчишки, и вывешивались лозунги на Доме офицеров, на заводе «Пишмаш», и за колючей проволокой со строительства оперного театра кричали и махали пилотками — вот чудо! — пленные мадьяры, и... и... Мы всё бежали, боясь куда-то опоздать, что-то упустить, и опомнились только на башне пленного «Тигра» с бессильно повисшим оружием, который вот уже года два стоял на площади среди других трофеев.

Появились самолеты, два самолетика «ПО-2». Они спустились так низко, что можно было видеть смеющиеся лица летчиков. Они пролетели прямо над трубами и рассыпали множество листовок: «С победой, товарищи!». Потом листовки эти стали бросать из окон Дома офицеров, с крыш, а бипланы весь день улетали и возвращались с новыми порциями листовок.

Мы сидели на грязном чудовище, которое кто-то где-то когда-то любовно ковал для того, чтобы всех нас убить, а теперь чудовище было понурым и жалким, со стыдливо опущенной пушкой, а мы сидели на нем для того, чтобы все видеть вокруг, а вокруг было...

Леонид Утесов:

Барон фон дер Пшик

Отведать русский шпик

Давно уж собирался и мечтал...

— Девочки, девочки, ловите старшего лейтенанта! Качать его, качать! Ой, батюшки, сил нет! Ой, умру!..

Клавдия Шульженко:

В запыленной пачке

старых писем

Мне случайно встретилось одно...

— Ребята, а где же Гитлер? Неужели утек? Его убили? Дудки! Его видели в Дублине переодетым. Подводная лодка Гитлера замечена возле острова Гельголанд. Убежал, зараза? Да нет, он отравился...

Марк Бернес:

Рыбачка Соня как-то в мае
Пригнала к берегу баркас...

— Что же теперь будет? Ах, как будет славно! И карточек не будет? И чумары не будет? И толкучки не будет? А что же будет? Будет масло и сыр, вишневое варенье, и будет футбол, Бутусов опять будет ломать штанги, а я поступлю в университет, ах, как будет славно!

«Кто ты, кто ты, кто ты, кто ты? Я солдат девятой роты, тридцать первого полка...», «На позицию девушка провожала бойца...», «Над светлой и чистой любовью моей фашистские псы надругались...», «Путь далекий до Типерери, путь далекий домой...», «Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая чья-то рука...», «И вот он снова зазвучал в лесу прифронтовом...», «Над милым порогом качну серебряным тебе крылом...»

Вот идут наши герои, наши кумиры, и не в строю, не печатая шаг, а взявшись под руки, словно девушки, и, смеясь, пехотинцы, артиллеристы, танкисты, все рода войск, идут, бренча орденами и медалями. А вот — о боже! — моряк с гвардейской черно-оранжевой лентой, почти такой же фантастически прекрасный, как наш тихоокеанец — дядя.

Прибежал потерявшийся было Пузо.

— Ребята, за мной, там подполковник всем мороженое дает!

С «Тигра» всех как ветром сдуло, и все — к подполковнику, который медленно двигался в толпе, толкая перед собой тележку. Тележка была закуплена им целиком по «коммерческой» цене, и он угощал всех ребят — всех, любого, без разбора — коричневым кислым мороженым, странным мороженым тех лет, сделанным из невероятно странного молока «суфле».

Я много дал бы за то, чтобы вернуть тот день и особенно тот миг, тот мой восторг, когда над площадью чистым серебром запели фанфары и мы увидели слона. Огромный серый лоб и спина слона плыли над толпой, а на спине стоял мальчик-униформист с трубой. А за слонем горделиво шествовал ученый верблюд. Это был цирк Дурова, гастролировавший тогда в Казани. В полном составе он вышел на улицы, чтобы поздравить горожан.

Впереди на белом коне ехал сам Дуров в гусарском костюме, расшитом золотом. Ментик, кивер, сабля и ташка — все, как полагается. Дуров держал в одной руке знамя, в другой — пылающую трубу. Далее следовал, поводя хоботом, слон. В огромном сердце слона, конечно, бушевал восторг, но он сдерживал себя, слонище, и деловито топал вслед за танцующим крупом лошади. На боках его висели фанерные щиты с надписью «Победа». Подскакивая, мы цапали африканца за бахромчатые уши, и в другое время он, конечно, пресек бы такое нахальство, но не в этот же день, и он дарил нам эти прикосновения так же, как подполковник мороженое.

Корабль пустыни шествовал далее с униформистом между двумя косматыми горбами с такими же, как у слона, фанерными щитами на боках. Трудно, конечно, было ему смахнуть с морды гримасу вечного презрения, но все же в отвислых его губах таилась улыбка.

За верблюдом, вообразите, катила «эмка», на крыше которой сидел леопард. Хищник туповато и вяло поводил желтыми глазами, видимо, слабо разбираясь в обстановке, зато медведи внутри «эмки» вели себя шумно и даже разухабисто, крутили мордами, махали лапами, били друг друга по плечам.

А дальше бежали, бренча и топоча, три упряжки пони в бубенцах и лентах, а в разукрашенных колясках множество было набито всякого зверья, а также там сидели артисты с гармониками и дудками.

И вся эта немыслимая кавалькада прошла через площадь Свободы, потом по улице Лобачевского, мимо Черного озера, потом по Чернышевского к нашему белому Кремлю, потом спустилась на улицу Баумана и докатилась до Кольца и снова вверх по улице Куйбышева к площади Свободы, и все это в серебряном пении фанфар, в мелькании самых

ярких красок, под абсолютно голубым небом, и так они топали, цокали, брнчали, трубили, словно отделяя этим своим шествием для всех ребят военные, прошлые уже годы от будущих — мирных.

Кажется, солнце держалось в этот день на небе гораздо дольше, чем ему полагалось по календарю, но все же оно село, укрылось в далеких и таинственных западных районах города, и голые ветви деревьев резко обозначились на голубовато-зеленом небе, и лишь тогда мы вернулись в наш дом, пропахший сдобными пирогами, в скрипучий уютный ковчег, болтающийся среди весеннего моря.

К исходу ночи пироги были съедены, и в доме воцарилась блаженная, сытая, чуть-чуть урчащая тишина. Только лишь ходики работали сильно, напористо, даже ожесточенно.

Я лежал на своем диванчике и думал об этом дне и обо всем мире, в котором прошел этот день. Огромность мира в те годы тревожила меня, казалось невероятным существование чужих и далеких стран, совершенно равнодушных к нам и к нашей судьбе. Я думал о том, что вот этот-то уж день прожит всем миром одинаково, что в этот день у всего мира была только одна общая новость, и эти мысли успокаивали меня и наполняли ощущением некоей странной гармонии. Я закрыл глаза и растворился в этом блаженном состоянии...

...Вдруг я услышал шарканье чьих-то ног у нашего подъезда, тихий стук костяшками пальцев в дверь. Стук был коротким, но шарканье не прекращалось: кто-то тщательно вытирал ноги о крыльцо. Стук повторился.

Я натянул штаны, накинул телогрейку, тихо вышел из комнаты и спустился в подъезд. Там уже стояли Дамир, Велира и Севка Пастернак.

— Кто-то стучит, — боязливо сказала Велира.

— Кто там? — крикнул Дамир.

— Откройте, пожалуйста, — послышался за дверью глуховатый мужской голос.

В подъезд один за другим входили наши ребята. Дамир открыл дверь. На крыльце стояла какая-то сутулая фигура в черном, сильно поношенном пальто, в шляпе. Из-под широких, обвислых брюк матово блестели головки новых калош.

— Вам кого? — сердито спросила Эльмира.

— Тише! — оборвал ее Севка. — Что ты, не понимаешь?

— Я, собственно, просто так, — пробормотал человек. — Проходил мимо и решил постучать. Должно быть, ошибся, должно быть, нервы...

— Вы, наверно, по запаху, — любезным голосом сказала из-за наших спин тетя Зоя. В руках у нее был ухват. — На пирожки потянуло? Заходите, попотчует.

— Нет, спасибо, что вы, я в самом деле ошибся, ваш дом 55, а мне нужно 22. Сами понимаете, как похожи эти цифры. Просто посмотрел не с того ракурса, — бормотал человек и продолжал осторожно отступать.

— Севка, Васька, Борька, заходите справа, — скомандовал Дамир.

Человек резко повернулся и побежал. Мы бросились за ним. Мы бежали очень быстро, но никак не могли его догнать. Прямо перед нами мелькали его новенькие калоши, слышались прерывистые хрипы, вырывающиеся из его груди, но дотянуться, схватить за полу черное развевающееся пальто никому не удавалось.

Уже начинало светать, и в конце гулкой улицы небо было розовым, низко висели трамвайные провода, орали грачи в пустых садах.

— Простая ошибка, элементарная путаница! Думал, 22, оказалось — 55! — дико заорал человек, резко свернул за угол, в туче брызг пролетел по лужам сквера и дунул вниз по Подлужной, к тускло светящейся ленте речки Казанки, за которой начинались уже поля и синели, розовели, зеленели маленькие озерки. Он бежал прямо к узкому дощатому Коровьему мостику.

— Неужели не догоним, неужели уйдет?! — крикнул я.

— Как же, уйдет! Там наши! Попался, голубчик! — закричала тетя Зоя.

На мосту действительно были наши — Инка и ее «летуны». Красавица сидела на перилах, свесив кудри, офицеры играли на гитарах, а француз пел никому из нас не известную песню:

Как я хочу в вечерний час
Кольцо Больших бульваров
Обойти хотя бы раз...

— Ну вот, уже гонят! — воскликнула Инка. — Мальчишки, только не стреляйте — надо живьем!

Офицеры, раскрыв объятия, побежали к человечку, но тот вдруг оторвался от земли и тяжело полетел над рекой Казанкой, заваливаясь, ухая, стеная, рыча, то ли как сова, то ли как подстреленный бомбардировщик.

— Эх, где же мой «Як»! Где же мой «Ильюшин»! Где же моя «Аэрокобра»! — в досаде закричали «летуны». По мосту загрохотали их сапоги и наши дырявые ботинки.

Человечек неуклюже приземлился на другом берегу и побежал по полям, по вязкой весенней земле.

Мы мчались за ним мимо озер под бледной луной и розовой зарей, смешались ночь и день, черное пальто все трепыхалось перед нами, и мелькали калоши.

В одном из озер по пояс в воде стоял голый Миша Мамочко.

— Берлин брал, кровь мешками проливал! — заорал он.

— Вся грудь в крови! — завопил он, нырнул и вынырнул.

— Искусана клопами! — захохотал он. — Граждане, червонец за шутку!

На берегу другого озера сидел с удочкой Камил Баязитович. Увидев погоню, он вскочил.

— Так и знал, что клюнет! — закричал он, — Вот это щучка!

Однако человечек снова совершил полет над озером на распластанных вроде бы драповых, вроде бы бронированных крыльях и, вновь приземлившись, пустился в поля.

Впереди, на холме, у треноги фотоаппарата суетился дядя Лазик, а рядом стояла с поднятой кверху рукой юрисконсульт Пастернак.

— Готовьте магний, Нина Александровна! — покрикивал дядя Лазик. — Снимок для истории! Оп!

Вспыхнул магний, на мгновение все вокруг стало черным и белым.

— Готово!

Человечек бежал уже тяжело, калоши застревали в липкой земле, но он никак не хотел с ними расстаться.

И вот запели, зазвенели во всем чистом поле серебряные фанфары, и в розовом утреннем свете встали на горизонте конный гусар, и слон, и верблюд, и четыре медведя на крыше «эмки», и три упряжки игривых пони, и в колясках множество всякого другого зверья, и артисты с гармониками и дудками.

— Гу-у-у-у! — заголосил человечек. — Гу! Гу-гу-гу! Чучеро ру хиопластр обракадеро! Фучи — мелази, рикатуэр!

Взмахнув крыльями, он медленно поднялся в воздух, пролетел, нелепо кувыркаясь, малое расстояние и ухнул в какое-то зеленое озерцо.

Когда мы подбежали, озеро шло кругами. В глубине мгновенно промелькнули знакомая косая челка, усики и оскал, потом все пропало.

— Капут Адольфу, — сказал Дамир и вытер пот.

...Я мог бы рассказать о пробуждении, о втором дне Победы, о первом дне Мира, но это уже новая тема.

С балкарского

Кайсын Кулиев

Тому, кто придет вслед за мной

Прости, не все каналы я пророю.
Не все пути, не все дома построю.
Работы хватит и тебе с лихвой,
И будут птицы черные порою
Кружиться над твоею головою.

Как над моей кружились головой.
И ты стирать до крови будешь ноги,
Крутой одолевая перевал,
И ты, быть может, загрустишь в тревоге,
И ты устанешь тоже на дороге,
Как некогда и сам я уставал.

Как всякое на свете поколение,
И ты всю землю примешь во владенье.
И сам ты будешь ночи напролет
Глядеть на дождь, как будто с сотворенья
Дождь над землею первый раз идет.

И, сидя с милой на траве примятой,
Ты будешь с жаром говорить любя
Слова, что были сказаны когда-то.
Ты заблуждаться будешь, веря свято.
Что я не говорил их до тебя.

И ты захочешь мир собственноручно
Переиначить и перекроить.
И песню наших лет сочтешь ты скучной
И новую попробуешь сложить.

Не принимая ничего на веру,
Мы не умеем следовать примеру,
Мгновенно отличать от правды ложь.
И мудрость мудрых, хоть и старых
правил,
Которые в наследство я оставил,
Ты сам откроешь и тогда поймешь.

*

Наверно, и чинара не мечтает,
Чтобы весна стояла круглый год,
Коль снег не выпадет и не растает,
Чинара и весной не зацветет.

Чем больше снега, тем суки упорней.
Сильнее ветви, если снег тяжел.

Чем беспощадней ветер — крепче корни,
Чем выюга злее, тем живучей ствол.

От пламени не станет пеплом камень,
В грозу не поколеблется скала...
Я не молил: усыпьте путь цветами,
Чтоб жизнь моя лишь праздником была.

Пусть ствол растет, пусть не избегнут
ветви
Ни злобы зим, ни весен доброты,
Чем больше снега, чем суровой ветры,
Тем на горах красивее цветы.

Слово

Мул похож на своего хозяина.
Лошадь — на владельца своего.
И слова похожи на того,
Кто сказал их, вольно иль нечаянно.

Кто слова со дна души извлек,
На того всегда они похожи.
Мягок человек или жесток —
Слово мягко иль жестоко тоже.

В дождь

Дождь, дождь идет, в дожде
каменоломня,
Орешник, тополя, громады скал.
Когда ты был живым еще, я помню,
В ущелье нас такой же дождь застал.
Такой же дождь шел на тебя живого.
Какой идет сегодня не спеша
И о тебе напоминает снова.
Густой травой и листьями шурша.
Я стал нередко думать, став старее,
О том, что жизнь вершит неправый суд.
Что умирают лучшие скорее,
Что лучшие себя не берегут.
Мне кажется, к достойным время строже,
Судьба наносит больше им обид,
Людей, которыми гордиться может,
Растрчивает мир и не щадит.
Как птица после дальнего полета,
Я спать хочу, забился я в углу,
Я слышу, дождь идет, а может, кто-то
Стучит тихонько пальцем по стеклу.
На землю льется добрый дождик лета,
Стучат по крыше струйки вперебой,
И кажется, что побывал он где-то,

Где ненароком встретился с тобой.

*

«Над раной шутит тот,
кто не был ранен».
ШЕКСПИР.

Я видел, как селенья догорали.
Как люди умирали на снегу,
Я, видевший, как люди умирали.
Не ненавижу смерти не могу.

Я знал людскую злобу, зависть,
лживость,
И надо мной гремел напрасный гром.
Познавший на себе несправедливость,
Я не могу не быть ее врагом.

Над раной может только тот смеяться
Кто в жизни не был ранен никогда.
Я не могу беды не опасаться,
Я знаю, какова на вкус беда.

Один и тот же сон мне часто снится —
Над городом летящий самолет.
И я боюсь, что сына мать лишится.
Что юноша к любимой не придет.

Я, видевший и хоронивший павших,
О мире человечеству молюсь.
И, голодавший сам и холодавший,
Я голода и холода боюсь!

И, сам прошитый пулями насквозь, я.
Сегодня упиваюсь мирным днем.
Я славлю камни, яблони, колосья
И вертел над пастушеским огнем.

*

Большая боль не вопиет,
Печаль всегда немногословна.
В горах безмолвно тает лед.
Пересыхает пруд безмолвно.

Давно, еще на той войне.
Мои друзья без вести где-то
Пропали, не оставив мне
Ни завещанья, ни завета.

Им, превратившимся во прах.

Не знать ни наших снов, ни бдений.
Не видеть им у нас в глазах
Своих нечетких отражений.

Погибшим, не услышать им.
Как дождь весной стучит по крыше,
И что о них мы говорим.
Им не узнать и не услышать.

Боль не криклива никогда.
Печаль не терпит жалоб длинных.
Безмолвна и суха беда.
Как горлышки пустых кувшинов.

*

Старик-крестьянин подводил итог.
Он умирал и знал, что плакать нечего.
Весь день шел дождь и глину и песок
Перемесил в одно сплошное месиво.

И, видя дождь, и грязь, и сумрак дня,
Промолвил умирающий в тревоге:
«Как трудно будет вам нести меня
В последний путь по этакой дороге!»

*

Река бежит, скалистый берег гложет.
Но жить без берегов река не может.

Жизнь — как река: ей тоже течь и течь.
Но берег жизни нашей — наша речь.

Замрет и высохнет наверняка
Без слова жизнь, без берега — река.

Когда иссякнет вдруг людская речь,
Не испечется хлеб, погаснет печь.

Бессмертье — блажь, и смертен даже тот.
Кто слово лучшее произнесет.

Но слово жить останется навеки.
Как жизнь, как хлеб, как берега и реки.

*

Не тот герой из нас,
Кто не бежал меча.
Лишь славы каждый раз
В сражении ища.

Кто думал о своем.
Хоть кровь текла рекой...

В понятии моем
Тот человек герой,
Кто землю прославлял
Родимую свою,
В спокойный час пахал
И обаграл в бою.

Гора

Блестящая снегами в вышине.
Вершин твоих кто выше, кроме бога!
Я был мальчишкой, и хотелось мне
Рукой своей твой белый снег потрогать.

Я на тебя глядел издалека
И шел вблизи, меж скал твоих петляя.
Порой казалось: ты уже близка,
И я смеялся, мула погоняя.

Не за горой уже конец пути,
Немало позади дорог и бедствий.
Я скоро вовсе не смогу идти,
А ты все так же далека, как в детстве.

Ты, как всегда, стоишь белым-бела,
И вечность, а не я — твой собеседник,
И так же, как в мой первый день была,
Ты будешь далека в мой день последний.

Перевод Н. ГРЕБНЕВА.

ПОВЕСТЬ

Вадим Фролов

КТО К НЕМУ...

1

Мне уже достаточно много лет, и постепенно я начинаю понимать, что к чему. Так по крайней мере мне кажется. «Что к чему» — это говорит всегда дядя Юра. У него интересная фамилия — Ливанский. Папа зовет его «Кедр», потом немного молчит и потом опять говорит: «Эх ты, Кедр Ливанский». Я думаю, папа любит его, хотя об этом никогда не говорит, а, наоборот, подсмеивается всегда над своим Кедром.

Папа красивый, но, хотя ему не очень много лет, он уже седоватый. Вообще-то он моряк, но работает уже давно в научно-исследовательском институте, и, когда я спрашиваю его, что он там, капитан первого ранга, делает в этом институте, он хмыкает и говорит:

— Вырастешь, Саша, узнаешь...

В прошлом году меня отправили в Псковскую область на все лето. Там есть такая деревушка, Красики, — маленькая, всего тринадцать дворов, и жили в ней какие-то дальние папины родственники — я так до сих пор и не понял, кем они нам приходится. Мне было у них совсем неплохо. Только обидно, что папа с мамой отправили меня на все лето, а сами с Нюрочкой уехали к Черному морю. И за все лето я получил от мамы только одну открытку — бронзовая русалка на камне в море.

В Ленинград я вернулся перед самым началом учебного года...

...Я отмывал с себя, как любила говорить мама, петнюю безалаберность и из ванной крикнул:

— Батя, а где наши женщины?

Папа появился в дверях ванной. Во рту у него торчала трубка, он взялся одной рукой за притолоку, другой потер лоб.

— Слушай-ка, — сказал он, — ты вымылся? Ну, иди сюда.

Он усадил меня за свой письменный стол, а сам стал у меня за спиной. Молчал, молчал, а потом сказал:

— Красики вы, Красики... дальняя дорога... Вот что. Мама уехала на гастроли... надолго, а Нюрочка у дяди Юры. Так что пока мы проживем с тобой вдвоем. Что из этого следует?

— Железная флотская дисциплина, согласно уставу корабельной службы, — ответил я.

— Точно. Вопросов нет?

— Нет, — сказал я, хотя вопросы у меня на этот раз были. Вообще-то мы и раньше иногда оставались вдвоем — ничего особенного. Только на этот раз я уж очень давно не видел маму — даже соскучился. Но я подумал, что не стоит сейчас задавать ему вопросы. «Спрошу в другой раз», — подумал я.

Скоро пошли уроки. Я, как и в прошлом году, ходил в детскую спортивную школу — мама меня туда определила по совету дяди Юры, который сказал, что у меня длинные ноги и мне ну совершенно необходимо заниматься легкой атлетикой. У Кедр Ливанского всегда были насчет меня разные планы. Однажды он решил, что у меня чудесная какая-то «пластика», и я чуть не угодил в балетное училище. Спасибо, батя выручил...

Папа в эту осень никуда не уезжал.

— Надоели мне командировки, — говорил он, — посижу-ка я дома в ватном халате и в теплых шлепанцах.

Изредка мы ездили к дяде Юре и его жене тете Люке навещать Нюрочку. Ей там было очень неплохо. Нюрочка у них чувствовала себя как дома.

А мы с папой жили по-холостяцки. Квартирка у нас приличная, в новом доме, две комнаты с кухней и с мусоропроводом. Жить можно, и, несмотря на то, что в доме не было женщин, порядочек у нас был. Как на корабле. Матросский порядочек. Ведь посуду-то мыть несложно, особенно под водогреем, да и посуды-то кот заплакал.

В школе у меня шло все нормально, только мне как-то расхотелось острить, и Наташка говорила Оле:

— Он стал неинтересный.

Как будто я ужасно хотел казаться интересным. Просто... ну, ладно, все это ерунда на постном масле.

Ольга и раньше к нам приходила, а тут просто так зачастила, что житья от нее мне не стало: то посуду плохо помыл, то пол не так подмел... Папе она заявила, что мы какие-то «неухоженные» — слово-то какое выкопала! — и что мужчинам обязательно нужна нянька. И батя согласился.

— Что мы тебе, грудные младенцы? — Это я попытался по-старому состричь.

Папа не понял и сказал:

— Младенцы, Оленька, да еще какие... — и пошел к себе писать. Он очень много писал последнее время и все написанное рвал в мелкие клочки.

В общем, Ольга стала здорово надоедать мне своей заботой. Раз я прихожу, а она лежит в передней, а на ней электрический полотер. Это надо же умудриться! Я ужасно разозлился — стлазывает тут еще ее йодом. Я припомнил, как однажды в Лисьем Носу она пробовала меня спасать и чуть не утопила. Подвернулся дядя Юра и так шлепнул ее по одному месту! Меня он шлепнул тоже, а Ольга еще орала:

— Я бы все равно его спасла, если бы вы не подвернулись!

Вот сейчас мне от ее забот стало тошно, и я сказал:

— Не ходи ты к нам.

— Хожу и буду, и не твое дело. Мне твой папа сказал, что я человек.

— Ладно, — сказал я, — приходи, когда меня дома не будет.

Она сказала, что я неблагодарный дурак, и действительно перестала приходить. И опять мы остались одни.

Через некоторое время папа спросил у меня, почему не видно Оли. Ну, я ему рассказал — я вообще не могу ему врать, иногда промолчу, если что-нибудь не так, ну, а когда уж он спросит, я не могу ему врать. Хочу, а не могу.

Он не сердился; он как-то странно посмотрел на меня и сказал:

— Одевайся.

Я думал, что мы пойдем к Оле, но он повел меня совсем в другую сторону. Мы долго шли по городу, через Кировский мост, по набережной Кутузова, мимо знаменитой решетки, потом по Литейному, завернули на Кирочную и вышли на улицу Маяковского, зашли в какой-то двор и спустились в подвал, нет, в полуподвальный этаж. Папа позвонил.

...Мы прошли в комнату и увидели... Я-то в первую очередь увидел корабль под всеми парусами. Он стоял на тумбочке около окна и куда-то плыл...

— Вот, знакомься, Андреич. Это — мое сокровище, — сказал папа и толкнул меня в плечо.

У низенького столика в коляске сидел Андреич. Усы у него были желтые, руки очень большие, голова маленькая, одет он был в матросскую тельняшку, а ног у него не было. Я даже не очень удивился. Батя любил задавать мне загадки.

Андреич на меня не посмотрел.

— Ну, как живешь, соломенный вдовец? — спросил он папу.

Папа покачал головой.

— Эх ты! Разрюмился, капитан первого ранга... —

Он выругался и закашлялся. А папа стоял и качал головой.

— Пусть погуляет, — кашляя, сказал Андреич.

— Погуляй, Саша, — сказал папа.

Я вышел из этого полуподвала во двор, и мне стало обидно. Ну что я, маленький, что ли?.. Ну, не пойму чего-нибудь, но зачем же выгонять-то? «Погуляй, Саша!»

Во дворе никого не было, я долго гонял пустую банку, а потом вышел батя и позвал меня.

— Андреич, ты все же посмотри на мое чадо, — сказал папа. Он был почему-то очень красный, и глаза у него блестели.

— Ты не настаивай. А то я так посмотрю, что от него мокрого места и то не останется, — прохрипел старик в колясочке, и у меня по позвоночнику поползли мурашки. А батя усмехнулся и опять подтолкнул меня в плечо.

Рука у Андреича была здоровенная, и, когда он протянул ее ко мне, я сдрейфил. Он взял меня за плечо довольно больновато, но как-то, ну не знаю... ласково, что ли, повернул к себе и спросил:

— Ты вот что скажи: летают тут чайки?

Честное слово, летали бы здесь чайки или не летали, я все равно сказал бы, что они летают. Я только кивнул.

— Твое чадо! — закричал Андреич и начал хохотать, кашлять, чихать и плевать.

Так под эту музыку мы и ушли. Обрато мы шли под марши, которые про себя бубнил папа. Мне очень хотелось спросить, что это за Андреич, но я не спрашивал. Нарочно не спрашивал.

Подходя к дому, мы спели «Варяга», а когда пришли, батя спросил:

— Ты что-нибудь понял?

Я засмеялся — на такие воспитательные приемчики я уже давно не поддаюсь. Он повернулся и пошел на кухню с таким видом, что я сразу вдогонку ему крикнул:

— Я завтра Олю позову! Она здорово пол натирает.

В ответ я услышал:

— Дурак.

— Бать, а что такое соломенный вдовец? — спросил я.

Он высунулся из кухни. Лицо у него вдруг стало мрачным. Он хмуро сказал:

— Это вроде нас с тобой — холостяки... временные... На следующий день вечером пришел дядя Юра и сказал, что Нюрочка заболела. Он даже не стал раздеваться, а мялся в передней, переступая с ноги на ногу, и тянул себя за красивые усы.

— Николай, тебе, наверно, не придется идти на работу, — говорил дядя Юра, глядя куда-то на вешалку. — Ты не волнуйся, вероятно, ничего страшного нет, просто Нюрочке очень плохо, Люка сходит с ума. Машина, между прочим, внизу, ну, а Сашка постережет дом, черт бы его побрал. Он поймет, что к чему.

Я засмеялся и получил подзатыльник от дяди Юры. Папа, уже одетый, сказал мне:

— Позвони Федору, чтобы приехал. Меня не жди. ' — Коля, Коля... — забормотал дядя Юра, — ты не волнуйся.

— Ладно, старик. Поехали.

Оки ушли. Я особенно не думал о Нюрочке, когда она была здесь, девчушка как девчушка: три года, ямочки на щеках, глаза тоже ничего — большие и вроде зеленые, русалочьи, говорила мама, и ручонки у нее очень приятные — мягкие-мягкие...

Я не хотел звонить Федору Алексеичу. Подходил к телефону и все время оттягивал: мне казалось, что, если я позвоню, случится то, чего уже никто не сможет поправить. Ведь папа очень редко звонил Федору и всегда, когда ему действительно было туго.

— Поплачусь-ка я в жилетку, — говорил батя и звонил Федору, а потом уходил.

Федор Алексеич — старый батин друг и начальник еще по флоту. Отец его очень уважал и, мне кажется, даже немного побаивался.

Я все-таки пересилил себя и позвонил. Мне не ответили, и я вздохнул с облегчением. Я хотел позвонить Ливанским, но вспомнил, что у них еще нет телефона. Тогда я позвонил Ольге. Подошла к телефону она сама и вначале сделала вид, что меня не узнала. Но, наверно, я так сказал ей, чтобы она пришла, что она прибежала через пять минут.

— Я очень на тебя сердита, и, пожалуйста, не задавайся, что я пришла, это просто моя общественная обязанность: я взяла над тобою шефство...

Черт бы ее побрал с ее шефством! Вот человек! Не может сказать прямо, что она ко мне хорошо относится. Я чуть не выгнал ее.

— Слушай, помой посуду, а я... — сказал я и почему-то поперхнулся.

В передней у нас был сундук, на котором лежали шарфы, варежки, шапки, и я сидел на этом сундуке, а Ольга гладила меня по голове и ничего не говорила. Потом она убежала и через некоторое время пришла со своим отцом. Он был старшиной милиции и меня, по моему, не очень любил. Он пришел, покрякал, обошел квартиру, посмотрел на часы — а было уже около двенадцати — и сказал:

— Олюха, давай его к нам. У нас поспит. И покорми. А мне — на дежурство. — Он козырнул по-военному и вышел. А через две минуты опять вернулся. — Слушай, как тебя... Александр, ты Юрку Пантюхина знаешь?

— А что?

— Скажи ему, чтобы он завтра ко мне в одиннадцать, нет, лучше в двенадцать ноль-ноль зашел.

Я не успел ответить, а он опять ушел. Попробуй-ка скажи Пантюхе, что его в милицию вызывают! И что я к нему в двенадцать ночи пойду, что ли?

Мы, конечно, пошли к Ольге — с ней ведь не сладишь. Они через две парадные от нас живут.

— Ты не шуми: у нас мама больна. Я тебе здесь постелю, а ты пойдешь умойся. Потом я тебя покормлю.

Как будто я собирался песни петь, а есть я вообще не хотел. Пока там Ольга возилась на кухне, я все думал: ну что я маленький, чтобы со мной так нянчились? И еще о том, как сказать Пантюхе, что его вызывают в милицию. А еще смотрел на Ольгину комнату. Ну да: расписание уроков с цветочками, этажерочка, порядочек, бантики-фантики...

Не было там бантиков-фантиков — это мне со злости казалось...

2

Я долго не мог заснуть и все ворочался на диване. Пружины подо мной звенели и скрипели, и я боялся, что разбужу Ольгу, а остановиться никак не мог — все ворочался и ворочался. А потом я наконец заснул и спал так крепко, что, когда Ольга потянула меня за ноги, я вскочил как ошалелый и долго хлопал глазами, не понимая, где я и почему около меня стоит и хохочет Ольга.

— Ну и крепко же ты спишь! Я тебя бужу, бужу, а ты все спишь и спишь, Мама говорит: это он от переживаний.

Какие там переживания! Просто я долго не мог заснуть: пружины мешали. Но этого я ей не сказал.

— Вставай, соня, — сказала Ольга, — в школу опоздаем. Сейчас позавтракаем, ты сбегашь домой за портфелем, и пойдем в школу, а потом сходим навестить Нюрочку, а обедать придем к нам. Я с мамой уже договорилась. Потом сходим в кино — тебе надо отвлечься... или отвлекься?

— Отвлекься, — сказал я и подумал, как это она здорово все расписала и разложила по полочкам: сперва то, потом это. Но спорить я с ней не стал: не захотелось.

Мы позавтракали, и я пошел за портфелем. А потом, когда я уже спускался по лестнице с портфелем под мышкой, я вспомнил, что надо зайти к Пантюхе и сказать ему, чтобы он шел в милицию. Не очень мне хотелось это делать, но я ведь обещал Олиному отцу.

Наверно, опять Пантюха влип в какую-нибудь историю, он всегда влипал в какие-нибудь истории, и вот сейчас его вызывают в милицию, а я должен ему об этом сказать.

Пантюха, конечно, начнет заикаться и скажет, чтобы я п-п-проваливал к ч-ч-черту, а потом начнет орать, что и б-б-без меня знает, ч-т-то ему делать — идти в милицию или д-д-делать дело; он всегда делал какие-то дела, а потом ему за эти дела здорово попадало, но он не любил, чтобы кто-нибудь в его дела вмешивался...

...С Юркой Пантюхиным у меня были странные отношения.

Когда заселяли наш дом, мы приехали самые первые, и мне было очень интересно смотреть из окна кухни, как каждый день во двор въезжали машины. С них разгружали разную мебель, и женщины суетились около машин и что-то кричали, а мужчины, пыхтя и отдуваясь, таскали эту мебель на разные этажи, а потом курили с шофером, вытирая пот со лба, и подмигивали в сторону женщин. Потом они договаривались, и один из них бежал в магазин.

Я видел, как вместе с отцом приехала Ольга на синей с красной полосой милицейской машине. Они выгрузили швейную машину, очень много цветов в горшках и аквариум, прямо с водой, который старшина понес сразу в квартиру. А потом приехала трехтонка с мебелью, и Олина мама, маленькая, худенькая, закутанная в платки, командовала тремя милиционерами, как «мать-капитанша» из Пушкина. А Ольга носилась взад-вперед и все время что-нибудь роняла.

Потом я видел, как в парадную напротив приехал Валечка. Им дали три комнаты, но они приехали почти совсем без мебели.

Пришла всего одна машина, и из нее начали выгружать какие-то красиво покрашенные доски, тоненькие стульчики и низенькие столики, как в кафе «Лакомка».

А потом приехал Пантюха. Они приехали самыми последними.

Я стоял у окна и услышал, как во дворе вдруг заиграла гармошка. Я очень удивился: гармошку я слышал только в деревне.

По двору шел парень в кубанке с красным верхом и играл на гармошке «Подмосковные вечера», а за ним фырчала такая машина — мотороллер не мотороллер, такая красная машина, на которой ездят дворники. Она называется очень забавно — «Тум», словно собачонка. Машина была с прицепом, а на прицепе стояла мебель. За прицепом шла очень красивая женщина в ватнике и в голубом шелковом платке. Она размахивала красной сумочкой и пела. У нее был очень красный рот — странная такая помада. Рядом с ней шла девчонка — очень стильная. А за ними катил детскую коляску — старомодная какая-то коляска, таких сейчас не делают — парнишка в маленькой кепочке. В коляске стоял здоровенный фикус, лежали огромные часы и ящики от посылок с разным барахлом. Парень был в коротком пальто, маленький, тонконосый, маленькая кепочка сидела у него на самых ушах, и, когда он начал вытаскивать из коляски фикус, я испугался, что он сейчас грохнет его и тот тип в кубанке даст ему так, что он не опомнится. Он обхватил здоровенный горшок с фикусом, прижал его к животу и на полусогнутых потащил в парадную. Мне даже показалось, что я слышу, как он кряхтит. Нес, нес и у самой парадной споткнулся о ступеньку и все-таки грохнул этот проклятый фикус. Горшок раскопался на мелкие куски, земля высыпалась. Паренек сорвал свою маленькую кепочку и хлопнул ее об асфальт, а парень в кубанке сыграл на гармошке туш. Красивая женщина с красными губами сделала сердитое лицо, потом махнула рукой и засмеялась.

— К счастью! — закричала она так, что я услышал сквозь закрытое окно. Мне все это понравилось. «Забавная семейка!» — подумал я.

После этого я долго никого из них не встречал, только часто, проходя под их окнами, слышал, как там играли на гармошке и очень громко пели.

— Вторую неделю новоселье справляют, — говорила наша соседка напротив, и было непонятно, то ли она восхищается, то ли возмущается.

Но вот однажды гармошка и песни за окнами смолкли, и парень в маленькой кепочке стал появляться во дворе. Ему было скучно: ребят еще почти не было, была только мелюзга и Валечка, который с деловым видом пробежал с нотной папкой два раза в день, а остальное время торчал дома. Я из окна кухни видел, как парнишка слонялся по двору и лениво гонял палкой, как клюшкой, пустую консервную банку. Мне тоже было скучно: школьные друзья все разъехались кто куда, а мои родители все никак не могли решить, куда меня деть на лето, и я томился в городе.

Кепочка мне чем-то нравился — уж очень у него вид был самостоятельный, и мне захотелось с ним познакомиться, но я как-то не умел это делать первый. И вот смотрел я, смотрел, как он гоняет эту несчастную банку, и решил все-таки вылезти во Двор.

«Дай-ка я возьму велосипед!» — подумал я. У меня был новенький «Орленок». Парень, конечно, попросит у меня покататься, я ему дам, мы и познакомимся.

Как же! Попросил он покататься... Только я проехал мимо него, изобразив на лице самую приветливую улыбку, он — р-раз и сунул палку в переднее колесо, и все спицы только тр-р-р. Я вылетел из седла и набил себе здоровую шишку, треснувшись о мусорный бак.

Я поднялся и, пошатываясь, пошел к парню. Он стоял, и смеялся, и даже не думал бежать, хотя я был на голову выше его и вид у меня был, наверно, довольно злобный.

— 3-здорово ты летел. Аж б-бак зазвенел, — сказал он.

— Ты зачем это сделал? — спросил я.

— А не ф-форси. А то едет и еще лыбится. Едет и лыбится, — спокойно сказал он.

— Д-дурак! — заикаясь от злости, заорал я. — Я в-ведь хотел... — Но что я хотел, мне так и не удалось договорить: я получил здоровенный удар прямо в нос.

— Д-д-дразнишься, д-да? — тихо сказал парень и пошел на меня.

И я отступил. Не потому, конечно, что испугался, а потому, что вдруг сообразил, что он и впрямь мог подумать, будто я дразнил его: ведь он на самом деле здорово заикался.

Так я отступал, а он шел на меня, и маленькие желваки шевелились на его скулах. Он притиснул меня к стене.

— Еще х-хочешь?

Я не успел ответить, как услышал чей-то визгливый крик.

— Оставь хорошего мальчика, хулиган! — Это, высунувшись чуть ли не наполовину из своего окна, кричала наша соседка, — Во семейка приехала! У мамыши дни и ночи гулянки с мужиками... Доченька «фик-фок на правый бок», и сынок такой же отпетый. А ну оставь хорошего мальчика!

Я заметил, как побледнел парнишка. Он порылся в мусорном баке и залепил в лоб орущей тетке гнилым яблоком. Она закудаhtала и скрылась в окне, а парень повернулся на каблуках и, насвистывая, пошел со двора.

Я засмеялся и во что бы то ни стало решил с ним познакомиться.

Вечером к нам пришла соседка и долго и нехорошо ругала всю «эту семейку» и особенно «эту мамашу». Моя мама слушала, слушала, а потом как-то сморщилась и сказала:

— Ах, оставьте! Несчастливая, одинокая женщина. А что касается моего Сашки, то он великолепно мог постоять сам за себя. Мы с отцом никогда в эти дела не вмешиваемся.

Соседка обиделась.

— Интеллигентные люди! — сказала она и ушла.

— Эх ты! — сказала мама и шлепнула меня по затылку.

Ну что ж, может, она и права, только тут она не все поняла. Я-то ведь мог его вздуть.

На следующий день я сидел во дворе на скамейке и делал вид, что читаю. Кепочка из парадного сразу направилась ко мне. Вид у него был решительный.

— Т-тащи к-колесо, — сказал парень. Я удивился.

— В-велосип-педное, — пояснил он.

— Зачем?

— Тащи, г-говорю.

Я начал злиться: чего он командует? Но колесо притащил — мне было интересно. Парень забрал колесо и ушел со двора. А часа через два, когда мы обедали, раздался звонок. Я открыл. Парень протянул колесо: в нем сверкали новенькие спицы.

— Спасибо, — сказал я, — заходи.

— Вот еще! — сказал он. — Чего я у тебя... — Он осекся. В переднюю вышел батя в полном параде, со всеми своими орденами — он собирался на какой-то торжественный вечер.

Парень смотрел на него, открыв рот. Потом опомнился и сказал:

— Ты только не думай, чт-то я замандражил. Мне т-технику жалко. — И он побежал вниз по лестнице.

После этого он несколько дней проходил во дворе мимо меня, как мимо пустого места. К нему приходили какие-то ребята побольше его, и все в маленьких кепочках, а один даже в шляпе из «Великолепной семерки». Они о чем-то говорили, смеялись и уходили с ним, а, возвращаясь, он опять не смотрел на меня. А однажды вечером во двор, пошатываясь, вошла его мама, та красивая женщина с ярко-красными губами. Шелковая косынка была сбита набок, волосы растрепаны, она размахивала сумкой и что-то напевала. Потом она споткнулась о проволоку, огораживающую газон, и чуть не упала. Я стоял рядом и бросился ее поддержать.

— Славный мальчик, — сказала она и потрепала меня по щеке. Но тут откуда ни возьмись выскочил этот парень, оттолкнул меня и так посмотрел, что я срезу отошел в

сторону, а он повел ее домой, что-то сердито выговаривая. Через некоторое время он вышел и сказал, глядя мне в глаза:

— Т-ты вот ч-что... Если про нее (он так и сказал: «про нее») что-нибудь п-плохо п-подумаешь или с-скажешь — с-смотри!

Он заикался сильнее обычного, и мне почему-то стало его очень жалко и захотелось сказать ему что-то доброе — конечно, не как девчонки это говорят. Но пока я думал, что бы сказать ему такое мужское и доброе, он ушел.

Вскоре мы с ним все-таки познакомились по-настоящему, и получилось это совсем неожиданно для меня.

Я сидел у окна и поглядывал во двор. Вижу, из-за угла вылетает Кепочка и во весь опор мчится к парадной. Вид у него при этом ужасно злой и испуганный, как у нашкодившего щенка; я даже засмеялся: никогда не видел его таким. А за ним из-за угла выскакивает здоровый парень — я узнал его: это был тот самый в кубанке, который играл на гармошке. Парень этот чего-то орет и грозит кулаком. Кепочка юркнул в парадную, а я выскочил на площадку и крикнул:

— Эй, давай сюда!

Он влетел на наш третий этаж, сразу заскочил в квартиру, втянул меня и перед самым носом у разъяренного парня захлопнул дверь.

— А-а! Ч-т-то? Поймал? — заорал он, пританцовывая.

— Дурак ты, Юрка, — сердито сказал парень за дверью. — Я к тебе по-хорошему...

— И не лезь и не лезь! Все равно ни шиша не выйдет! — орал Юрка.

Парень помолчал, а потом сказал:

— Ну, Юрка, ну, выйди. Честное слово, мне с тобой поговорить надо.

Он сказал это так ласково и просительно, что я было сунулся к двери — открыть. Юрка зашипел, как гусь, и затолкал меня в кухню. Через некоторое время я увидел, как парень шел по двору, засунув руки в карманы, и спина у него была какая-то очень грустная.

Юрка стоял рядом со мной и, казалось, не был доволен своей победой. Наоборот, он помрачнел и, похоже, жалел этого парня.

— Ишь, хахаль, — пробурчал он, — и ходит, и ходит...

— А чего он хочет, Юрка? — спросил я.

— Замуж хочет, — мрачно сказал Юрка. Я засмеялся.

— Ну, жениться, — поправился он. — И ходит, и ходит, и липнет, и липнет...

— На ком жениться-тс?

— На ком! На ком! — яростно заорал Юрка. — На мамке! Не на мне же. Ну, я его и отшил сегодня. Незачем нам на нем жениться...

Я опять засмеялся. Понимал, что нельзя, а вот...

— Чего ржешь? В глаз захотел? Замуж... жениться — одна баланда. Незачем нам это.

— А почему, Юрка? Может, он... любит ее? Юрка аж зашелся.

— Люб-бовь — это сон упоительный... Да?... Лю-б-бви все возраст-ты... Да? Вначале любовь, а потом дет-т-ти пойдут... А за-ч-чем нам еще дет-ти? — опять заорал он. — Зачем? Ему побаловаться, а нам расхлебывать! Да? — И дальше он понес такое, что у меня уши завяли и тошно стало. Мне всегда становится тошно, когда я слышу такое. Не то, чтобы я ничего не поймал, а просто не могу я слышать, когда об этом говорят так, как будто в вонючей грязи тебя выкупали...

— Замолчи, — сказал я Юрке, — слышишь ты, замолчи! — И толкнул его так, что он брякнулся на табуретку. — Подонок, ты... подонок, — говорил я и еще что-то говорил, а потом, когда замолчал, посмотрел на Юрку. Он сидел на табуретке, открыв рот и уставившись на меня, но не то чтобы испуганно, а скорее удивленно и даже, как мне показалось, с уважением.

Потом мы довольно долго молчали и почему-то боялись взглянуть друг на друга. Наконец Юрка заговорил:

— П-понимаешь, не хочу я, чтобы она опять несчастная была. Н-ну, бросит он ее. Что тогда? Ты думаешь, она почему выпивает? А-а? Не знаешь? А я знаю... А он обязательно бросит. Ведь она старше его, Лешки этого...

— Ну, так что? Она... красивая, — сказал я.

— К-красивая, — горестно сказал Юрка. — Вот он и липнет. Ты не думай, — вдруг быстро зашептал он, — она ведь хорошая. Она такая хорошая! — Он даже зажмурился.

— Я и не думаю, — сказал я почему-то тоже шепотом.

Потом Юрка рассказывал мне о Лешке, и из его рассказов выходило, что Лешка этот тоже, в общем-то, хороший парень.

— Он, гад, мировой парень. Но, как подумаю... Что мне его, п-папой называть, что ли? — Юрка даже заскрипел зубами. — П-папа! Шиш ему, а не п-папа!

Потом мы опять молчали, но уже как-то по-хорошему, пока черт меня не дернул спросить у Юрки, где его отец. И тут-то он опять взвился.

— Опять в г-глаз захотел?! Ч-чего в душу лезешь? Ч-чего лезешь? — И ушел, хлопнув дверью.

А я еще долго сидел, думал о том, какая это сложная штука жизнь, и о любви думал, и еще о том, что взрослые нарочно все делают сложнее, чем на самом деле. А потом я подумал о Наташке и решил, что нет, действительно, все не так просто. И я еще долго думал о Наташке и о себе. Мне стало жарко, и я пошел в ванную и влез под холодный душ.

Юрка дня три не подходил ко мне, а потом подошел как ни в чем не бывало, и мы поехали с ним на футбол. Об отце я его больше не спрашивал, зато он много расспрашивал меня о моем бате. И я рассказывал ему, стараясь не очень хвастаться, и все равно хвастался, но Юрка не сердился...

...Познакомиться-то мы познакомились, но отношения у нас все равно были странные. То он не отходил от меня ни на шаг — даже иногда приходил встречать меня к школе после занятий, то неделями, а иногда и месяцами я его не видел, а если и встречал, то он буркнет что-нибудь и убежит. Жизнь у него, как я вскоре понял, была не очень-то легкой.

Отца у него вроде совсем не было, то есть был, конечно, но неизвестно где. А мать, то веселая и добрая, а то, наоборот, злая, издерганная — со всеми цапается и Юрку колотит чем попало. Была еще сестренка — стильная девчонка лет семнадцати, ее и дома-то почти не бывало; приходила с работы (работала она не то официанткой, не то еще кем-то — в общем, в столовой), а через полчаса тук-тук каблучками по двору — и за ворота, а там ее уже «мальчики с Невского» дожидаются. Я слышал, как Юрка иногда ругал ее по-разному и называл очень нехорошим словом, а она только смеялась. Звали ее Лелька, и мне она всегда почему-то улыбалась. И я ей тоже... улыбался. Она, в общем, ничего девчонка...

Сам Юрка говорил, что учится в школе юнг, но я не больно-то ему верил: просто непонятно было, когда он учится — иногда он пропадал где-то целыми днями, а иногда его можно было встретить во дворе в любое время, с утра и до вечера. А начнешь его толком спрашивать, он злится:

— Не т-твое с-собачье дело!

Ну я и перестал его спрашивать. Вообще-то я подозревал, что он занимался какими-то не совсем чистыми делами, но расспрашивать не расспрашивал.

И все-таки мы с ним, можно сказать, дружили. Не так, конечно, как девчонки: «Сю-сю-сю», «Ах, миленькая!», «Ах, хорошенькая!» — а без лишних слов, но я знал, что если дело дойдет до чего-нибудь серьезного, то он всегда поможет. Отругает меня, позлится, но наверняка поможет. И он тоже мог на меня надеяться: я бы его всегда выручил. И он это тоже знал. Может быть, поэтому мы почти никогда и не просили друг друга о помощи, а старались обходиться сами — я по крайней мере.

И еще мне почему-то было жалко его: вот хоть и боевой он и отчаянный, а живет как-то безалаберно, и получается так, что у него и дома-то вроде нет. Квартира есть, а дома нет. И мать он любил, и она его любила — это видно было, — а вот семьи, ну, такой, как у нас,

или у Ольги, или даже у Валечки, у Юрки нет. Может быть, это все из-за того, что отца у него не было?..

Вот какие отношения были у нас с Юркой Пантюхиным, или Пантюхой, как называли его дружки. Я так подробно рассказываю об этом потому, что вместе с ним нам пришлось хлебнуть много такого, что запомнится мне на всю жизнь.

Да, еще что я забыл сказать: Юрка здорово не любил девчонок, и, когда разговор заходил о них, он прямо трясся весь и заикался сильнее обычного. Он их не трогал, они сами просто шарахались от него, когда он шел по двору или по улице — руки в карманы и кепочка на самом носу. Единственно, кого он сам обходил стороной, была Ольга — ну да ясно: у нее батя милиционер.

...И вот Ольгин отец просил меня передать Юрке, чтобы он зашел в милицию. Не хотелось мне этого делать, но все же я пошел к нему. На звонок никто не ответил, я обрадовался отсрочке и отправился в школу, но по дороге передумал, сел в автобус и поехал к Ливанским узнать, как там Нюрочка.

3

Всю дорогу я думал, надо или не надо посылать телеграмму маме, но так ни до чего и не додумался. С одной стороны, надо: ведь мало ли что, а с другой... Мама так любит Нюрочку, что ужасно перепугается, а тут ничего страшного, может, и нет. И еще я думал о том, что мне попадет от тети Люки Ливанской за то, что я не в школе. Не то, чтобы я боялся, — Ливанские были очень добрые, веселые и очень любили нас всех: папу, маму, Нюрочку и меня, — просто было неприятно. Впрочем, вру: тетю Люку я вообще-то побаивался.

Тетя Люка такая... Она никому не прощает ни одной ошибки. Когда я был совсем маленький, папа, мама и я отдыхали вместе с Ливанскими в Крыму. Тетя Люка очень любила что-нибудь покупать на базаре. В тот раз она купила арбуз. Я этот арбуз запомнил на всю жизнь. Он был очень красивый — полосатый, как тигр, — и огромный. Она долго торговалась, а потом, когда наконец купила этот арбуз, положила его мне в руки и сказала:

— Неси, потом будешь лопать. Мама сказала:

— Не надо, не надо, он обязательно уронит.

Тетя Люка осмотрела меня с ног до головы, потом подумала, потом опять посмотрела на меня и сказала:

— Донесет. А если не донесет, то не сносить ему головы.

Я решил во что бы то ни стало донести этот арбуз до дому. Конечно, я его грохнул. И грохнул классически — об тумбу, торчавшую около каких-то ворот. Этот чертов арбуз раскололся на мелкие части — такой он был сочный, — и красные ошметки с черными семечками разлетелись по тротуару. Я заревел. Мама бросилась меня успокаивать, батя отошел в сторону и смотрел на нас, тетя Люка начала шипеть, как гусыня, а Кедр кричал:

— Не терзай ребенка, Люка)

Тетя Люка — я это очень хорошо запомнил — стояла над ошметками арбуза, качала головой и очень тихо говорила:

— Я купила такой арбуз! А этот... Я его очень дешево купила. А этот... Ах, какой он был!.. К черту! Саша, не плачь. Ах, какой был!..

Она этого никогда мне не простила. По любому поводу, когда нужно и не нужно, даже когда ей не хотелось, она вспоминала этот арбуз.

— Нет, что вы, что вы, — говорила она, — я ему однажды поручила элементарную вещь — донести арбуз...

— Боже мой! — говорил дядя Юра. — Люка, Люка, что ты мелешь какую-то ерунду? Ребенку было три или четыре года.

— В этом возрасте проявляются все задатки, — отвечала тетя Люка и пичкала меня вареньем, которое она называла витаминами.

Чего она только не говорила обо мне! И я ужасно все это переживал, но, между прочим, почему-то тянулся все время к этой взбалмошной тетке.

Но вообще-то ока замечательная, тетя Люка.

Я бы никогда не подумал, глядя на нее (она маленькая, толстенькая, совсем почти седая и в больших роговых очках), что она настоящий герой. А это ведь так. И даже орден у нее есть, и не какой-нибудь, а Боевого Красного Знамени.

Однажды на пляже я увидел на спине у тети Люки три или четыре большие синие полосы. Я спросил у бати, что это такое. Он сразу стал очень серьезным и уже было хотел рассказать, но мама сказала, чтобы он не травмировал ребенка.

— Незачем ему знать сейчас всякие ужасы, — сказала мама и поежилась, как будто ей стало холодно.

Папа пожал плечами и сказал:

— Вырастешь, Саша, узнаешь. Но ты имей в виду: наша тетя Люка — настоящий герой.

Я засмеялся: уж больно толстенькая тетя Люка не походила на героя. Батя слегка хлопнул меня по затылку и сказал, чтобы я никогда, ни-ког-да не смел смеяться над Лизой — так ее звали по-настоящему. Больше я не спрашивал, хотя мне очень хотелось знать, что же это за синие шрамы на спине у тети Люки.

И только года два назад, когда я не сдержался и начал издеваться над тетей Люкой, расписывая папе, какая она взбалмошная и смешная (она меня ужасно разозлила, прочитав очередную и, как я считал, несправедливую нотацію), батя рассказал мне всю ее историю, и с тех пор я никогда не смеюсь над ней. И захочу иногда, а вспомню все, что мне рассказывал батя, и уже не могу смеяться, даже когда она и в самом деле бывает очень смешной.

Оказывается, Лизонька, как ее тогда звали, почти в самом начале войны добилась, чтобы ее взяли в партизанский отряд. Она была тогда совсем молодой — такой, как Зоя Космодемьянская. Она участвовала в боевых операциях, а потом ее послали в Минск, и там она торговала дамскими шляпами, а на самом деле была партизанской связной. Но какой-то гад выдал ее, и ее арестовало гестапо. И синие, страшные рубцы у нее на спине потому, что ее там били...

— И еще: после того, как она побывала в гестапо, она уже никогда не могла иметь детей — так ее били, — тихо сказал папа и, помолчав, добавил: — Между прочим, наверно, поэтому она так тебя любит.

До конца войны она была в лагере смерти. А с дядей Юрой они были знакомы еще до войны и уже тогда любили друг друга. В действующую армию дядю Юру не взяли из-за зрения и еще каких-то болезней, но он добился того, что стал военным корреспондентом на Балтике, а это было ничуть не хуже передовой. Между прочим, на Балтике дядя Юра и познакомился с папой, который командовал вначале эсминцем, а потом батальоном морской пехоты.

Всю войну Лизонька и Юрий ничего не знали друг о друге, но верили и надеялись, что обязательно встретятся. И вот встретились — оба больные и израненные, — и сразу поженились, и очень заботились друг о друге.

— Вот это любовь! — сказал батя и почему-то вздохнул.

Они приехали в Ленинград и стали жить и поживать. Дядя Юра опять начал писать стихи, тетя Люка критиковала его за то, что он стал писать почти все стихи про любовь, как будто нет других важных тем...

— Вот это любовь! — опять сказал папа и опять вздохнул. — А ты еще над ней смеешься, сморчок ты.

И я действительно почувствовал себя сморчком. ...И вот сейчас я ехал к ним проведать Нюрочку.

— Это еще что за явление? — сказала тетя Люка, открыв мне дверь. — Тебя только тут и не хватало!

«Как Нюрочка?» — хотел спросить я, но у меня в горле вдруг как будто застряло что-то, и я только пискнул: «К-и-ик...» — а больше ничего не мог сказать.

— Что «кик», что «кик»?! — сердито сказала тетя Люка. — Почему ты не в школе?

Я что-то забормотал.

— Марш в школу! — сказала она и, когда я повернулся, чтобы уйти, втянула меня за рукав в переднюю и захлопнула дверь. Из комнаты высунулся дядя Юра.

— А-а... Саня! — сказал он. — А папа уже ушел на работу. Нюрочке легче. А ты почему не в школе? Мне кажется, что у наших довольно сильные шансы на победу в Токио, а ты как считаешь?

— Плавание у нас слабовато, — сказал я.

— Ну что ты, что ты! — Дядя Юра замахал на меня рукой. — У нас сейчас даже мировые рекордсмены есть.

— Мало еще очень, — сказал я.

— Ты зачем пришел? — закричала тетя Люка. — Ты зачем прогулял школу? Чтобы навестить Нюрочку или обсуждать физкультуру? Иди сюда!

Нюрочка лежала на большой тахте, вся обложенная подушками, так что ее почти не было видно; волосы разметались по большой белой подушке, а личико такое маленькое, бледненькое... На стуле около тахты стояла чашка, прикрытая салфеткой, на блюде лежали очищенные дольки апельсина, а рядом восседал любимый Нюрочкин Буратино, нацелив на нее свой длинный нос.

— Саша пришел, — тихонько сказала Нюрочка и улыбнулась. Она выпростала из-под одеяла руку и помахала мне. Тетя Люка как-то странно хлопнула носом.

— Ты только не очень утомляй ее, — сказала она строго и вышла из комнаты.

Я присел около Нюрочки на тахту, и она взяла меня за руку, а у меня сразу запершило в горле, и я отвернулся. Я, конечно, всегда любил ее, но, когда она была дома, как-то мало замечал: так, повоозишься с ней иногда от нечего делать, а если сказать по правде, так она мне часто даже надоедала: она хоть и маленькая, а очень любопытная и бедовая. Нюрочка всюду совала свой нос и ужасно любила мне помогать. За что я ни возьмусь, она тут как тут: уроки ли делаю, или мастерю что-нибудь, или марки разбираю, или посуду мою, она обязательно хочет мне помогать. Помощи от нее ни на грош — больше мешает, а отвязаться трудно, тем более что и мама и папа на ее стороне. Правильно, конечно, нельзя на ребенка злиться, но мне не всегда это удавалось — иногда и подшлепнешь ее слегка. Особенно она мешала, когда ко мне ребята приходили. Вот уж тут-то от нее и совсем не избавишься: лезет ко мне на руки и требует, чтобы все занимались только ее особой. Ребятам она, правда, нравится. Ольга, например, с ней часами может играть в куклы, хотя больше любит гонять с ребятами во дворе. И вот сейчас сижу я с ней, она меня держит за руку и что-то лопочет, а я ругаю себя за то, что плохо к ней относился, и даю себе слово, *когда* она поправится, относиться к ней гораздо лучше.

— Что ж ты болеешь? — спрашиваю я.

— Я уже сегодня совсем немножко болею, — говорит Нюрочка, — вчера я очень сильно болела, а сегодня совсем чуточку. А когда мама приедет?

Вот уж этого я совсем не знаю. Чего-то они там в этом году очень долго по гастролям разъезжают, и неизвестно, когда приедут, то есть, конечно, известно, но я не знаю, а папа на эту тему говорит не очень охотно. Я раза два спросил, а он мне оба раза ответил:

— Своевременно или несколько позже. И я перестал спрашивать.

— Скоро, скоро, — говорю я, — скоро мама приедет.

И вспоминаю нашу любимую с Нюрочкой песенку:

Скоро праздник — воскресенье:

Мать лепешек напечет.

И помажет, и покажет,

И обратно унесет.

Мы три раза спели эту песенку, и тут вошла тетя Люка.

— Это что еще за художественная самодеятельность! — сказала она. — Хватит, хватит. Она устала. Придешь завтра. Только после школы, а сейчас пойдем, я тебя накормлю.

— Я уже завтракал, спасибо, — сказал я.

— Знаю я, как ты там один завтракал, — рассердилась тетя Люка. — Знаю я эти сибирские пельмени и болгарские голубцы. Идем.

Между прочим, пельмени и голубцы не так уж плохо — мы всегда с батей питаемся ими, когда остаемся одни. Очень вкусно, а главное, никакой возни. Но сегодня-то я завтракал у Ольги. Я сказал об этом тете Люке.

— У этой мальчишки в юбке? — спросила тетя Люка. — А как ты там оказался?

Я рассказал.

— Хм-м, — сказала тетя Люка. — Какао ты все-таки выпьешь.

Спорить было бесполезно. Я поцеловал Нюрочку и пошел за тетей Люкой. За какао мы еще поговорили с дядей Юрой о предстоящей олимпиаде, а тетя Люка все время ворчала: «Как эти два безалаберных мужика I — это она имела в виду нас с батей — живут там одни: голодные, холодные, грязные, они же совсем запаршиветь могут. Не понимаю я Веру: у нее семья, и давно надо было бросить этот паршивый театр, эти театры вообще до добра не доведут». Я разговаривал с дядей Юрой и прислушивался к воркотне тети Люки, посмеиваясь про себя. Но вдруг что-то в воркотне ее меня зацепило. Я даже не понял, что именно, но что-то как будто царапнуло меня, и я перестал слушать прогнозы дяди Юры насчет победы наших боксеров на будущей олимпиаде и начал вспоминать, о чем ворчала тетя Люка, разматывать ее воркотню в обратном порядке. И дошел до одной фразы, которая показалась мне странной. Я не помню эту фразу полностью, помню только, что тетя Люка сказала: «Так ему и надо» — и еще упомянула Долинского. Я уже не слышал, что она говорила дальше, и думал: «При чем тут Долинский?»

— Что Долинский? — неожиданно для себя спросил я.

— Что Долинский? — быстро переспросила тетя Люка. — Разве я что-нибудь сказала о... Долинском?

— Идиотская привычка думать вслух, — вдруг закричал дядя Юра, — да еще черт знает о чем! Не обращай внимания, Саша. Все это бабья болтовня. — Он вскочил и начал бегать по комнате, дергая себя за усы.

— Что ты, Юра, — растерянно сказала тетя Люка, — я ведь ничего не хотела...

— Не хотела, не хотела! — кричал дядя Юра. — Она не хотела! Понимаете, не хотела она!

Я ничего не понимал. Я никогда не видел дядю Юру таким — он никогда не кричал на свою тетю Люку, а тут вдруг разбушевался. И ее я никогда не видел такой растерянной и даже испуганной. И все это вызвал лишь один мой вопрос о Долинском. А может, она и не называла его вовсе, — мне только послышалось, — а я возьми и брякни что-то не так: со мной это бывает. Я начал их успокаивать:

— Ну что вы, ведь я просто так спросил. Тетя Люка сразу успокоилась.

Я попрощался и ушел, ничего не понимая. Уже на улице я вспомнил, что так и не спросил, чем же больна Нюрочка, и хотел было идти обратно, чтобы спросить, но потом решил, что не стоит: с Нюрочкой вроде бы все в порядке, а там сейчас, наверно, дым коромыслом: дядя Юра и тетя Люка воспитывают друг друга.

Я шел и посвистывал, но что-то все время скреблось у меня внутри: кому это «так и надо» и при чем здесь все-таки Долинский? Я начал вспоминать Долинского. Он работал с мамой в театре и часто бывал у нас. «Очень, невероятно, безумно талантлив, но несчастлив», — говорили о нем все наши знакомые. Почему он несчастлив, я не знаю. Артист он, по моему, действительно очень хороший. Я, правда, не очень разбираюсь еще, но я видел его как-то в «Снежной королеве» — он там играл сказочника — «снип-снап кнурре, спурре-

базельорре», — мне очень понравилось. И еще я видел «Пятую колонну» — на этот спектакль меня не пускали: «детям до шестнадцати» и так далее, сами понимаете, — но меня потихоньку пропустила тетя Паша — театральная вахтерша; я забрался на самую верхотуру и там посмотрел весь спектакль. Долинский играл американца-журналиста, а мама — его невесту..., не невесту, а возлюбленную... играл он очень здорово, особенно когда он разговаривает с Доротти — это та женщина, которую играла мама. Я не все понял в этой пьесе, но играли они очень хорошо, так что иногда даже плакать хотелось.

Но вообще Долинский всегда веселый и очень интересно рассказывает о всяких случаях из своей жизни, а их у него, как говорится, «вагон и маленькая тележка». Говорили, правда, что он много пьет, но у нас он никогда пьяным не был. Один раз я его встретил как-то на набережной, и, по-моему, тогда он был здорово пьяный. Он взял меня под руку, и мы долго ходили с ним по Неве, и он рассказывал мне о том, как воевал, и о том, какая моя мама хорошая артистка и хороший человек, и какой замечательный у меня батя. Мне это было приятно, но я ведь и сам знаю это.

Больше я его пьяным не видал. К нам он всегда приходил веселый и спокойный. Зимой всегда еще в передней кричал:

— Есть в этом доме чай для старого бродяги? Хорошо бы чайку с морозцу!

И мама сразу убежала готовить чай — для Долинского она как-то по-особенному заваривала его; мы с папой к чаю довольно равнодушны — папа больше любит черный кофе с лимоном, а мне все равно, что пить, лишь бы не молоко.

Пока мама готовила чай, Долинский с батей играли в шахматы. Долинский играл неважно и почти всегда проигрывал. Но не огорчался и не стонал, как дядя Юра, а смешно подшучивал над собой. «Такой уж я несчастный уродился: и в игре не везет и в любви не везет», — говорил он и забавно поглядывал на маму. Мама смущалась, а папа смеялся и зашкуривал свою трубку. А потом мы садились пить чай, и он начинал что-нибудь рассказывать, и всегда так интересно, что, когда меня гнали спать, я ужасно возмущался, и, если это случалось на самом интересном месте, Долинский говорил, что он мне потом доскажет. И, между прочим, всегда досказывал: на следующий день или позже, но обязательно доскажет: А иногда он брал гитару и пел один или с мамой.

Я очень любил, когда он пел старинные русские романсы, и особенно этот: «Нет, не тебя так пылко я люблю». Все сидели задумавшись, и у бати гасла трубка, но он не замечал этого. А потом Долинский вдруг резко ударял по струнам и начинал петь что-нибудь вроде «Приятели, смелей разворачивай парус» из картины «Остров сокровищ» или одесскую «На Молдаванке музыка играет», но глаза у него оставались грустными.

Долинского я помню очень давно, пожалуй, с тех пор, как вообще начал себя помнить. И мне он нравится, и называю я его с самого детства так, как называет его мама: просто Долинский, но на «вы». А батя говорил маме:

— Понимаешь, не могу я его как-то на «ты» называть: не получается. Вот с Ливанским мы как только познакомились, так сразу на «ты» перешли и даже не заметили оба. Или Федор, например, он ведь намного старше меня и начальник мой к тому же, а я его совершенно уверенно «тыкаю», и хоть бы что. А вот с Долинским не выходит.

— Просто ты его не любишь, — спокойно говорила мама. — Уважаешь, но не любишь.

— С чего ты взяла? — возмущался батя.

— Я знаю, — говорила мама, и тут разговор на эту тему заканчивался, только батя про себя ворчал что-то насчет женской логики.

Вот сейчас я вспоминаю о Долинском и думаю, что мама, кажется, была права. Батя все время будто приглядывался к Долинскому и чересчур внимательно его всегда слушал. А, по-моему, к людям, которых любишь, нечего приглядываться: ведь их знаешь, или по крайней мере тебе кажется, что ты их знаешь наизусть.

Но мне-то Долинский нравился, и я никак не мог понять, почему меня будто цапнуло, когда тетя Люка упомянула его имя, и почему дядя Юра раскричался на нее.

Ломал я себе голову, ломал, а потом, так ни до чего и не додумавшись, плюнул. Что, в самом деле: мало ли о чем болтают взрослые — не все же понимать надо. И так я последнее время что-то чересчур много стал понимать. И я пошел к Пантюхе — надо же ему все-таки сказать, что его вызывают в милицию. Лучше бы я не ходил!

4

Не знаю, стоит ли рассказывать об этом, но, наверно, надо. Раз уж я решил рассказать о всей своей жизни, значит, и об этом надо рассказать.

Когда я позвонил в пантюхинскую квартиру, за дверью раздался Лелькин голос.

— Кто там? — спросила она.

Я ответил и сказал, что мне обязательно и срочно надо видеть Юрку. Дверь приоткрылась, и показалась Лелькина голова в пестрой косыночке.

— А, это ты, Лариончик! — сказала Лелька и начала улыбаться; она всегда начинает улыбаться, когда видит меня. Вначале увидит, кивнет головой, а потом начинает улыбаться, сперва немножко, а потом все больше и больше — ну прямо рот до ушей. Можно подумать, что она просто до смерти рада меня видеть. А может, я такой смешной, что у нее при виде меня рот расплзается до ушей? Не знаю, что она там думает, а только улыбается — и все. И самое глупое — что я тоже, увидев ее улыбку, сам начинаю улыбаться, прямо расплываюсь весь... Вообще-то улыбка у нее хорошая: веселая и немножко хитрая, а зубы белые, один к одному. Но мне-то от этого не легче: я-то чувствую, что сам улыбаюсь по-идиотски, чувствую, а ничего поделать не могу...

Вот высунулась она в дверь и улыбается, а я стою и тоже улыбаюсь. И так мы стоим довольно долго, и я чувствую, что у меня уже горят уши и болят щеки от этой дурацкой улыбки. Тогда она говорит:

— Ой, чего это я? Юрик скоро придет: я его в магазин послала за нашатырным спиртом — окна мыть. А ты заходи, Лариончик, подожди. У меня тут уборка, но ты не стесняйся, — говорит она и широко открывает дверь.

Я не хотел идти, но потом подумал, что делать мне все равно нечего, а Юрку обязательно надо увидеть, и еще мне вдруг захотелось спросить Лельку, чего это она всегда улыбается, когда на меня смотрит. И вот я вхожу. Из кухни в переднюю падает широкая и яркая солнечная полоса, и видно, как пляшут пылинки. И в этой полосе стоит Лелька в платочке, в майке и в черных в обтяжечку трусиках, а больше на ней ничего нет. Я, наверно, вытаращил глаза, потому что Лелька засмеялась и сказала:

— Ну чего ты испугался? Что, я страшная такая? Я уж было подумал, что надо повернуться и уйти, но тут же решил, что это будет невежливо, и потом я же не видел через дверь, что она чуть не голая: она ведь только голову высунула, — и если она не стесняется, то чего же я буду стесняться? Я нахально иду на кухню, а самому мне делается ужасно жарко. Лелька смеется мне в спину и говорит:

— Ну, если ты такой пугливый, посиди на кухне, а я буду в комнате убирать.

Я встал у окна и уставился в него, как баран, а Лелька взяла ведро и тряпку и ушла в комнату. Я слышал, как она там шлепает мокрой тряпкой и поет всякие стильные песенки, и злился на себя: в самом деле, что я, девчонок в трусиках не видел, что ли? Видел сколько угодно и на пляже и на физкультуре, и... ничего особенного. И вообще, что тут особенного? Ничего особенного нет... Может быть, на меня это так подействовало потому, что я никогда не видел девчонок в трусиках дома? Да нет, чепуха! Что они, в квартире какие-то другие, что ли? Но вообще в этом деле есть какая-то странная петрушка. Вот на пляже или в парке на травке всякие толстые тетki и даже красивые женщины и молодые девчонки раздеваются при всех — чулки снимают с резинками, комбинашки, — и хоть бы что, как будто так и надо, а попробуйте в комнату зайти, когда там женщина переодевается, — такой визг поднимется! Я однажды на даче влетел в комнату к Ливанским, когда тетя Люка переодевалась, и увидел ее в рубашке, так она потом три дня успокоиться не могла и,

конечно, вспомнила про арбуз. А, между прочим, за час до этого мы были на пляже, и там она при мне, при бате и еще при каких-то знакомых и незнакомых великолепно передевалась — и ничего, не визжала.

Так я стоял и думал, уставившись в окно, слушал, как Лелька поет и шлепает тряпкой, а сам так и видел ее: как она стояла там, в передней, в полосе света. И я подумал, что это все-таки очень красиво: вот такая стройная девчонка в солнечном свете. Вообще, хорошая фигура и у женщины и у мужчины — это ведь в самом деле очень красиво. Раньше я этого не понимал, а вот два года назад произошел случай, из-за которого я и сейчас краснею, когда вспоминаю, какой я был недоразвитый дурак. Краснею и радуюсь, потому что, если бы не тот случай, я бы, может, так дураком и остался.

...У мамы есть много репродукций с картин разных известных художников — итальянских, русских, французских и других. Я еще маленьким любил их рассматривать и всегда расспрашивал у мамы, что какая картина означает, — не то, что там нарисовано, — это я и сам видел, а про что в ней рассказывается. И всегда мама очень интересно объясняла. И было там много картин, где нарисованы или не совсем, или совсем голые — «обнаженные», как говорила мама, — женщины. Я эти картины не очень любил смотреть — не знаю уж, почему: не то что стеснялся, а просто неинтересно было. Но вот как-то года два назад — мне еще двенадцати не было — я увидел в уборной на проспекте Горького дурацкий рисунок на стенке. Есть такие дурацкие «художники» — малюют на стенках всякую... всякое... Я и раньше иногда видел такие картинки, но мне было на них наплевать. А тут эта картинка так втемяшилась в голову, что я весь день только о ней и думал. Плевался, а все-таки думал...

И вот вечером черт дернул меня взять у мамы ее репродукции... Рассматривал я их, рассматривал, а потом взял одну картину и испакостил... Не очень, правда, испакостил, но, в общем, поступил, как самый настоящий недоразвитый осел. Там была нарисована лежащая обнаженная женщина — я не помню сейчас художника, но картина была эчень хорошая, — а я взял ее и испакостил: взял карандаш и зачернил... одно место. Черт меня знает, зачем я это сделал? Говорю, осел был... Осел-то осел, а испугался и поскорее эту картину спрятал, да спрятал, как потом оказалось, по-глупому...

А дня через два у мамы был выходной, и, когда я пришел из школы, она мне сказала:

— Переодевайся, пойдем в Эрмитаж: надо тебя приобщать к культуре, а то ты совсем дикий растешь.

В Эрмитаже мама водила меня по всем залам, но останавливалась только у некоторых картин, и почему-то чаще всего у тех, где были нарисованы обнаженные люди. Вначале ничего не говорила, иногда только вздыхала как-то по-особенному — радостно, что ли, как будто встретила с хорошим другом, — а потом объясняла мне, что в какой картине главное, и почему это красиво, и как правильно смотреть. И я смотрел во все глаза и, кажется, начинал кое-что понимать, и самое главное, что я начинал понимать, каким я был ослом еще два дня назад.

Мы остановились у картины знаменитого голландского художника Рембрандта. Она называется «Даная», там нарисована лежащая под балдахином женщина. Она лежит на боку и протягивает руку вбок и вверх, как будто ловит что-то. А откуда-то сверху и сзади просвечивает солнечный луч... Эта Даная, по-моему, не очень красивая, но нарисована она так, что кажется совершенно живой и даже теплой. Когда мы рассматривали эту картину, сзади кто-то вздохнул громко и протяжно. Я обернулся. За нами стоял здоровый дядька в украинской рубашке и брюках, заправленных в сапоги. У него были маленькие черные глазки и большие седоватые усы, как у одного из запорожцев на картине Репина.

— Цэ женщина! — сказал дядька и опять вздохнул. — Необыкновенной силы женщина!

Мама улыбнулась так приветливо и спросила:

— Правда? Вам нравится?

— А то нет! — сказал дядька. Он даже зажмурился и покачал головой. — А скажи, доченька, что это она? Так нежится или какое видение у нее? Уж больно она светится вся..

— Вы правильно поняли, — обрадовалась мама и начала рассказывать про Данаю. Была, значит, такая древнегреческая легенда о том, как самый главный греческий бог Зевс полюбил дочь одного, тоже греческого, царя, но так как богу неудобно было запросто встречаться с простыми смертными, то он спустился к Данае в виде золотого дождя. Многие художники так и рисовали: Даная, а к ней сверху сыплется дождь из золотых монет. Но Рембрандт решил, что монеты — это грубо, и вместо золота нарисовал луч — он ведь тоже золотой по цвету.

— Правильно, — сказал дядька, — при чем тут деньги, колы тут любовь? Ай, умные ции греки!

— Рембрандт — голландец, — сказала мама, — но, в общем, вы правы.

— А зачем он спустился к ней? — спросил я.

— Тю, малый, — засмеялся дядька, — хйба ж не понимаешь?

Мама чуть-чуть покраснела и быстро сказала:

— Ну, зачем, ну, зачем?.. Ведь он любит ее, ну, вот и... пришел.

— Конечно. На свиданку, — подтвердил дядька. — А у них дети были? — Он показал на картину.

— У них родился сын Персей, который стал потом героем и совершил много подвигов... — сказала мама.

— А он, художник этот, — ие унимался дядька, —

из головы рисовал или срисовывал с кого? Уж больно у него здорово все похоже. Вон, смотри — все... как настоящее...

Мама засмеялась, и я тоже фыркнул. Тогда мама сердито посмотрела на меня и сказала, что я дурачок. Но, честное слово, я засмеялся совсем не потому, что подумал что-нибудь такое. Просто мне нравился этот забавный дядька и то, как он по-хорошему говорил об этом.

Дядька не смеялся, но глаза у него были веселые и хитрущие, а когда мама рассказала, что Рембрандт рисовал Данаю со своей жены, он совсем обрадовался.

— Ишь ты! — сказал он с уважением. — Не побоялся, значит, свою супругу выставить. Ну и правильно: раз красиво, чего стесняться? Красоты стыдиться нечего. Она — как... жизнь, красота: она чистая, значит, прятать ее нечего. Вот, скажем, беременная баба многим не нравится. Так то дурни и ни беа не понимают. А я кажу: в беременной женщине самая высокая красота есть... Так я понимаю?

— Очень правильно вы говорите! — сказала мама. — И вы, по-моему, очень хороший человек... — Мама даже растрогалась.

— Хороший-то хороший, — засмеялся дядька, и глаза у него опять стали хитрющие, — только свою старуху я в голом виде не выставил бы. Ей-богу, не выставил...

И мы все стали смеяться так громко и весело, что на нас стали оборачиваться, а какой-то длинный тип в пенсне возмущенно зашипел что-то насчет бескультурья. Мама взяла под руку меня и дядьку и быстро повела в другой зал.

— Пойдемте с нами, — сказала мама, — я вам еще кое-что покажу.

— Ой, спасибо, доченька, — сказал дядька, — а то я тут среди красоты этой, как в темном лесу: может, и смотрю не то, что надо, а смотрю и смотрю, аж голова кружится и дух захватывает: вот ведь что люди умеют!

Мы еще долго ходили по Эрмитажу, и мама все рассказывала и показывала, а дядька охал и даже стонал, а я хоть и устал, но слушал в оба уха, и мне казалось, что я уже понял что-то такое, что в жизни если не самое главное, то уж наверняка одно из самых главных. А под конец мама повела нас на самый верх — там выставлены французские художники нового времени. То ли я действительно очень устал, то ли не все понимал, но мне там мало что понравилось. Но вот мама остановилась около одной скульптуры. Дядька тот, как только подошел, схватился за свой запорожский ус и застыл, а я вначале почти и внимания не

обратил на эту скульптуру, а потом, когда присмотрелся, мне захотелось на нее смотреть долго-долго, не отрываясь, чтобы запомнить хорошенько — так это было красиво. Небольшая такая скульптура: юноша сидит, а перед ним на коленях стоит девушка, он склонился к ней, обнимает одной рукой и целует. Лиц их совсем не видно — они как будто слились, и вообще вся скульптура будто бы немного смазана — ничего не отделано до конца, а только вроде бы намечено, и все-таки ты видишь каждый отдельный пальчик, и даже жилки на теле — и те как будто видны, и белый-белый мрамор кажется розоватым и нежным, как живая человеческая кожа. И это так здорово, что у меня даже сердце защемило...

— Это называется «Вечная весна», — тихо сказала мама.

Я посмотрел на дядьку, и мне показалось, что у него на глазах слезы, но он ничего не говорил и потом, когда мы уже шли к выходу, всю дорогу молчал. И только когда мы простились, он задумчиво сказал:

— Вот ведь какая штука. Старый я байбак, все в жизни повидал и попробовал — и хорошего и дерьма разного, и уж думал, ничем меня, лысого черта, не удивишь и никак уже не переделаешь. А вот увидел такую красоту — и вроде чище стал, потому что понял, какие мы, люди, на самом деле красивые. Спасибо тебе, дочка. А ты, хлопчик, гляди, примечай да понимай, что к чему.

И ушел. А мы так и не спросили, кто он такой и откуда. Ну, да это, наверно, и неважно.

«Что к чему», — сказал он, и я вспомнил, что так говорит дядя Юра, и мне показалось, что они, дядя Юра и этот дядька, чем-то похожи друг на друга, но чем, так и не мог сообразить.

Домой мы пришли усталые, и мама сразу полезла в ванную принять душ. А я только прилег на свой диванчик, как меня позвал батя.

— Ну, как? Понравилась ценность мировой культуры? — спросил он, и я только кивнул головой в ответ — говорить у меня не было сил, да, честно говоря, и охоты: что-то меня переполняло, а говорить об этом не хотелось. И вот тут-то и случилось самое страшное. Батя полез в ящик стола и достал оттуда ту самую репродукцию, которую я два дня назад испакостил.

— На, порви на мелкие куски и сожги, чтобы она тебе ни о чем не напоминала, — сказал батя, а потом добавил: — Впрочем, если хочешь, можешь повесить ее на стенку.

Ну, что мне было делать? Я и так презирал себя, как последнего подонка... Я стоял перед ним и рвал на мелкие клочки эту чертову картину и только сумел спросить:

— А мама знает? — И подумал, что если и мама знает, то я убегу из дому.

— Стану я еще маме всякие гадости показывать, — сказал батя, шлепнул меня по затылку и вытолкнул из комнаты. — Ставь чайник и накрывай на стол — будем ужинать.

— Правда, мама не знает? — опять спросил я.

— С каких это пор ты мне не веришь? — сказал папа очень холодно, и мне стало еще стыдней. Я пошел ставить чайник и накрывать на стол, а сам не знал, куда мне деваться. Пить чай я не стал, сказал, что устал и хочу спать. Батя подмигнул мне и спросил, не нужно ли снотворного.

— Я же сказал, что сам хочу спать, — разозлился я. А чего было злиться? Это я, наверно, на себя злился.

Когда я уже лег, зашел батя. Света он не зажигал и так, в темноте, подошел к моему диванчику.

— Слушай, Санька, я в самом деле ничего не говорил маме, — шепотом сказал он. — Я ей только сказал, чтобы она сводила тебя в Эрмитаж: надо же тебя, охламона, эстетически воспитывать. Спи.

Он растрепал мне волосы и ушел, а я еще долго ворочался и прислушивался к голосам, доносившимся из кухни. Голоса были веселые, батя часто смеялся, а один раз я

слышал, как он закричал: «Ну, дядька, ай, дядька!» — и понял, что мама рассказывает ему про нашего забавного спутника. Я немножко успокоился и вскоре все-таки заснул...

...Вот какой случай произошел два года назад. С тех пор я уже всерьез начал думать, что понимаю многое совершенно правильно и разбираюсь, что к чему. И все было хорошо до того самого момента, как я уставился в это окно на пантюхиной кухне. Я стоял и смотрел в окно, и ничего там не видел, и вспоминал про Эрмитаж, и думал: а что, собственно, я волнуюсь? Что такое произошло? И я начал уже успокаиваться, думая о том, какой я все-таки еще дурак, как вдруг меня будто что-то толкнуло. Я подумал: может быть, на меня подействовал Лелькин вид не потому, что я никогда не видел девчонок в трусиках именно в квартире, а потому, что мы одни в этой квартире? Вот в чем дело: одни... И как только я подумал об этом, меня сразу опять бросило в жар. Я ругал себя последними словами, но ничего не мог поделать — в висках так и стучало: одни, одни, одни... И ноги будто приросли к полу: чувствую, что надо уйти, и не могу... не хочу, хоть ты лопни. И тут входит Лелька, я слышу, как она возится около крана, и боюсь повернуться, а она вдруг так ласково говорит:

— Лариончик, ты чего в окно уставился? Там интересное что-нибудь? — И ехидно смеется.

Я быстро поворачиваюсь, надеюсь, что она хоть юбку или халат надела. Ничего подобного: стоит себе в трусиках, подбоченилась и спрашивает:

— Лариончик, хорошая у меня фигурка?

— Ничего... — говорю я и проглатываю слюну, а сам думаю: черт бы тебя побрал с твоей фигуркой! А фигурка у нее в самом деле отличная — тоненькая, стройненькая, но не такая, как у Наташки или Ольги, а как у той девушки из «Вечной весны».

— Правда, ничего? — спрашивает Лелька и вдруг краснеет — уж очень я, наверно, разглазился на ее ноги. Засмеялась и убежала, а я продолжаю стоять, как обормот, и уши у меня горят, как будто их перцем натерли. Так я стою и думаю: «Уж скорее бы Юрка пришел в самом деле!» — хотя прекрасно понимаю, что мог бы подождать его во дворе, выйти сейчас во двор и там подождать — и вся игра, как говорит Юрка. Понимаю, а стою, как будто приклеился задом к подоконнику, и никак мне не оторваться, и сердце колотится, как проклятое, прямо как мотоциклетный мотор стучит. А тут опять входит Лелька. Слава тебе господи, в юбке, кофточке и без косынки и даже причесаться успела как-то выкрутасисто. Подошла ко мне близко-близко и улыбается своей чертовой улыбочкой, и я уже начинаю чувствовать, что и сам расплываюсь и сияю, как медный самовар. Прямо гипноз какой-то! А она подходит еще ближе — так, что даже чуть-чуть касается меня своей грудью, и я совсем не знаю, куда мне деваться, и отодвинуться не могу — подоконник не пускает, а если честно говорить, то и не хочу вовсе отодвигаться.

— Что ты такой красный? — тихонько спрашивает Лелька и усмехается.

— Ж-жарко... — выдавливаю я и стараюсь хоть немножечко отодвинуться, чтобы только не чувствовать ее грудь, — прямо вмялся в подоконник, но она придвигается еще ближе.

— А ты хорошенький, Лариончик, — говорит Лелька, и вдруг совсем близко я вижу ее глаза — голубые-голубые, с большущими мохнатыми ресницами.

— Вот ещ-щ-е... — хриплю я.

Ненавижу, когда меня называют хорошеньким, — что я, девчонка, что ли?..

— А ты целоваться умеешь? — шепотом спрашивает Лелька, и я ничего не успеваю ответить, как она обхватывает меня за шею и крепко-крепко, так, что я чуть не задохнулся, целует прямо в губы...

Потом глянула в окно, ойкнула, схватила меня за руку и потащила в переднюю, и там мы еще четыре, нет, пять... нет, кажется, все-таки четыре раза поцеловались. Я ничего не соображал, и в голове у меня клубился какой-то туман, но все-таки я первый услышал, как в двери поворачивался ключ, и отскочил от Лельки. Пришел Пантюха. И вот теперь, когда он

наконец появился, я подумал: чего это он так поторопился, не мог еще хотя бы полчаса по магазинам походить...

— Здорово, — сказал Юрка. — На тебе твой наштапырь. А ч-чего это вы т-такие красивые?

Лелька фыркнула и не спеша, какой-то дрыгающей походочкой ушла в комнату, а я сразу стал шептать Юрке на ухо, что старшина, Ольгин отец, велел ему сегодня к двенадцати ноль-ноль прийти к нему в милицию. Юрка сразу забыл про то, что мы с Лелькой были красивые.

— Вот, ч-черт, — сказал он мрачно, — опять, наверно, Наконечник влип.

— Какой Наконечник? — спросил я.

— Ладно, — сказал Юрка. — Пошли! Эй, Лелька! — крикнул он. — Я пошел!

Из комнаты донеслось Лелькино пение.

— Какой Наконечник? — опять спросил я, когда мы вышли во двор...

— Много будешь знать, скоро состаришься, — сказал Юрка, и до самой милиции мы шли молча, а когда уже подходили, он вдруг спросил: — Ц-целовались?

Я даже остановился на всем ходу. Я шел и переживал все, что случилось, и состояние у меня было почему-то немного приподнятое, а тут он — как холодной водой облил...

— С к-кем? — заикаясь, спросил я.

— С к-кем! — передразнил Пантюха. — С Лелькой. И когда я было постарался принять возмущенный вид, он сердито сказал:

— Не ври! Насквозь вижу!

И я молча кивнул. Прямо беда какая-то: не умею я врать, хоть ты лопни.

— Сколько? — спросил Пантюха.

— Что сколько?

— С-сколько раз целовались?

Я разозлился: какое это имеет значение? Целовались, и все! И я все-таки решил соврать.

— Три, — сказал я.

— Врешь! — сказал Пантюха.

— Пять... — уныло сказал я.

— Н-ну, я ей п-покажу! А т-ты тоже хорош: нашел занятие — с девчонками целоваться.

бот чудак, что же мне, с мальчишками целоваться, что ли? Я, конечно, этого не сказал, а сказал, чтобы Пантюха и не думал ничего «показывать» Лельке, а то ведь я окажусь предателем. И так я уже чувствовал себя кисло оттого, что проговорился, а тут еще он ее воспитывать начнет. Пантюха сказал, чтобы я его не учил. Он пошел в милицию, но в дверях остановился и крикнул, чтобы я его подождал, — он еще со мной поговорит. Мне не очень улыбалось говорить с Пантюхой, но делать было нечего, и, кроме того, мне было интересно, что за дела у него в милиции и что это за таинственный Наконечник.

Пока я его ждал, я умудрился ввязаться еще в одну историю — здорово мне везло сегодня. Неподалеку от милиции рыли какую-то траншею — наверно, меняли канализацию, — и я, чтобы отделаться от воспоминаний о Лельке, решил посмотреть, как там работают. Вообще я очень люблю смотреть, как люди работают, и особенно, когда это у них хорошо получается. Вид у них тогда становится такой гордый и независимый, и чувствуется, что они делают самое главное дело в жизни, и им это нравится. Мне даже завидно немножко становится и хочется поскорее вырасти. У нас в районе очень много строят, и я целыми часами могу стоять и смотреть на какой-нибудь кран и веселую, отчаянную девчонку в кабинке на верхотуре, или на то, как рычащие самосвалы, подъезжая один за другим, высыпают бетон или гравий, или как каменщики, перебрасываясь шуточками, ловко и быстро укладывают такие аппетитные кирпичи...

Я пошел к траншее, но, конечно, сразу отделаться от своих мыслей не мог и шел задумавшись, пока вдруг не услышал откуда-то сверху:

— Эй, рахитик, куда лезешь?!

Я поднял голову и увидел здоровенную металлическую лапу с когтями, которая нависла надо мной, — мне даже показалось, что она хотела меня заграбастать. Я не сразу и понял-то, что это экскаваторный ковш.

— Эй! — крикнул я и махнул рукой, как будто мог остановить эту железную лапу. И мне ужасно понравилось, что она и в самом деле остановилась и повисла надо мной совсем неподвижно. Я подумал: «Вот какой ручной бронтозавр!» — и тут же получил крепкий подзатыльник. Передо мной стоял очень злой парень — зубы у него так и сверкали — и кричал:

— Ну рахитик, ну рахитик!

Я испугался, но не подал вида и посмотрел на ковш, который остановился сразу, как только я махнул рукой.

— Эх ты! — сказал парень и дал мне еще подзатыльник, но уже не такой крепкий. — Ну, чего рот разинул? А если бы я тебя пришиб?

— Не пришиб бы, — засмеялся я. Парень мне понравился, и показалось, что я откуда-то его знаю.

— Ишь ты! — тоже засмеялся парень. — Слушай, а я ведь тебя знаю. Ты Юрки Пантюхина дружок. Верно?

Я кивнул и сразу вспомнил: это был тот самый парень, Алексей, кажется, от которого Юрка прятался у меня, тот самый, который хочет жениться на Юркиной матери. Вот так встреча! Мне сразу стало как-то неловко, как будто я подслушал чужой разговор про очень секретное и такое, о чем никакой посторонний не должен ничего знать. Я отвернулся.

— Слушай, это у тебя тогда Юрка прятался? — спросил парень и, не дождавшись моего ответа, подтвердил: — У тебя, я знаю.

Я промолчал: раз знает, так чего уж тут... — Слушай, — сказал Алексей, — чего он от меня прячется? Мне с ним, — он провел ребром ладони по горлу, — вот как поговорить надо, а он бегаёт от меня, как черт от ладана. Конечно, я могу и без него обойтись — подумаешь, глава семейства, — но я хочу, чтобы по-хорошему все было, зачем мне с ним ссориться, если... — Он осекся и подозрительно посмотрел на меня. — Слушай, а он тебе что-нибудь говорил?

Ну, что тут будешь делать?!

— Нет, — сказал я, — ничего я о ваших делах не знаю.

Сказал, а сам чувствую, что краснею, прямо полыхать весь начинаю.

— Ладно, — усмехнулся Алексей. — Это хорошо, что ты врать не умеешь.

Это ему хорошо, а я теперь перед Пантюхой предателем буду себя чувствовать...

— Слушай, — он положил свою здоровенную ручищу мне на плечо, — ты не волнуйся, я Юрке ничего не скажу, о чем мы тут с тобой говорили, только ты мне помоги в одном деле, а? Да ты плечами не пожимай — дело-то пустяковое, ты вроде и ни при чем будешь. Ты футбол любишь? Так вот. Я тебе в ящик на дверях — почтовый — завтра опущу два билета на воскресенье: «Зенит» с московским «Динамо» играют. И вы с Юркой приходите, ну и... все.

— С чего это?

— А я там рядышком буду. Уж тут он от меня не уйдет. — Алексей засмеялся. — Не такой Юрка человек, чтоб с футбола удирать. Только ты ему не говори, что я там буду и что билеты я дал. Лады?

— Мне, конечно, нетрудно, только я не понимаю... — сказал я.

— А тебе и понимать нечего, ты сделай, и все. — Он протянул мне руку. — Ну, лады?

И я, думая о том, что совсем не обязательно мне лезть еще и в эту историю — я, конечно, знал, о чем Алексей хочет говорить с Пантюхой, — все-таки сунул свою руку в его лапищу. До чего же я, в общем, слабохарактерный! Своих мне забот будто не хватает, и что я, сват, что ли, чтобы этого парня, которого я совсем не знаю, сватать к Юркиной матери, лезть в чужую жизнь? Но теперь-то, раз я пожал ему руку, значит, вроде обещал, и тут уж

ничего не поделаешь. Только бы Пантюха не догадался, а то все: он мне этого никогда не простит.

— Лады, значит? — спросил Алексей и полез на свой экскаватор, а оттуда крикнул, что с него приходится пол-литра, и подмигнул мне.

А когда я уже повернулся, чтобы идти, он вдруг подозвал меня и спросил:

— Слушай, а чего это Юрку в милицию понесло? Опять что-нибудь?

Вот, черт, значит, он нас видел? Нет уж, дудки, уж этого я ему не скажу!

— Насчет паспорта, — быстро соврал я и пошел, чтобы он не заметил, что я опять краснею. Тоже сообразил: «Насчет паспорта»! Пантюхе еще и четырнадцати нет. Я слышал, как Алексей засмеялся, а потом сзади сразу заскрежетал и загрохотал его экскаватор.

Вскоре из милиции вышел Пантюха. Вид у него был мрачный и озабоченный.

— Т-так и знал: опять Наконечник влип, — сказал он и быстро зашагал по направлению к дому. Я побежал за ним, но расспрашивать не стал, хотя было здорово любопытно. Захочет — сам расскажет. Но Юрка не захотел, и так до самого дома мы бежали молча, и только во дворе он остановился и попросил выручить его. Я обрадовался: не так уж часто Пантюха просил его выручить — это чего-то стоило.

— Конечно! — сказал я. — А что?..

— Вот ч-что: если т-тебя старшина спросит, скажи, что в то воскресенье мы с тобой за город ездили, в Павловск, и там весь день проболтались. Часов в девять уехали и часов в восемь вечера приехали и все время вместе были. Ясно?

— А что мы там делали?

— Ври, что хочешь, главное, что в Павловске и вместе, — сказал Юрка. — А с Лелькой я п-потолкую!

— Юрка! — взмолился я.

Но он ничего не ответил и побежал домой. Я еще немного поторчал во дворе, а потом тоже отправился домой и стал думать обо всем, что случилось сегодня. Выходило, прямо скажем, неважно... Нюрочка больна, и Ливанские из-за меня поссорились, школу я прогулял, и Елена Зиновьевна, классная воспитательница, наверняка устроит мне завтра выволочку; Алексею я зачем-то пообещал свести его с Пантюхой, а Пантюхе пообещал наврать старшине; Лельку я предал... ох, уж эта Лелька! Как только я вспомнил о ней, так уж с другом и думать не мог — все казалось мне ерундой, а это...

5

Часа в два прямо из школы примчалась Ольга. Она расспросила меня о Нюрочке, отругала за то, что я пропустил школу, натрещала целую кучу классных новостей — можно подумать, что я целую вечность не был в школе, — и под конец сообщила, что она сказала Елене Зиновьевне, что я не был в школе по уважительной причине, так как мне надо было ухаживать за больной сестренкой, так как мамы у меня нет, и так как папа занят на работе, и еще какие-то «так как»... В общем, она хороший товарищ, Ольга, но завтра мне придется врать еще и классной воспитательнице... В результате я наорал на нее и выпроводил за дверь, а потом мучился угрызениями совести: ведь она мне добра желала...

Потом я немного успокоился. В конце концов, ничего такого уж страшного не произошло: Нюрочка, кажется, поправляется, Ливанские и без меня довольно часто воспитывали друг друга — разберутся и в этот раз, а что касается Алексея и Пантюхи, то могу я в самом деле пойти на футбол, тем более что Алексей, Алеша, мне нравится и мне даже жалко его — вот ведь как страдает человек из-за любви, — а Юрка, как феодал какой-то, заупрямился, и все. А имеет ли он право мешать в таких делах, даже не то что мешать, а, по-моему, и лезть-то в них ему не положено. Ну и что, если он сын? Мать у него еще совсем молодая и красивая, не оставаться же ей монашкой из-за Юркиных капризов! Ведь Алексей, наверное, ее любит, раз так добивается, и, может, у них будет самое настоящее счастье, и мне очень захотелось, чтобы у них действительно было это самое настоящее счастье... Ну, а

насчет старшины, Ольгиного отца, я подумал, что, может быть, он и не спросит меня, где мы были с Пантюхой в то воскресенье, и уж, во всяком случае, я просто постараюсь ему некоторое время не попадаться на глаза. Так я себя успокаивал, но почему-то не очень-то успокаивался.

Спать я лег до прихода бати — не хотелось ему на глаза попадаться, боялся, что он догадается о том, что у меня не все ладно... Лечь-то я лег, но заснуть не мог долго: все время перед глазами стояла Лелька в солнечном свете... И вспоминать мне об этом было приятно, хотя что-то все время мучило, как будто я сделал нехорошее, стыдное, что ли... Ну, я, конечно, знаю, что сказали бы взрослые, даже самые умные, если бы узнали про это. «Безобразие, — сказали бы они, — надо об учебе думать, а не о поцелуях». И Лельке досталось бы ужасно — гораздо больше, чем мне. Если бы я был старше ее, тогда, конечно, больше попало бы мне, ну, а раз она старше меня, то все шишки посыпались бы на нее. «Вот ведь какая испорченная девчонка!» — говорили бы все, а я бы выглядел этакой жертвой.

А, между прочим, это ерунда на постном масле. Если бы я не хотел, я бы и не стал с ней целоваться — отбрыкался бы как-нибудь или ушел. А я ведь не ушел и целовался с удовольствием. Значит, я тоже испорченный, так, что ли? Ничего ровным счетом это не значит. Если думать, что все мальчишки и девчонки, которые начинают целоваться, испорченные, то тогда надо создать такие детские монастыри, и держать там отдельно мальчишек и девчонок до шестнадцати лет, и показывать им только мультипликационные фильмы про репку. А на другой день после того, как им стукнет шестнадцать, они уже могут смотреть любые фильмы и читать любые книги. Вот так!

Я уверен, что многие взрослые обрадовались бы, если бы такие монастыри были: им забот по крайней мере меньше, а то думай тут, можно ли, например, давать детям читать «Тома Сойера» — ведь там ребятишки, Том и Бекки, тоже целуются, а им всего по десять... А как быть с Ромео и Джульеттой? Ему тоже, кажется, еще шестнадцати не было, а ей и того меньше. Времена были другие? Правда, другие, только наши-то времена умнее. Так надо, чтобы и взрослые умнее были и не поднимали панику чуть что и не шептались по углам с ужасным видом.

Я, конечно, понимаю, что нам совершенно не обязательно знать все, все, все, и совершенно не обязательно, чтобы все мальчишки и девчонки начали с десяти лет напрапую целоваться кто с кем захочет, а все-таки, если бы нам чаще объясняли по-умному, может быть, мы меньше глупостей делали бы.

Вот у Валечки. У него мамаша такая уж воспитанная, что дальше ехать некуда... Я к нему и ходить перестал потому, что там не дом, а институт благородных девиц: не так сел, не так встал, не той рукой вилку взял. А вот когда я как-то позвал Валечку со мной в Эрмитаж — все-таки парень культурный: музыкой занимается, читает много, — так мамаша его поморщилась и сказала:

— Рановато.

А, между прочим, этот Валечка такие гадости о девчонках и обо всем говорит, что почти все ребята плюются, а я так просто слушать не могу. И не потому, что я уж такой хороший, а, наверно, потому, что понимаю больше этого «воспитанного» мальчика. А уж если не понимаешь ни черта, так тем более нечего языком трепать.

...В общем, из-за того, что я с Лелькой целовался, я угрызениями совести почти не мучился, хотя и понимал, что мы с ней не так, как Том Сойер с Бекки, целовались. А все-таки, что-то в этой истории было для меня очень неприятное. Нет, даже не то, что Юрка узнал про это и, конечно, устроит Лельке скандал. Меня что-то другое все время царапало.

Я долго не мог понять и понял только тогда, когда, уже почти засыпая, подумал о Наташе. Я даже подскочил на диване, и весь сон пропал... Как же я на Наташку теперь смотреть буду? Я даже возненавидел эту проклятую Лельку — вот задала мне задачку для детей среднего возраста! Понимаю, что сам виноват не меньше ее, а злюсь на нее, как черт, и даже злорадствую: ничего, пусть ей от Пантюхи попадет как следует, так и надо... Но мне-то от этого нисколько не легче: все равно по отношению к Наташе я себя почувствовал

таким подлецом, каких свет не видел... Нет, нет, я даже никогда и не говорил ей, что она мне нравится, и никаких слов не давал, а вот чувствую себя подлецом, и все! Нечестно, плохо все это, неправильно... Не имел я права с Лелькой целоваться, если я Наташу... если мне она нравится... «Дурак, она же ничего не узнает», — успокаивал я себя, но все равно ни капельки не успокаивался. Разве в этом дело, что она ничего не узнает? А я-то, я-то сам...

В общем, я заснул только под утро. Батя разбудил меня, и вид у меня, наверно, был такой восторженный, что он спросил:

— С кем это ты всю ночь воевал? Я только махнул рукой.

— Случилось что-нибудь? — спросил батя за завтраком.

Хорошо, что у меня рот был набит и ничего не пришлось отвечать — я только промычал что-то вроде «потом расскажу», надеясь, что или он забудет, или я что-нибудь придумаю.

6

Я шел в школу и все время думал, как я встречу с Наташей, и у меня на душе было очень мутно. Но в школе на первом же уроке случилось такое, что я на время позабыл о своих бедах...

У нас была литература, и, как всегда, все были настроены очень радостно: мы любили этот предмет и учительницу, которая нам его преподавала. Она была совсем молоденькая — только два года назад окончила институт и сразу пришла к нам в школу. Звали ее Марией Ивановной, а мы про себя ее называли Капитанской дочкой.

Когда Капитанская дочка вошла в класс, мы все уже стояли за своими партами и дружно улыбались, но она не улыбнулась, как всегда, и глаза у нее были какие-то встревоженные и грустные. Она положила на стол свой портфель и отошла к окну, ничего не говоря. Она стояла у окна, заложив руки за спину, и смотрела на размокший сад, где в кучах осенних листьев суетились нахохленные воробьи. Она стояла так довольно долго, и мы тоже стояли за партами, ничего не понимая. Потом девчонки начали шептаться и кивать на Наташу. Наташа вышла из-за парты, тряхнула своей копной и подошла к Марии Ивановне.

— Мария Ивановна, вы нездоровы? — слегка запинаясь, спросила Наташа. — Мы посидим тихо и что-нибудь почитаем...

Мария Ивановна, не оборачиваясь, обняла Наташу за плечи, притянула к себе, и они обе постояли и посмотрели на воробьев. Потом Капитанская дочка повернулась к нам, глаза у нее блестели, но она уже улыбалась. Мы сразу сели, только слишком громко стучали крышками парт.

Ольга толкнула меня в бок и, сделав «ответственные» глаза, громким шепотом — тихо она говорить вообще не умела — сказала:

— У нее неприятности. Вот увидишь, это все Конь!

Я кивнул: Коня почти все не любили неизвестно за что. Никому ничего плохого он не сделал, но вид у него был такой, что только и жди от него какой-нибудь неприятности...

Мария Ивановна уже стояла за своим столом.

— Садись, Наташа, — сказала она. — Да, Оля, у меня большие неприятности, но это не Константин Осипович... — Она помолчала, а потом встала и задумчиво сказала: — Я хочу вам прочитать одно стихотворение Пушкина. Может., вы знаете его, но все-таки послушайте.

Она опять отошла к окну, а Ольга покраснела, хлопнула кулаком по парте и ушла в стенку... Капитанская дочка начала очень тихо:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

...Сколько я себя помню, а говорят, что уже лет с трех-четырёх человек начинает помнить себя, я знаю это стихотворение. Его очень любит батя и, мне кажется, не очень люби1 мама. У нее как-то не удалась роль в пьесе о Пушкине. Мама в этой пьесе играла роль Анны Керн, а стихотворение это так и называется — «К А. П. Керн». Пушкин был влюблен в нее, но они почему-то расстались.

У нас была пластинка с этим романсом, и мама сердилась, когда отец ставил эту пластинку. Она говорила, что она не чудное мгновенье.

— Ты не мгновенье, — говорил батя, — ты вечность.

— А ты рыба! — почему-то говорила мама и уходила.

Батя снимал пластинку, говорил «Вот так» и садился за свой стол, вставив в рот пустую трубку. Последнее время я давно не слышал этой пластинки...

...Ольга так и сидела, уставившись в стенку, а Наташа... Я очень хотел выдержать и не смотреть на нее, когда Капитанская дочка читала стихотворение, но все-таки изредка поглядывал.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Все сидели какие-то пришибленные и не понимали, что происходит с Машенькой — Капитанской дочкой. Она кончила читать стихотворение и обвела всех глазами.

— Вы сидите тихо, как мыши, — сказала она. — Это хорошо. Не знаю, может быть, не нужно говорить вам, почему мне сегодня очень плохо. Может быть, это непе-да-го-ги-чно говорить вам об этом, но вы сидите, как тихие мыши, и поэтому я вам скажу. Вы,, кто-то из вас очень обидел меня...

— Нет! — сказала Ольга. — Не может быть!

— Кто? — спросил Гриша и встал из-за парты.

— А как вас обидели? — пропищала Веснушка.

— Что случилось, Мария Ивановна? — спросил маленький Ося.

Мария Ивановна, наверно, пожалела, что начала говорить об этом. Она долго молчала и поглядывала на нас немного растерянно, но мы кричали, что если уж она начала говорить, то должна сказать все, что это нехорошо — начать, а потом не сказать, что мы будем думать черт знает что, если не узнаем, в чем дело. И тогда она сказала:

— Ну, хорошо, я скажу вам и надеюсь, что вы поймете меня правильно и поступите правильно... — Она помолчала, как будто ей было трудно начать, а потом тихо сказала: — Я получила мерзкое письмо... Оно лежало в вашем журнале. Настолько мерзкое, что я не могу его вам прочитать. Оно очень плохое, грязное и... и... глупое... Когда я его читала, мне стало очень больно и обидно. Не за себя и даже не из-за того, что там написано обо мне, — это глупости, а из-за того, что я подумала: все мои труды напрасны. Вот учу я вас понимать прекрасные вещи, хочу, чтобы вы по-настоящему ценили и распознавали все красивое, и, видно, все впустую... Я всегда понимала, что вы не маленькие уже дети и не верите в... аистов, но я всегда думала, что вы умные и хорошие ребята и что я помогаю вам стать умнее и лучше... А оказывается, среди вас есть еще и другие... Мне за них обидно, мне их даже... жалко — такой человек обворовывает себя в самом красивом...

— Нет! Нет! — закричала Ольга. — Мы и сейчас умные и хорошие ребята...

— Я набью морду... — сказал маленький Ося.

— Тише. Не шумите, — сказал Гришка. — Разберемся!

А Наташа встала и опять подошла к Марии Ивановне. А я, как только она начала говорить про это письмо, сразу посмотрел на Валечку. Он заметил это и опустил голову.

Тогда я вылез из-за парты и пошел к нему. Ребята обернулись и тоже начали смотреть на него. Валечка побледнел. Он встал и пригладил волосы.

— Я не понимаю, — сказал он, улыбаясь, — почему вы все уставились на меня. Может быть, это... — И он посмотрел на последнюю парту, где весь, как-то сжавшись, сидел Володька Кныш и исподлобья смотрел на нас. После слов Валечки все как по команде повернулись в его сторону. Кныш медленно начал краснеть, а Валечка все так же чуть криво улыбался.

— Ну, гад... — прохрипел Кныш и медленно стал вылезать из-за парты. Потом он, как тигр, одним прыжком ринулся к Валечке и схватил его обеими руками за отвороты куртки. — Ну, гад...

Все выскочили из-за парт — девочки сгрудились около учительского стола, а мы подошли поближе к Кнышу и Валечке.

— Прекратите! — вдруг властно сказала Капитанская дочка — По местам!

Никто не сел, тогда Мария Ивановна тихо спросила:

— Вы совсем не уважаете меня? Да?

Мы молча расселись. Валечка поправлял свою курточку и все еще улыбался, но он здорово был испуган. Кныш вышел из класса, громко хлопнул дверью.

— Верни его, Саша, — сказала мне Капитанская дочка.

Я догнал Володьку уже в вестибюле. Когда я его окликнул, он обернулся ко мне с таким видом, что я даже отпрыгнул от него.

— Если ты, сволочь, скажешь, что я тебе про нее на катке говорил, тебе кранты! Понял?

Я, в общем-то, плевал на Кныша и на его угрозы, но тут мне стало страшно: я вспомнил, что он говорил мне про Капитанскую дочку на катке прошлой зимой. А когда мне становится страшно, я начинаю себя воспитывать.

— Ну? — спросил я. — Так это ты?

— Нет, — сказал Кныш, — нет. Не я, но если ты скажешь...

— Почему ты ушел?

— Вы же все думаете на меня...

— Я не думаю.

— Правда?

Я кивнул: я действительно не думал на него сейчас.

— Валечка? — спросил я.

— Не знаю... — Потом он как-то зашипел: — Н-ну, я узн-н-наю. — И выбежал из вестибюля. Я догонять его не стал.

Урок уже почти кончился, Мария Ивановна рассказывала что-то, но ее, по-моему, никто не слушал. Когда я вошел в класс, Валечка вопросительно и немного испуганно посмотрел на меня. Я сделал вид, что не заметил.

Когда прозвенел звонок, Капитанская дочка, собирая свой портфель, сказала:

— Обещайте мне только одно: что вы не будете доискиваться. И давайте не вспоминать об этом... Вы хорошие ребята.

Мы промолчали, и она, покачав головой, вышла. В дверях она столкнулась с Еленой Зиновьевной, мы ее зовем Евгленой Зеленой.

— Что у вас тут происходит? — спросила Евглена. — Я проходила случайно мимо и слышала такой шум...

Она всегда проходит случайно!

— Ничего, — спокойно сказала Мария Ивановна и ушла.

Евглена покачала головой.

— Ларионов, — сказала она, — принеси, пожалуйста, записку от отца, что у тебя действительно больна сестра и тебе надо за ней ухаживать.

— У меня действительно больна сестра, но мне не нужно за ней ухаживать, — сказал я.

— Значит, прогул? — спросила Евглена.

— Значит, прогул, — сказал я.

Она молча кивнула, как будто ничего другого от меня не ожидала, и вышла, поджав губы.

— Ну и дурак! — закричала Ольга. — Подумаешь, принципиальный! Меня только подвел...

— Он правильно сделал, — сказала Наташа.

— Слишком уж вы все правильные, — сказала Ольга и вышла, хлопнув дверью так же, как Кныш, и мне почему-то стало ее жалко, я даже не обрадовался, что Наташа вступилась за меня. Я-то знал, какой я «правильный».

Уроки в этот день шли ужасно медленно, а перемены пролетали за одну секунду, потому что в каждую перемену мы обсуждали то, что произошло на уроке литературы. Обсуждали до хрипоты, пока на одной из перемен Гришка не сказал, хлопнув кулаком по парте:

— Хватит! Она же просила ничего не выяснять. Значит, ей это неприятно. И точка.

Все согласились, хотя и поворчали немного, и только Наташа через некоторое время сказала:

— А по-моему, надо узнать. Можно же ей ничего не говорить, но мы должны знать, что за подлец у нас в классе.

И опять мнения разделились. Я, пожалуй, был согласен с Наташкой, но, что она сказала, чтобы сделать это тайком от Капитанской дочки, мне не понравилось. Я, правда, этого не сказал: у меня был свой план.

После уроков я сказал Гришке, Осе и Валечке:

— Пошли вместе. Надо поговорить.

Валечка было заныл, что он опоздает в музыкальную школу, но Гришка так посмотрел на него, что он сразу согласился. Я еще не знал толком, что я, собственно, буду говорить, но когда мы пришли в наш скверик, начал неожиданно для себя.

— Это ты, — сказал я Валечке так, как будто и в самом деле совершенно точно знал, что это он написал то письмо.

— Ты что?! — закричал Валечка. — Докажи! Докажи!

— Ты в самом деле, Сашка... того... знаешь что-нибудь, что ли? — спросил Гриша и неодобрительно посмотрел на меня.

— Знаю, — сказал я. — Это он.

Я, наверно, сказал это так убежденно, что и Гриша и Ося сразу поверили, а Валечка совсем растерялся. Он залопотал что-то, забормотал и вдруг бросился бежать. Ося было кинулся за ним, но сразу остановился и махнул рукой.

— Не стоит, — сказал он. — Рук марать не стоит.

Валечка бежал к выходу из скверика, и там навстречу ему вышел Володька Кныш. Он загородил Валечке дорогу, и мы, не сговариваясь, побежали туда. Кныш что-то сказал Валечке, и тот, отшатнувшись от него, повернулся и побежал в нашу сторону, но, увидев, что мы бежим навстречу, остановился. Вид у него был такой загнанный, что, когда мы подбежали к нему, Гриша сказал:

— Беги, мы его задержим.

— Спасибо, — сказал Валечка и так припустил по аллейке, что Оська засмеялся.

Засмеялся и я, но мне было противно, и, когда Кныш подошел к нам, я не стал ни о чем говорить, а взял и ушел. Оглянувшись, я увидел, как все трое, стоя на одном месте, размахивали руками и о чем-то спорили. Я пошел домой, решив обо всем посоветоваться с батей. Я редко прибегал к его помощи. Не потому, что стеснялся или боялся, что он не поймет, а просто всегда помнил, что он может сказать в подобных случаях.

— Я, конечно, выслушаю тебя, — говорил батя, — и, может быть, что-нибудь посоветую, но имей в виду: грош цена тому человеку, а тем более мужчине, если он сам не может разобраться в своих делах.

Я ужасно не хотел, чтобы мне как человеку, а тем более мужчине была грош цена. Но тут, как мне показалось, наступил крайний случай. Через несколько дней оказалось, что я ошибался: все это были детские игрушки по сравнению с тем, что мне вскоре пришлось испытать. Но я-то тогда еще не знал и решил вечером поговорить с батей.

7

Он пришел поздно: заходил к Нюрочке. Ей стало еще лучше, и батя был довольно спокойный. Совсем спокойным он теперь не был никогда. Мне все время казалось, что его гложет что-то, — уж больно часто он сосал свою трубку. А что с ним, я спросить не решался — соберусь было, но он как будто сразу догадается и примет такой вид, что у меня отпадает вся охота спрашивать.

— Мне с тобой нужно поговорить, — сказал я бате, когда мы кончили ужинать.

— О чем? — спросил батя, и мне показалось, что он насторожился.

— Да так, кое о каких своих делах.

— Назрела необходимость?

— Ага.

— Ну давай.

Батя сел за свой стол, а я принялся ходить по комнате и все не знал, с чего начать.

— А ты начни с чего-нибудь попроще. Но вообще-то имей в виду, что грош цена тому человеку, а особенно мужчине, который... — и т. д. и т. п.

Я пропустил мимо ушей эту его знаменитую фразу и вдруг спросил:

— Батя, а тебе сколько лет было, когда ты начал с девчонками целоваться?

И схватился за голову: о чем это я, вот осел! Хотел же совсем о другом говорить, и вдруг на тебе!

Батя крикнул и внимательно посмотрел на меня. Хорошо еще, что он не засмеялся: если бы он даже улыбнулся, я бы, наверно, провалился сквозь землю.

— Ну, рассказывай, — сказал батя.

И я, красный, как вареный рак, заикаясь на каждом слове, рассказал ему все про Лельку.

— Это... очень плохо? — отдуваясь, спросил я под конец.

Вопрос, конечно, дурацкий, но что-то мне надо было спросить. Иначе зачем бы я рассказывал? Батя сидел, отвернувшись от меня, опершись лбом на руку, и шея у него была красной. «Вот даже смотреть на меня не хочет», — подумал я.

Наконец он повернулся ко мне. Вид у него был очень серьезный, но лицо как-то странно кривилось, как будто он хотел чихнуть и никак не мог.

— Вообще-то, — сказал он, — о таких вещах не очень принято рассказывать. Я, например, никогда и никому не рассказывал о таких вещах, но раз уж ты удостоил меня своим доверием... — Он встал из-за стола и тоже начал ходить по комнате. — Раз уж ты рассказал, то... Послушай, а... ну, она тебе... нравится, что ли?

Я замотал головой. Вот оно, о чем я и думал, оказывается, все время, только сам не мог понять, — все дело, наверно, в том, нравится тебе девчонка или нет. Если нравится, то это еще полбеды — с ней поцеловаться, а если нет — это уже что-то не то... А что я мог сказать о Лельке? Вообще-то, как девчонка она... ничего... красивая и фигурка что надо, и, конечно, я бы соврал, если бы сказал, что она мне совсем не нравится. Но тут не то, ведь нравится она мне только с одной стороны, ну как красивая картинка, что ли. Когда я ее не вижу, я о ней и не вспоминаю вовсе — это только сейчас она у меня из головы не выходит, и я на это и злюсь. А вот о Наташе я все время думаю, даже когда и не думаю вроде бы, тек все равно как будто думаю... Не знаю, как об этом сказать, ну, в общем, как в книгах пишут: «Она всегда была с ним, даже если он не видел ее и не думал о ней» — или что-то в этом роде.

Бате я этого не сказал, а только опять замотал головой.

— Не понимаю, — сказал батя и рассердился. — Да ты не финти! Нравится — так и скажи.

— Нет, — сказал я, — то есть... нравится, но...

— Ага, понимаю, — сказал батя. — Тогда это плохо. Совсем не обязательно лезть со своими поцелуями к человеку, который тебе нравится, но...

Я даже задохнулся. Черт меня дернул заговорить об этом, когда я совсем о другом хотел с ним говорить! Доказывай теперь, что я тут почти и ни при чем — ведь это все Лелька начала. Но этого я, конечно, не сказал: вовремя сообразил, что это уж совсем подло будет...

— И не вздумай говорить, что это она сама... тебя целовала. Так некоторые подлецы поступают: собьют с толку девчонку, а потом еще болтают об этом каждому встречному, а если им скажут, что это подло, так они сразу в кусты и говорят: это, видите ли, их соблазнили, а сами они чистенькие, как... как... — Батя почему-то ужасно разгорячился и долго еще говорил о том, какие бывают подлецы и как они обманывают бедных, несчастных женщин, которых надо пожалеть: около них так много разных козлов ходит, что им просто некуда деваться... Он говорил так горячо и убедительно, что я и в самом деле почувствовал себя таким козлом, от которого несчастным женщинам некуда деваться. Но потом я подумал, что он тут перехватил, и только я подумал об этом, как батя вдруг запнулся и сел в свое кресло, махнув рукой.

— Это я так, — сказал он устало, — это я не о тебе, а вообще. Впрочем, и тебе на дальнейшее полезно...

Так что же ты думаешь делать?

— Не буду я с ней больше... целоваться, — пробурчал я.

— Почему? — спросил батя и засмеялся. — Это ведь, наверно, весьма... приятно?

— Приятно, приятно! — заорал я. — Я к тебе как к человеку, а ты мне мораль про каких-то козлов читаешь да еще и издеваешься!.. Конечно, приятно... Будто сам не знаешь!

— Ты не сердись, — сказал батя, — я действительно чего-то не совсем то, что надо, говорю. Ты от меня совета ждешь, а я, пожалуй, тебе никакого тут совета и дать не могу. Поступай так, как тебе подскажет разум и... сердце... Парень ты неглупый, и сердце у тебя, по-моему, тоже есть...

— Спасибо, — буркнул я. Тут уж он разозлился.

— А ты что хочешь, чтобы я тебе рецепты на все случаи жизни давал? — сказал он сердито. — Не дождешься! Или ты хочешь, чтобы я тебе сказал, что рано еще тебе целоваться, а надо об уроках думать? Так ведь раз уж случилось — что ж теперь так всю жизнь и слюнявить это дело? Не по-мужски это! Единственно, что я могу тебе сказать: в любой, в самой сложной ситуации надо быть прежде всего человеком, а не скотом. А если ты сейчас начинаешь на всякие случайные поцелуечики размениваться, то... — Он махнул рукой, помолчал чуть-чуть, а потом тихо сказал: — ...самое главное потеряешь, вернее, так и не найдешь.

— Да ни на что я не размениваюсь! — опять заорал я. — Раз в жизни случилось, а ты уж выводы какие-то делаешь!

— Ну, не размениваешься, значит, все в порядке, — сказал он, и глаза у него вдруг стали хитрыми-хитрыми. — Слушай, а как же ты теперь с Наташей-то?..

Вот черт! Откуда он знает? И как это он догадался, что меня волнует больше всего именно это?

— Ну, уж это — мое дело! — гордо сказал я.

— Вот это правильно! — почему-то очень довольный сказал батя. — Значит, с этим вопросом все?

— Все, — сказал я и вздохнул с облегчением.

— Ну, тогда спать! Спать! — сказал батя.

Я пошел спать и, когда уже разделся, вспомнил, что хотел-то я с батей посоветоваться, что нам делать с письмом, которое получила Капитанская дочка от кого-то

из нас, а скорее всего от Валечки. Вот тут-то батя помог бы больше — в таких делах взрослые лучше нас разбираются, хотя иногда тоже путают здорово. Мне не хотелось идти: опять скажет «Сами разбирайтесь», но я подумал, что тут уж не только мое личное дело, а всего класса т надо все же посоветоваться с умным человеком, а то мы еще сгоряча таких дров наломаем...

Батя лежал и читал «Анну Каренину», Я влез к нему с ногами на тахту и сказал:

— Батя, я ведь с тобой совсем о другом хотел говорить, а это так... сам не знаю, почему вырвалось.

— Значит, наболело, — сказал батя. — Слушай-ка, а я ведь тебе на твой вопрос так и не ответил. Я ведь тоже с девчонками целовался, — сказал он шепотом, и мы с ним начали хохотать.

— Ну и жук ты, батя, — сквозь смех сказал я.

— Конечно, жук, — сказал он гордо, — а как же! Ну, так что у тебя еще?

Мне стало как-то совсем легко и просто, и я спокойно рассказал батю все, что случилось сегодня в классе, не сказал только о своих подозрениях. Батя слушал очень внимательно, иногда только морщился и неодобрительно покачивал головой.

— Гадость какая, — сказал он, когда я кончил. — 'Ну, а что в том письме? Хотя откуда тебе знать!

Я и действительно ничего не знал, но кое о чем мог догадываться, тут мне Кныш помог... Я рассказал батю о том, что прошлой зимой говорил мне на катке Володька Кныш. А он сказал, что Капитанская дочка «спуталась» с преподавателем физики, а у того жена и двое маленьких детей. А она, эта... — Кныш назвал ее тогда коротким нехорошим словом — прилипла к физику, как пиявка, и отбивает его от семьи. Я не поверил Володьке и сказал, что, если он будет трепаться об этом кому-нибудь еще, пусть лучше не приходит в школу: я ему житья не дам. Может быть, об этом и было в том проклятом письме.

— Что значит «спуталась»? — спросил батя.

Я почувствовал, что краснею, и пробурчал что-то невразумительное, вроде: «Ну, что ты, маленький, сам не понимаешь?»

— Я-то понимаю, — сказал батя, — а вот вы, сопляки, что вы-то понимаете в этом?

— Ну, если ты хочешь ругаться... — сказал я и начал слезать с тахты.

— Сиди, — сердито сказал отец, — ишь какой гордый! Ты пойми, дело это такое тонкое, деликатное, в него чужим сапогом лезть никак нельзя, а тем более вам, сосункам. Да не ершись ты! Нечего вам даже и думать об этом, не вашего ума...

— Ну да, сосунки, сопляки, не вашего ума... Спасибо. Разъяснил, — сказал я и опять начал слезать с тахты.

Батя засмеялся, но меня не удерживал. Он только вдруг как-то очень грустно сказал:

— Всякое в жизни бывает, Сашка... всякое. Ну, а вы-то как о своей Капитанской дочке думаете?

— Она хорошая, и все это наверняка враки, — убежденно сказал я.

— Ну раз так, значит, об этом деле надо забыть, как будто ничего и не было. И виду даже не показывать, что вы что-то слышали.

— Да я ведь не об этом. Это ясно. А вот что нам с этим гадом, который письмо написал, делать?

— Вздуть! — горячо сказал батя. — Вздуть!

— Есть вздуть! — заорал я: этого мне и надо было.

— Эй, эй! — сказал батя. — На меня, чур, не ссылаться!

— Струсил? — ехидно спросил я.

— А впрочем, можете ссылаться. Вздуть! Только чтобы она ничего не знала. Понял?

В школе на следующий день о том, что было, никто не вспоминал, как будто действительно ничего и не было. А когда на одной из перемен что-то об этом запищала Веснушка, на нее так цыкнули, что она чуть не расплакалась. Все-таки хорошие у нас ребята: я уверен, что все еще переживали вчерашнее, но никто даже виду не подал. Кныша, между прочим, в школе не было, а Валечка держался как ни в чем не бывало: понимал, гад, что у меня никаких доказательств нет! Ну, я-то все равно его на чистую воду выведу и скажу об этом только Гришке и Осе, и тогда...

В этот день ничего особенного не произошло, только Ольга со мной разговаривала очень сухо, можно сказать, совсем почти не разговаривала. Ну, да ничего, помиримся, она такая: долго сердиться не умеет. На Наташу я старался не смотреть, потому что, когда смотрел, сразу вспоминал Лельку, и мне становилось как-то не по себе.

В общем, в школе все было как в самый обычный день — никаких происшествий. Капитанскую дочку мы видели только мельком, в одну из перемен она быстро-быстро пробежала мимо нас — мы все стояли на своем излюбленном месте у большого окна в коридоре. Мы хором сказали: «Здравствуйте, Мария Ивановна!» Она покивала нам довольно весело и пробежала.

...Была суббота, и когда я пришел домой, то в почтовом ящике на двери заметил что-то белое. Я было обрадовался: подумал, что это письмо от мамы, но это оказались билеты на футбол, и я вспомнил про Алексея и его просьбу, я о ней и забыл совсем. Не хотелось мне ввязываться в это дело, но раз обещал — ничего не поделаешь...

Пантюха согласился охотно, и в воскресенье мы поехали с ним на футбол. Всю дорогу меня мучили угрызения совести, да вдобавок я еще и побаивался: кто его знает, как встретит Пантюха Алексея и что подумает про меня... Но когда мы приехали на стадион, я почти успокоился. Погода была очень хорошая, народу было очень много, и, как всегда, было весело, и все волновались: выиграт «Зенит» или нет, а ему очень надо было выиграть, иначе над ним нависла, как сказал диктор, «реальная угроза» вылететь из первой подгруппы. Из-за этих волнений я перестал переживать за Алексея, а когда мы сели на места и начался матч, и Алексея не оказалось рядом на свободном месте, и мы начали орать и подбадривать наш несчастный, невезучий «Зенит», я совсем забыл обо всем... Пантюха орал и свистел так, что соседи даже шарахались, но не сердились. Между прочим, я очень люблю бывать здесь: все как будто становятся друзьями, и даже мальчишки разговаривают и спорят со взрослыми, как с равными, а если соседи и поругаются между собой из-за каких-нибудь футбольных тонкостей, то все равно в перерыве вместе идут пить пиво и уходят со стадиона друзьями.

Так мы орали и свистели, забыв обо всем, и я очень удивился, когда после одного особенно удалого свиста рядом раздался знакомый голос:

— Вот это да! Вот это соловьи-разбойники!

Я быстро повернулся и увидел Алексея — пришел все-таки, чтоб его! Алексей подмигнул мне и продолжал восхищаться Пантюхиным свистом. Тогда Пантюха тоже повернулся и сразу как будто проглотил свой свист. Он молча встал и начал протискиваться к выходу. Я растерялся, а Алексей сокрушенно развел руками. Мы догнали Юрку, когда он уже почти спустился по главной лестнице. Вот ведь упрямый черт, ну взял да пересел куда-нибудь, так нет, он совсем уходит и на футбол наплевал...

Мы с Алешей шли за ним и не решались окликнуть: такой у него был вид. Мы только переглядывались и уныло разводили руками.

Вдруг Пантюха остановился. На меня он даже и не посмотрел, а Алеше очень спокойно сказал:

— Ч-черт с вами, женитесь, если вам приспичило. Т-только, как т-ты к нам придешь, я сразу из дому уйду. П-понял?

— Юрка, ну, Юрка, — застонал Алексей, — ну зачем же ты так?

Но Юрка уже не слышал, он быстро бежал вниз по лестнице, а Алеша остался стоять, и вид у него был такой убитый, что мне стало его жалко. Вот ведь, такой здоровый, веселый

и, видно, не трусливый парень, а ничего с таким шкетом поделывать не может! Наверно, Юрка в чем-то прав, а с правым человеком очень трудно бороться. Я еще раз развел руками, Алеша печально покачал головой, и я побежал за Пантюхой. Бежал мелкой рысью и боялся.

что он мне не простит. Поэтому, даже когда догнал его, некоторое время шел за его спиной, затаив дыхание, чтобы он не слышал. А он вдруг остановился и с ходу повернулся ко мне. Глаза у него были какие-то бешеные, и он прошипел сквозь зубы:

— Т-ты ч-чего за мной беж-жишь? Может, тож-ж-е ж-жениться х-хочешь? На Лельке?

Я застыл как вкопанный, только плюнул со злости: вот осел упрямый! Юрка повернулся и уже не побежал, а пошел спокойненько своей знаменитой походочкой — ручки в брючки, кепка на носу и ногами как будто пыль подметает. «Ну и черт с тобой», — подумал я и пошел обратно к стадиону: хоть матч досмотрю. Конечно, меня не пустили обратно, и я разозлился, как собака. В довершение ко всему у меня не оказалось денег на транспорт: мы с Юркой купили мороженого, и у меня ничего не осталось. Он сказал, что заплатит за автобус. И вот... Проклиная Юрку на чем свет стоит, я пешком поплелся домой. Почти через весь город.

Тащился я, тащился пешком и от нечего делать перебирал в памяти все последние события и вот к какому выводу пришел: что мне, больше всех надо, что ли? Чего это я за всех переживаю: и за Капитанскую дочку, и за Алешу, и за Пантюху с его милицией? У меня и своих переживаний хватает. И решил я, что с сегодняшнего дня, как любит говорить дядя Юра Ливанский, когда ссорится с тетей Люкой, «надо поставить все точки над «і». Я начал ставить эти самые «точки» и подумал, что мне обязательно надо или поговорить с Наташкой, или написать ей письмо.

«Так дальше продолжаться не может, — сказал я себе. — Надо быть честным и решительным и, если ты ее лю... если она тебе нравится, то надо об этом сказать, а про Лельку забыть — это «досадная ошибка молодости», как говорил, кажется, д'Артаньян, а может быть, Атос. И совсем не обязательно про эти ошибки всем рассказывать. — И еще я сказал себе, что надо взяться за ум, а то я порядочно подзапустил школьные дела и почти забыл про спортивную школу. — Надо с этим кончать!» — сказал я себе, и мне стало легче. Но потом я подумал о том, что же может ответить мне Наташка, и пришел к выводу, что ничего хорошего она мне не может и сказать: во-первых, она строгая и серьезная, а во-вторых, что-то я не очень замечал, что она относится ко мне как-нибудь по-особенному. Ну что ж, решил я, тогда я буду вести себя, как Печорин, — гордо и загадочно, займусь основательно спортом и установлю какой-нибудь рекорд и стану учиться так, что меня наверняка возьмут в космонавты. И вот я возвращаюсь из космического перелета на Марс, и меня встречает правительство и награждает всеми какие есть орденами, и все приветствуют, а на Наташку я даже и не смотрю, и тут подходит ко мне Ольга, и мы... Тут я засмеялся: уж очень детские мысли приходят мне в голову, совсем как у Тома Сойера, не хватало мне еще помечтать о том, как я, совершив подвиг, умру и тогда Наташка поймет, кого она потеряла... и поцелует меня в холодный лоб.

Я опять засмеялся и пошел быстрее, а чтобы не было скучно, начал читать подряд все театральные и другие афиши и уже недалеко от дома увидел афишу маминого театра, в которой говорилось об открытии сезона с первого октября. Я изрядно соскучился по маме и очень обрадовался, что скоро она будет дома. Я уже говорил, что мы часто оставались вдвоем с батей, но тогда было как-то по-другому. А сейчас мы с батей здорово волновались, хотя и не показывали виду. Батя был не совсем такой, как обычно, что-то его мучило — это я хорошо видел, может быть, какие-нибудь неприятности на работе, а может быть, и другое, но он был не очень спокойный, и иногда, когда он приходил поздно, от него пахло вином, а раньше это бывало очень редко.

В общем, я обрадовался и помчался скорее домой сказать эту новость папе, но его дома не было. Я подогрел себе голубцы, поел, и лег отдохнуть, и не заметил, как заснул. Проснулся я уже вечером, и батя уже был дома, и опять от него пахло вином.

Я сказал ему, что видел афишу об открытии сезона в мамином театре.

— Хорошо, — не глядя на меня, сказал он и ушел к себе в комнату и уже оттуда спросил: — С какого числа?

— С первого октября, — крикнул я и запнулся. «Как же так, с первого октября? Ведь сегодня уже двадцать пятое сентября — значит, театр давно должен быть здесь, они всегда приезжают дней за пятнадцать — двадцать до открытия сезона, — подумал я. — Ведь им надо же подготовиться, порепетировать, не могут же они начинать сезон сразу после гастролей, с бухты-баракты, так не бывает, они уже давно приехали, но почему же тогда нет мамы? А может, не с первого октября, наверное, я ошибся?»

Ни слова не говоря, побежал на улицу, еще раз посмотрел афишу. На ней большими красными буквами было написано: «Открытие сезона 1 октября».

«Ну и что? — подумал я. — Наверно, они там загастролировались и не успели вовремя приехать. Ничего особенного. Очень может быть... А может... поезд опоздал?» — совсем уж глупо подумал я.

Я уже шел домой и повернулся посмотреть на часы на углу проспекта. Десять. Может быть, я еще застаю кого-нибудь в театре, если они, конечно, приехали. Я быстро вскочил в трамвай.

В вестибюле было темно, и у меня отлегло от сердца. Но почти сразу я сообразил, что сезон-то ведь еще не открылся, значит, и не должен гореть свет в вестибюле, и я тихонько пошел к артистическому подъезду. В проходной было светло, там сидела тетя Паша — вахтерша и, как всегда, что-то вязала.

— Что тебе, мальчик? — спросила тетя Паша. Я почему-то молчал. Она сердито посмотрела на меня и узнала. — Санечка, — запела она ласково. — Здравствуй, Санечка, — и вдруг уронила свое вязанье, и вид у нее стал какой-то растерянный и такой, как будто она собиралась заплакать. Я испугался. В коридорах за проходной я слышал голоса и смех и понял, что все уже приехали, и, когда тетя Паша так посмотрела на меня, я испугался, еще сам не зная чего.

— Уже приехали? — спросил я наконец.

— Кто приехал? — спросила тетя Паша. — Ах, артисты-то... Приехали, — добавила она.

— А... когда? — спросил я, еще на что-то надеясь.

— Что когда, что когда? — вдруг рассердилась тетя Паша. — Приехали, и всё.

Я хотел спросить, где же мама, но не успел. В проходную вышли Вася Снежков и Милочка Пыльниковы. Они часто бывали у нас, и я их хорошо знал.

— Привет, старый флибустьер! — закричал Вася. — Ты что здесь делаешь?

— Здравствуй, Саша, — сказала Милочка и потянула Васю за рукав в сторону.

Она что-то тихо говорила ему почти в самое ухо, привстав на цыпочки, а он исподлобья поглядывал на меня, и вид у него становился все озабоченней. Он тихонько кивал головой и все время посматривал на меня, а когда замечал, что я это вижу, сразу отворачивался. Я, конечно, сразу понял, что они говорят обо мне, и ужасно разозлился: тоже мне тайны мадридского двора! Почему не сказать сразу, если что-нибудь случилось... Если что-нибудь случилось... У меня, наверно, изменилось лицо, потому что Вася, взглянув на меня, вдруг быстро отошел от Милочки.

— Ты сейчас домой, Саня? — спросил он. Я кивнул.

— Ну, пойдем. Нам с тобой по пути, — сказал Вася и помахал рукой Милочке.

— Я тоже пойду, — сердито сказала Милочка. Вася пожал плечами, и мы вышли из проходной.

— До свиданья, Санечка, — пропела тетя Паша.

Мы шли молча, и я все время не решался спросить о самом главном. Все время хотел и не решался. Боялся. Мы уже подходили к трамвайной остановке, когда Вася вдруг каким-то чересчур веселым голосом спросил:

— А мама еще не приехала?

Я даже остановился от неожиданности, а Милочка сердито закашляла.

— Ну что ты задаешь дурацкие вопросы? — сказала она. — Она же еще ездит с концертной бригадой.

— Ах да! — обрадованно закричал Вася. — Совсем забыл, понимаешь... Склероз, понимаешь, старик, склероз. Вот именно, с концертной бригадой... Ну, садись, старик, вот твой трамвай, а мы с Милочкой еще прошвырнемся...

Я ничего не понимал. Что-то уж больно странно они разговаривали со мной, 'и тетя Паша как-то жалобно смотрела... Что они морочат мне голову?

Я приехал домой и сразу зашел к папе. Он спал... или притворялся, что спит, так мне, во всяком случае, показалось, но я не стал его беспокоить. Действительно, чего это я ударился в панику? Сказали же мне, что мама еще ездит с бригадой, ну и нечего волноваться. Но все же мне что-то не давало покоя. Почему же она не написала ничего, а если написала, то почему мне батя ничего не сказал? Я думал, думал и так ни до чего не додумался и, чтобы переключиться, стал думать о другом. Я стал думать о Наташке и о том, что решил поставить точки над «і». Потом я тихонько взял у бати в комнате пишущую машинку и в один присест напечатал Наташе письмо. И когда я печатал его, у меня все время вертелись слова: «И я любил, как сорок тысяч братьев любить не могут»... Они прицепились ко мне с тех пор, как в начале учебного года я посмотрел кинокартину «Гамлет». Их говорил Гамлет, когда рассказывал, как он любил свою Офелию. «Как сорок тысяч братьев...» Я понимаю, конечно, что такая любовь вряд ли бывает на свете, но уж больно это здорово сказано. Наверно, каждый, кто любит по-настоящему, так и должен говорить о своей любви. Я-то, конечно, писал вовсе не так — даже и не помню толком, что я писал, и, между прочим, не понимаю: чего это взбрело мне в голову писать на машинке — для солидности, что ли? Только когда напечатал — сообразил: просто я трусил и думал, что если напечатаю письмо на машинке и подпишусь одной буквой, то кто надо поймет, но я-то, если что, смогу всегда отказаться. Перечитывать письмо я не стал — боялся, что если прочитаю, то совсем струшу. Я сложил его в несколько раз, написал на чистой стороне «Наташе» и лег спать.

(Окончание следует.)

Николай Доризо

*

Вы наши Дымовы,
Вы физики.
Живете вы не напоказ.
Поклонницы
Не тянут листики.
Не ждут автографов от вас.
Молчат афиши и биографы
О вас, неведомых стране.
А вы.
Вы ставите автографы
Не на бумаге —
На Луне!

Сочиненье на тему

Дочке моей, Леночке.

Вот стоишь ты
В пальтишке из драпа...
Только речь моя не о тебе.
Сочиненье на тему
«Мой папа»
Было задано третьему «Б».
Тема очень проста
И понятна,
А в тетрадках пустые листки,
И молчат
Отрешенно, невнятно
Даже первые ученики.
Хоть бы слово одно или фраза!
Почему же их нет.
Этих слов!
Оказалось, почти что полкласса
На отшибе растет.
Без отцов.
Не погост, что солдатами вырыт.
Не война.
Что в смертельной крови...
Сколько их развелось.
Этих сирот.
Этих маленьких сирот любви!
Самолубий,
Характеров схватки.
Да, любовь — это бой,
Не парад.
И с пустыми листками тетрадки,
Что на траурных партах лежат
Вот стоишь ты
В пальтишке из драпа —
Боль моей непокойной души.
Сочиненье на тему
«Мой папа»,
Что б там ни было.
Слышишь, пиши!

Слова

Он провожал ее в Москве,
У пятого вагона,
И сразу,
По-мальчишески лукав.
Встречал ее в Чите,
У пятого вагона,
В «ТУ-104» поезд обогнав.
А после —
стены
общие,
немые.
Сор

Мелких ссор.
Покорная тоска.
И кухонные,
злые,
примусные
Слова.
И бигуди из-под платка.
Он в дом идет.
Ворота — как зевота.
Бранливые, ворчливые слова...
О, как мне жаль
Большого самолета,
Что намертво разбился
О слова!

Сосед

В подъезде моем многолюдном
Живет ресторанный швейцар,
Со взглядом расплывчато-мутным.
Улыбчив, услужлив и стар.
Швейцаров немало на свете.
Хороших и разных притом.
Но я говорю о соседе,
Об этом соседе моем!
Не сразу, а как бы осмелясь,
Он вдруг забежит наперед
И, словно на солнышке греясь.
Пальтишко тебе подает.
А дома яснее глазами
И, выпрямив спину свою.
Грохочет о стол кулаками.
Истошно орет на семью.
Он кормит их всех чаевыми.
Он гордость свою не щадил,—
Пускай, мол, походят такими.
Каким он на людях
ходил!
Ему бы напиться.
Подрасться,
Бесчинствовать,
Лезть на рожон,
Чтоб как-то с судьбой расквитаться
За каждый свой рабский поклон!
И логика неумолима,
И нету концовки другой:
Достаточно стать подхалимом,
И ты уже хам,
Дорогой!

Юрий Куранов

ПРИМОРСКИЕ УЛИЦЫ

Маленькие рассказы

1. Ночной город

Когда город стоит на морском берегу среди ночи и я стою перед ним на песке, на ласковой кромке прибоя, я слышу, как в парке замирает оркестр, как гремят кастрюли на грузовых судах и повар выливает в море остатки супа; и как что-то важное рассказывает на площади городу репродуктор мужским голосом, и как танцуют пассажиры на ярко освещенном теплоходе, и как опускают железные ставни и на замок запирают магазины, и как невдалеке уходит спать на крышу молодая женщина и долго поет там какой-то счастливый томительный напев. И я сам ложусь на берегу и засыпаю (в этом давно мне знакомом городе) под аромат цветущих мандаринов.

Во сне я вижу этот город. Он стоит, как юноша, на морском берегу, надо мной, и покачивается от сладкой дремы, но не спит. Он прислушивается ко всей этой музыке, к тихому шелесту волн и к пению женщины. Он стоит в легкой куртке, в своей клетчатой кепке с небольшим козырьком и сонно потягивает сигарету. А я уже забыл, как его зовут, и вспомню только утром, когда проснусь. А сейчас я смотрю на него и в уме подбираю ему имя: Владивосток, Гавана, Бомбей, Александрия...

А он глядит на меня из-под своего маленького козырька, и ухмыляется знакомой улыбкой, и покачивается на ветру, будто тоже подбирает мне имя.

2. Прибой

Над городом опадают платаны, и берег усыпан этими широкими листьями, И высокий, сверкающий прибой. Дышится легко. Прохладно. Люди сидят вдоль бульвара. Кто читает газету, кто смотрит в море, а кто просто о чем-то думает.

Прибой смывает с берега листья, но не уносит их в море, а только раскачивает.

И девушка купается у берега. Вернее, не купается, а стоит то по колено, то по грудь в прибое. Она стоит спиной к морю и все ждет, когда прибой смахнет с берега лист платана.

И тогда девушка бросается и ловит этот лист руками в шуме и в брызгах.

3. Ветер

Девушка и старик сидят на скамейке. Девушка читает книгу, а старик что-то потихоньку напевает. Потом он вынимает из кармана газету, разворачивает ее и тоже принимается читать. Вдоль парка дует ветер, он то и дело вырывает газету из рук старика и бьет ее раскрытыми страницами в книгу, которую читает девушка.

— Папа! — говорит девушка.

— Подожди, — говорит старик.

Летят вдоль парка легкие осенние листья, а эти двое продолжают читать.

— Папа, ты мне мешаешь, — говорит наконец девушка.

— Ты мне тоже когда-то мешала, но я тебе ничего не говорил.

— Я ведь была тогда маленькая и ничего этого не помню, — говорит девушка и заглядывает старику в лицо.

Старик поднимает глаза на дочь, улыбается, и оба они продолжают читать.

4. На открытой эстраде

На открытой эстраде парка несколько молодых людей ставят декорации. Они громко переговариваются и стучат молотками. Голоса и стук молотков громко отдаются под

высоким навесом эстрады. Ветер сдувает с пустых скамеек амфитеатра старые билеты и серебряные бумажки от эскимо.

Молодые люди привезли свой самодеятельный спектакль из приморского поселка. Они работают быстро, каждому хочется побродить по городу. Остается только собрать дилижанс, над которым трудятся двое — юноша и девушка. Они трудятся очень внимательно, а ничего у них не получается.

— Скоро вы? — спрашивают остальные.

— Да кто его знает, — отвечает юноша.

— А вы идите пока, — говорит девушка. И все уходят.

Оставшись одни, юноша и девушка быстро собирают дилижанс. Юноша садится на подножку дилижанса и закуривает. Девушка останавливается рядом, возле березы. На березе голые ветви, а на ветвях небольшие комья ваты, чтобы вечером зрители поверили, что на сцене наступает зима. Девушке жарко. Она прислоняется к березе спиной и обмахивается платочком. Юноша курит.

— Все разошлись, — говорит девушка, вздохнув.

— Мне не хочется что-то идти в город, — говорит юноша.

— Да и мне. Не то устала, не то просто жарко...

— Катя... Девушка молчит.

— Катя, давно хочу с тобой поговорить...

— Зачем это, Виктор? Ты же знаешь, что я давно уже знакома с Олегом и он меня любит.

— Катя, но я уверен, что ты его не любишь. Зачем тогда тебе так нравится, когда мы вместе? Я ведь вижу.

— Это тебе кажется, Виктор. — Девушка подходит и кладет руку ему на голову. — Мне просто хорошо с тобой. Мы ведь просто хорошие друзья! Правда?

— Но ты ведь сама прекрасно знаешь, что это не так, — говорит юноша. Он встает и обнимает девушку за плечи. Девушка не отстраняется, она просто стоит, опустив голову и глубоко дыша.

В это время раздаются аплодисменты. На задних рядах сидят несколько человек. Пожилая женщина с мощными открытыми руками и с огромным деревянным браслетом, похожим на хомут. Мальчик в майке, в трусах и со стаканчиком фруктового мороженого. Три моряка в белых форменках и с гитарой. Старый толстый низенький мужчина с толстым носом, с толстыми ушами, в белом расстегнутом пиджаке, под которым виднеется волосатая толстая грудь. Все громко хлопают. А мужчина одобрительно улыбается. Тоже хлопает, потом поднимает руку и повелительно произносит:

— Отлично! Отлично, дети мои! Повторите-ка еще эту сцену. Я как зритель кое-что вам подскажу. Не вставайте спиной...

Юноша и девушка мгновенно краснеют и бросаются со сцены. Они убегают в глубину парка, держась на бегу за руки.

5. Девушка города

В центре города строят дом. Рабочие стоят на площадках и ловят руками тяжелые белые плиты, которые с неба опускает к ним монтажный кран.

По городу идут иностранцы. Они несут цветы. Один из них останавливает на мостовой девушку и подает ей большую белую розу. Девушка берет розу, улыбается иностранцу и слегка кивает ему головой в знак приветствия.

— Передайте ему, — сказала девушка переводчику, — что я очень хотела бы отблагодарить его таким же образом, но у меня под рукой нет цветов.

Иностранец выслушивает переводчика и что-то говорит ему.

— Он думает, что это не страшно. В знак благодарности вы можете показать ему самое что ни на есть прекрасное в вашем городе, — сообщает переводчик.

— Пойдемте, — говорит девушка и ведет иностранца к дому, которые строят рабочие.

Все поднимаются на площадку, где ставят стены. Посреди площадки стоит молодой рабочий и, подняв руку и поводя ею в воздухе, командует крановщику.

— Вот, — говорит девушка и подходит к рабочему.

— Кто это? — спрашивает иностранец через переводчика.

— Человек, которого я люблю, — отвечает девушка.

Я. Варшавский

КОГДА ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОБМАНЫВАЮТ...

«Если ты хочешь наслаждаться искусством, то ты должен быть художественно образованным человеком». Это слова К. Маркса.

Быть художественно образованным человеком — это значит усвоить много знаний об искусстве, хорошо в нем разбираться и, в частности, идти от первоначальных эстетических впечатлений к более углубленным, к мнению взвешенному, оценкам более основательным.

Народ чутко оценивает все талантливое, честное, неподдельное в искусстве. Каждый из нас, однако, должен помнить: случается, что мое личное первое впечатление от нового произведения искусства, быстро сложившееся мнение о нем бывает и опрометчивым. Мы многое должны узнать об истории искусства, понять его природу, особенности образного мышления, чтобы верно, глубоко судить о труде художника. Богатства искусства необозримы, но не всегда легко доступны.

Сколько раз ты, дорогой читатель, перечитывал «Евгения Онегина», «Войну и мир»? Не замечал ли ты при этом, что словно впервые прочитывал некоторые страницы: находил очень важное, прежде вовсе не обращавшее на себя внимание, или воспринимал знакомое совсем не так, как в первый раз?

Книга все та же, но ты сам меняешься, становишься взрослее во всех отношениях — в том числе и в восприятии образной речи.

Издательство «Искусство» подготовило к выпуску в свет книгу кинокритика Я. Варшавского «Жизнь фильма». Эта книга о художниках-новаторах и зрителях-первопроходцах, о судьбах произведений искусства, о некоторых все еще загадочных сторонах эстетики.

Вот завязка этого разговора с читателем-зрителем.

Предыстория одного триумфа

Обычно мы довольны собой как зрителями. Мы считаем первые же свои впечатления от нового произведения искусства самыми верными. Но как часто они нас обманывают!

...Минск, лето 1960 года. Идет всесоюзный кинофестиваль. Валентину Ежову и Григорию Чухраю присуждаются высокие награды за «Балладу о солдате». Москва, весна 1961 года. Авторы «Баллады» удостоены Ленинской премии. Фестивали в Канне, Риме, Сан-Франциско — фильм получает новые и новые призы и дипломы. Тридцать шесть международных наград! Успех поразительный. Алеша Скворцов и его подруга прошли по экранам всех стран как воплощение чистой, доброй и самоотверженной юности. Теперь для миллионов зрителей многих стран мира советский солдат — это светлоглазый Алеша Скворцов.

Кажется, можно сказать: большое искусство сразу становится всем понятным и близким, пример тому — «Баллада о солдате» и ее кругосветный успех.

Теперь перекинем листки календаря в обратную сторону.

Июнь 1958 года. Ежов и Чухрай только что закончили сценарий «Баллады» и явились с ним к своим товарищам, режиссерам и сценаристам, в одно из творческих объединений

«Мосфильма»; у сценария нет истории, никто еще не знает, хороший он или плохой, талантливый или бесталанный.

Однажды я случайно обнаружил в одном из шкафов «Мосфильма» стенограммы первых обсуждений сценария. Находка изумила меня — начало жизни «Баллады» запечатлелось в этих папках со всеми давно забытыми подробностями. Во всей научной достоверности.

Итак, идет первый обмен мнениями, впечатлениями, и первые читатели, как это обычно бывает, дают доброжелательные советы художникам. Одни решительно поддерживают «Балладу». А другие говорят:

надо убрать из названия слово «баллада» как неподходящее;

лучше снять посвящение памяти солдата, как наводящее грусть;

не надо матери солдата выходить на дорогу, вспоминая о сыне, — ведь после войны прошло столько лет;

пусть авторы не посягают на художественное обобщение — будет лучше, если рассказанная ими история останется как бы частным случаем — мало ли что бывает в военные годы;

хорошо бы сделать так: солдат возвращается на фронт не из-за окончания срока отпуска, а потому, что он сознает необходимость срочно вернуться на передовую;

не надо показывать, что транспорт в те дни работал плохо — он работал хорошо;

не следует Алеше спешить домой для починки крыши родного дома;

не лучше ли взять в качестве мотива поведения Алеши в начале сценария вот что: он связист, но подбил танки, не дав знать пехоте, что танковая часть идет на прорыв, и потому безумно боится наказания...

Может быть, на встречу с Чухраем и Ежовым пришли случайные, слабо подготовленные, эстетически не развитые читатели? Нет, все эти впечатления высказаны опытными кинематографистами, заботливыми и, безусловно, доброжелательными товарищами по студии.

Папки из музейного шкафа позволяют восстановить истинный ход важных для судьбы художественного произведения событий, уже неразличимых в дымке прошлого.

А говорят, что первые впечатления самые свежие и точные.

Возможно объяснение: одно дело, мол, сценарий, другое — фильм, в сценарии не всегда можно распознать будущее произведение экранного искусства.

Посмотрим, как складывалась история фильма.

Зрители увидели его летом 1959 года. Он продержался на экранах два дня. Из-за «неуспеха» фильм был снят с проката — и надолго.

Не сразу «Баллада» вернулась на экраны, не сразу стала гордостью нашей послевоенной кинематографии.

Странные случайности

Когда мы хотим привести пример всеобщего признания художественного шедевра, на память обязательно приходят «Броненосец «Потемкин», «Чапаев». Вот уж действительно фильмы, завоевавшие общую любовь, они участвуют в наших раздумьях, спорах; это своего рода мера художественной правдивости, простоты, ясности. И все же...

«Я помню, как реагировал Балтийский флот на появление «Броненосца «Потемкина», — писал Всеволод Вишневский в широко известной статье «Как создавался фильм «Мы из Кронштадта». — В журнале «Красный флот» появилась статья штурмана Н. Рыбакова, который сухо критиковал этот изумительный фильм с военно-морской и технической стороны. Автор требовал натуралистического уставного режима в фильме».

Владимир Маяковский в 1927 году на диспуте говорил, что работники тогдашнего проката, просмотрев «Потемкина» в первый раз, пустили фильм на вторые экраны, и только после громового всемирного резонанса фильм был выпущен на первые экраны.

В дневнике А. Довженко записано, как однажды подошел к нему Демьян Бедный и с сожалением сказал, что после первого просмотра «Земли» не понял этот гениальный фильм и жалеет, что поторопился написать о нем. Тот фельетон Д. Бедного о «Земле» причинил острую боль Александру Петровичу Довженко.

В мае 1964 года, через тридцать лет после премьеры «Чапаева», в редакцию журнала «Искусство кино» пришло письмо зрителя В. М. Никабидзе, решительно возражающего против этого фильма, особенно против его финала: «Гражданская война окончена, победила Красная Армия, а в «Чапаеве» мы видим поражение, гибель командира и победу белых. Временную победу белых не следовало возводить в принцип и на этом строить фильм.

Разве нельзя было допустить свободную литературную обработку повести Д. Фурманова или взять эпизод, где Чапаев не гибнет, а побеждает?»

Дальше автор обрушивается на «Тихий Дон» за клевету на русскую женщину. Затем на Шекспира. «Ведь «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Макбет» и «Отелло» — это горы трупов, море слез, океаны человеческих страданий. Где же тут гуманизм?

Трагедии Шекспира на протяжении веков являлись прекрасным пособием¹ для всякого рода проходимцев, жаждущих высшей власти или захвата чужого имущества. По моему, все фильмы на сюжеты трагедий Шекспира следует сжечь, а пепел развеять при сильном ветре».

Думаю, автор письма судил о Шекспире и его трагедиях именно по первым впечатлениям...

Обычно мы относимся к таким письмам, как к курьезам, отшучиваемся или сердимся. Да, они курьезны, но откуда все-таки эти курьезы? И почему их так много?

Даже человек образованный, знающий, каких усилий требует овладение современной культурой, нередко полагает, что к искусству это не относится. Для штурма науки, мол, нужны знания, и они приобретаются огромными усилиями, а искусство обязано обслуживать тебя по первому требованию, не затрудняя, а ты лишь принимаешь или отвергаешь его услуги — в этом твоя роль.

Что ж, искусство и в самом деле готово служить тебе, открыть все свои богатства, но ты-то готов ли отличить сокровища от безделушек, которые изготавливаются порой так ловко и в необозримых количествах?

Есть, впрочем, необходимость сказать о «первых впечатлениях» в более широком смысле — о неизбежных столкновениях вкусов уходящих с нарождающимися.

Продедаем опыт: изберем тот момент, когда зритель встречается с новым большим художником, и посмотрим, как воспринимается новизна в искусстве.

Обратимся, ради прозрачности опыта, к самому ясному искусству и самым проницательным и образованным зрителям-читателям.

Драмы творчества

Однажды Антон Павлович Чехов получил такое письмо: «Вы знаете, как высоко я ценю Ваш талант, и знаете, как вообще люблю Вас. И именно поэтому я обязан быть с Вами совершенно откровенен. Вот Вам мой самый дружеский совет: бросьте писать для театра. Это совсем не Ваше дело».

Маленькое деликатное письмо — но ведь это попытка убить драматурга! Это — покушение на «Чайку», «Трех сестер», «Дядю Ваню», «Вишневый сад»!

Какие драмы надвигаются на художника, когда он испытывает необходимость писать не так, как писали вчера!

Покушался на драматургию Чехова Александр Павлович Ленский. Не какой-нибудь литературный стародум, не обыватель, которому претит все непривычное, не случайный

зритель, самоуверенно считающий себя вправе поучать художника, а Ленский — самый образованный, самый передовой театральный деятель конца века, корифей Малого театра, прекрасный актер и умный режиссер, стремившийся обновить репертуар сцены, — его называли предтечей Станиславского и Немировича-Данченко. Вот кто написал эти убийственные строки, в которых сквозит располагающая к себе взыскательная и бескомпромиссная доброта. Письмо прочитал уже широко известный, всеми любимый и уважаемый прозаик.

Но Чехов не исполнил и не мог исполнить совет Ленского. Он написал и отдал императорскому Александрийскому театру «Чайку».

И вот осень 1896 года. Похоже было на то, что Ленский прав...

Мария Павловна Чехова приехала в Петербург на премьеру «Чайки».

«Брат встретил меня на вокзале. Меня тут же на вокзале поразила его угрюмость. На его лице было ясно написано, что все уже потеряно, что ничего для него больше не существует. «В чем дело?» — с тревогой спросила у брата. «Не знаю, что мне делать, — отвечал он, — ролей совсем не знают. Меня не слушают и не понимают»...

Провал спектакля был тяжкий. «Театр дышал злобой, воздух сперся от ненависти...» — писал Чехов об этом нестерпимо болезненном для него дне.

Надо иметь в виду, что на премьеру «Чайки» пришла, как обычно, самая искушенная столичная публика, и тем не менее разразилась катастрофа; и театр и зрители не поняли драматурга. Только через два года, в другом театре «Чайка» прославилась как новое слово в русской драматургии.

«Ненужные диссонансы»

Вот другая — тоже загадочная на первый взгляд — история. Лев Николаевич Толстой говорил однажды в семейном кругу о композиторах-современниках: «Когда слушаешь их, иногда кажется, что вот-вот начнется что-то хорошее, мелодичное, но не успеет это хорошее начаться, как оно уже кончилось и потонуло в непонятных и ненужных диссонансах. Композитор мучает слушателей этими диссонансами, пока опять не проблеснет что-то понятное и опять потонет. Остается неудовлетворенное, беспокойное впечатление».

Так говорят теперь иногда о «трудных» композиторах наших дней, чья музыка кажется некоторым слушателям бессмысленно сумбурной. Но Толстой имел в виду Листа, Вагнера, Берлиоза, Брамса и Рихарда Штрауса!

В наши дни, если мы хотим привести пример всем доступной, необыкновенно красноречивой музыки, полной всем понятного и близкого содержания, мы называем как раз эти имена. Когда авторы фильма «Прелюдия славы» искали музыку, способную увлечь любого зрителя, они остановились на лнстовских «Прелюдах».

«Ракоци-марш» Берлиоза — теперь с детства всем понятная (даже навязшая в ушах) музыка, ее исполняют уже главным образом на симфонических утренниках. Что уж говорить о рапсодиях Брамса, о популярных вещах Вагнера и Рихарда Штрауса! Не проходит дня, чтобы не прозвучало что-нибудь из их хрестоматийной музыки на радио, по телевидению, на домашних проигрывателях — что-нибудь из того, что еще так недавно казалось «непонятным и ненужным» Льву Толстому.

А ведь Толстой был прекрасным знатоком музыки.

Есть люди, невосприимчивые к так называемой серьезной музыке из-за пробелов в музыкальном образовании. Но Толстой любил музыку восторженно, много и блестяще писал о ней, сам превосходно играл на рояле.

... Впрочем, посмотрим, как понимали самого Толстого читатели-современники. Возьмем опять-таки читателя, хорошо образованного и чуткого.

Плохой, скучный и неудачный роман

В 1865 году Иван Сергеевич Тургенев прочитал первые двадцать восемь глав «Войны и мира». И вот что написал он одному из друзей:

«...Роман этот мне кажется — положительно — плох, скучен и неудачен. Толстой зашел не в свой монастырь — и все его недостатки так и выпятились наружу. Все эти маленькие штучки, хитро подмеченные и вычурно высказанные, мелкие психологические замечания, которые он под предлогом «правды» выковыривает из подмышек и других темных мест своих героев — как это все мизерно на широком полотне исторического романа! И он ставит этот несчастный продукт выше «Казаков»! Тем хуже для него, если это он говорит искренно. И как это все холодно, сухо — как чувствуется недостаток воображения и наивности в авторе, — как утомительно работает перед читателем одна память, память мелкого, случайного, ненужного. И что это за барышни! Все какие-то золотушные кривляки. Нет, эдак нельзя; эдак пропадешь, даже с его талантом».

Позже он пишет о продолжении романа: «как это все мелко и хитро, и неужели не надоели Толстому эти вечные рассуждения о том, — трус, мол, ли я или нет — вся эта патология сражения?»

СУХО, БУДНИЧНО, НЕ ПОЭТИЧНО — так воспринимается поначалу «Война и мир» Тургеневым.

Самый ясный художник, самый чуткий читатель...

Любопытно, как воспринимал Тургенев — человек тоже очень музыкальный и тесно связанный с миром музыки — творчество Чайковского. В 1878 году Тургенев гостил у приятеля в Англии. Здесь ученый музыковед сказал ему, что Чайковский — самая замечательная музыкальная личность того времени. «Я рот разинул», — кратко сообщает по этому поводу Тургенев.

Может создаться впечатление, что Тургенев вообще был невосприимчив к чужому творчеству, брюзглив, несправедлив. Но его статьи и письма полны изумительно тонких наблюдений и критических оценок.

Правда, лишь в том, что касается близких ему по духу, по традиции вещей!

Теперь попытаемся установить, как читался и как воспринимался поначалу сам Тургенев — писатель, как мы теперь считаем, кристально ясный.

«Меня не поняли!» — горестно замечает ошеломленный Тургенев, узнав, как приняли русские студенты, учившиеся в Гейдельберге, его шедевр «Отцы и дети».

Вот краткая история этого конфликта с читателями.

Однажды И. С. Тургенев познакомился в поезде с молодым провинциальным врачом Дмитриевым. Его поразили в этом молодом человеке черты, которые потом получили название нигилизма. «Нигилисты», молодые отрицатели отживших порядков, давно занимали писателя. Но долго Тургенев не решался писать о них. «Меня смущал следующий факт: ни в одном произведении нашей литературы я даже намек не встречал на то, что мне чудилось повсюду; поневоле возникало сомнение: уж не за призраком ли я гоняюсь?»

Он все же написал Базарова, и написал с любовью. Но в этой фигуре даже демократическая читающая публика увидела «грубость, бессердечность, безжалостную сухость и резкость», к крупнейшему огорчению писателя. И Тургенев решил довести до сведения студентов, что они попросту не поняли роман. «Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная — и все-таки обреченная на гибель, — потому что она все-таки стоит в преддверии будущего...» А читатели были возмущены тем, что писатель, по их мнению, целиком на стороне «дворянских отцов», против разночинных «детей», против Дмитриевых-Базаровых.

Тургенев думал о Базарове, об одном из любимейших своих героев, так: «...за исключением воззрений Базарова на художества, — я разделяю почти все его убеждения. А меня уверяют, что я на стороне «Отцов!»»

Этот восклицательный знак — знак изумления и писательской печали — поставлен Тургеневым, видимо, в большом волнении.

Все эти истории извлечены не из каких-нибудь редких литературных документов, для этого не понадобились искусные изыскания в духе Ираклия Андроникова. Источники общедоступны. Смешные на наш нынешний взгляд рассуждения Тургенева о «золотушных кривляках» можно найти в собрании его сочинений, вышедшем недавно трехсоттысячным тиражом. Но такова уж сила инерции: с годами названия прославленных книг, спектаклей, фильмов как бы покрываются позолотой, и такой прямой, легкой, накатанной представляется дорога художественного шедевра к читателю — зрителю — слушателю...

Не стану напоминать об огорчениях Гоголя после первого представления «Ревизора», после выхода в свет «Мертвых душ». Было множество явных общественных причин для непонимания или превратного, крайне обидного для писателя понимания его великих творений, — об этом мы помним со школьных уроков. Помним не только о травле Гоголя реакционерами, но и о том, как невыносимо плохо понимали его люди театра, то есть художники, близкие ему люди.

Вот что писал о Гоголе С. Аксаков. Напомню, что Аксаков в высшей степени почитал Гоголя. И все-таки вот его признание: «Во всем круге моих старых товарищей и друзей, во всем круге моих знакомых я не встретил ни одного человека, кому бы нравился Гоголь и кто бы ценил его вполне. Даже никого, кто бы всего прочел!.. Вот, например, Владимир Иванович Панаев, тоже старый мой товарищ, литератор и член Российской академии... вдруг спрашивает меня при многих свидетелях: «А что Гоголь? Опять написал что-нибудь смешное и неестественное?» А вот два тайных советника. Боже мой, что они говорили, как они понимали его — этому трудно поверить!»

Может быть, существует некий закон первоначального непонимания художественного шедевра?

Ничего подобного. Такой «постулат» порадовал бы шаманов «непонятного искусства», точнее, лжеискусства, темнящих по той простой причине, что свет обнаруживает их вопиющую несостоятельность. Рядом с каждым примером «непонимания» можно поставить пример быстрого, иногда фантастически быстрого успеха большого искусства у современников.

На следующее утро

И такие истории можно считать не менее классическими, чем провал «Чайки». Незадолго до Французской революции 1789 года в Париже, в театре Комедии, была поставлена (после нескольких лет цензурного запрета) «Женитьба Фигаро» Бомарше. Публика «третьего сословия» восторженно встретила своего героя — севильского парикмахера, взявшего верх над аристократом в поединке ума и характера.

Наполеон говорил, что пьеса Бомарше разбудила революцию.

В памятный всей России зимний день 1837 года корнет лейб-гвардии гусарского полка Лермонтов, узнав о смерти Пушкина, написал свое стихотворное проклятие убийцам. Друг Лермонтова Раевский принес эти стихи в приятельскую компанию, и они в тот же вечер «переписывались в несколько рук», отмечено очевидцем.

И сразу же лермонтовский стих прогремел по всей России, как колокол на башне вичевой.

«Накануне» Тургенева вызвало большие споры среди читателей. Но вот его же «Записки охотника» стали популярными, всеми любимыми и почитаемыми с молниеносной быстротой. Огромный успех пришел сразу же, как только вышла из печати эта книга, обращенная против крепостничества.

Так же необыкновенно быстро вошла в жизнь, в пролетарскую революцию «Мать» Горького.

Революционные моряки, шедшие на штурм Зимнего дворца, распевали песенку:

Ешь ананасы, рябчиков жуй,

День твой последний приходит, буржуй.

Эти строки сочинил Владимир Маяковский в кабаре «Привал комедиантов», где собирались остатки петербургской знати. С непостижимой быстротой строки проникли из барски-богемного «Привала комедиантов» на улицы и участвовали в штурме Зимнего.

«Стихи о советском паспорте» знает в наши дни каждый школьник.

А вот «Флейта позвончик», «Облако в штанах» все еще пробивают себе дорогу к миллионным кругам читателей. И пробьют.

Большое искусство непременно становится всем понятным, близким, дорогим — в этом его суть и предназначение. В этом его отличие от манерной вычурности, от подделок, от шаманства и юродства близ искусства.

А все же казусов непонимания множество, и они не безобидны. Можно было бы сказать: «Мнения разделились: одному фильм понравился, другому не понравился, что тут плохого?» Ничего плохого! Великолепные бывают споры в искусстве и об искусстве — они двигают вперед и художника и зрителя, помогают сделать шаг вперед в художественном развитии всего человечества. В особенности тогда, когда побеждают умные, здоровые, талантливые вкусы. Тогда и непонимающий либо начинает понимать, либо хотя бы говорит, что понимает, постарается понять!

Всегда в движении

Прояснение всех этих бесчисленных непонятностей в том, что искусство не стоит на месте, не повторяет себя. Художественное развитие человечества — это новые и новые открытия красоты в мире, в людях. Художник открывает красоту в том, что еще недавно представлялось будничным, прозаичным, казалось недостойным внимания художника; в том, что еще вчера было вне поля зрения искусства, но множило силы человека, несло ему желанное.

Лист, Вагнер, Берлиоз, Брамс, Рихард Штраус слышали в жизни те мелодии и созвучия, которых не слышали, не замечали, не могли выразить художники других времен. И вот в их музыке даже гениально восприимчивый Толстой находит одни только ненужные диссонансы. Снова и снова повторяется все та же трагикомедия творческих открытий.

Любопытно, как часто возвращаются упреки: «диссонанс», «мелочность», «грубость». То, что не отвечает отживающей эстетике, непременно кажется грубой прозой.

Тяжкие грехи против эстетики померещились некоторым из первых читателей-зрителей «Баллады о солдате». Не потому, что они были настроены недоброжелательно. Нет, они ждали другого героя и других картин жизни — все из-за той же эстетической инерции. Они не хотели замечать среди людей тыла слабую женщину, не справившуюся с одиночеством и страхом. За это же досталось от многих зрителей и героине прекрасного фильма Виктора Розова, Михаила Калатозова и Сергея Урусевского «Летят журавли» — Веронике — Т. Самойловой.

На дискуссиях о фильме Калатозова — их было много, и проходили они в накаленной атмосфере, теперь это почти забыто — раздавались голоса о том, что художник не должен, не имеет права ставить в центре произведения женщину, которая однажды оказалась не на высоте. А потом все, пожалуй, поняли: Вероника — это трагический образ времени, когда подчас и сильные, и чистые, и честные люди делали непоправимые ошибки. Она не компрометирует — она объясняет свое время.

Художники вновь увидели поэзию действительности в том, что есть, было, а не в том, что хотелось бы видеть. Искусство снова делало шаг вперед.

И это только одна сторона никогда не прекращающегося обновления искусства.

Зритель-новатор

Здесь приведено немало примеров непонимания художника, но можно привести столько же примеров во славу зрителя-новатора, примеров его великолепной проницательности и дружеского участия, не знающего промедления.

Когда провалилась «Чайка» и Чехов терзался в одиночестве, почтальон принес ему письмо:

«Многоуважаемый Антон Павлович! Вас, быть может, удивит мое письмо, но я, несмотря на то, что утопаю в работе, не могу отказаться от желания написать Вам по поводу Вашей «Чайки»... Я слышал..., что отношение публики к этой пьесе Вас очень огорчило... Позвольте же одному из публики, — быть может, профану в литературе и драматическом искусстве, но знакомому с жизнью по своей служебной практике, — сказать Вам, что он благодарит Вас за глубокое наслаждение, данное ему Вашей пьесой...» И дальше в письме шло подробное, умное, тонкое толкование пьесы.

Это было письмо от А. Ф. Кони. Чехов ответил зрителю прекрасным письмом-благодарностью, кончавшимся так: «Я теперь покоен и вспоминаю о пьесе и спектакле уже без отвращения».

Слава таким художникам-новаторам и зрителям-новаторам!

Герои-комсомольцы

Вчера мне позвонили из Киева и сказали: «Старик, умер твой друг; мы похоронили его, нашего Лешку Бульгу...»

Ему было 26 лет. Он был физиком. Он приходил ко мне по вечерам, почерневший, вымотанный, и жаловался на шефа, который, конечно же, ретроград и заставляет терять время на кандидатскую. Время, которого не хватает, которого попросту нет! Ему дали маленькую группу — три человека — и «бросили» на одно из белых пятен; тех пятен, что чуть ли не ежедневно вдруг появляются в давно обжитых владениях этих загадочных людей — физиков.

Лешка прокладывал первый след по целине, но никогда не рассказывал о своей работе: не имел права. И мы говорили о стихах; Лешка писал их на родном украинском языке. От стихотворства к поэзии он пробился недавно, стихов было немного, но они поражали какой-то пронзительностью. Когда я слушал их, мне казалось, что в воздухе звучит высокая, щемящая нота; казалось, что вот-вот должно что-то произойти. Наши друзья — русские поэты —

несколько раз брались их переводить, бились над ними, но всякий раз отступали: что-то неуловимое, стоявшее за словами, ускользало...

И вот он умер. Рак. Возможно, это профессиональное — мало ли что там у них могло случиться... Знаю, еще долго я не смогу до конца осмыслить его смерть. Буду думать, что где-то он есть, что в любую минуту может открыться дверь и войдет он, мой Лешка, усталый, неторопливый, но успевающий невероятно много; успевший в двадцать шесть лет сделать много добра, отдавший людям все, что у него было. Отдавший людям жизнь...

Смерть может стать вершиной, озарить особым светом всю жизнь человека, войти в эту симфонию полнозвучным заключительным аккордом. Смерть может пройти незамеченной, как жизнь, и тогда-то возникает сакраментальный вопрос: а был ли Иван Иванович?

Я не собираюсь возводить своего Лешку в ранг святых, устанавливать на иконостасе еще один лик. Это неблагодарный труд: героев создает история, а не публицисты. Но вспомнил я своего друга не случайно. Если подвиг — это вершина жизни, взойти на нее Лешка смог бы. И в этом все дело.

Эти записки — отнюдь не комментарий к тезису: «В жизни всегда есть место подвигу». Для тех, кто не способен на подвиг, места для него нет нигде. Даже на войне, даже при защите Отечества.

Не хочется заниматься досужей статистикой и высчитывать, кого у нас больше: настоящих ребят или пустых, беспринципных пижонов. Мы оптимисты, мы верим, что в человеке больше хорошего, активно хорошего, даже у тех ребят, кто сейчас мается без путеводной стрелки. Но вот что характерно.

Стоит поговорить с любым из них, — каждый, не задумываясь, утверждает, что, окажись он в условиях исключительных, о-го-го каких дел понаделает! Ах, на что я, мол, способен!.. Так ли это?

Без веры в себя нельзя. Вера, говорят, сдвигает горы. Но только ли в ней дело?

Великие моралисты всех времен любили изучать биографии героев, докапывались до малейших деталей: искали истоки подвигов. И в огромном большинстве случаев оказывалось, что высочайшие вершины покоряли именно те, кто к этому готовился.

Бесспорно, подвиг может быть делом случая, следствием стечения обстоятельств или вспышки отчаяния, когда в одной точке, как в фокусе, вдруг концентрируется вся энергия человека, и происходит взрыв... Но согласитесь, что во сто крат больше шансов подняться на Джомолунгму у того, кто закаляет волю и тело, кто тренируется в альпийских лагерях, кто ходит на штурмы и меньших вершин, готовит себя к подвигу, чем у того, кто очертя голову отчаянно бросается ввысь без подготовки: на пари, или из принципа, или даже если это необходимо...

Передо мной маленькая папка — 30 открыток с портретами комсомольцев. Девять из них вы видите на обложке (изд-во «Советский художник», сост. В. Шмитков, худ. А. Годов и Е. Соловьев, тираж 70 000). Еще недавно на пленуме ЦК ВЛКСМ космонавт Ю. Гагарин говорил: «По-моему, мы незаслуженно забываем тех людей, которые своим беспримерным героизмом вписали в историю нашего государства золотые страницы. Мы мало рассказываем молодежи о подвигах гражданской войны, о строителях первых пятилеток... открытки с портретами и описанием подвигов героев найти невозможно». Теперь пробел восполняется. Это первый выпуск. Очевидно, вскоре следует ждать остальные. Начато хорошее дело. Конечно, на качестве работ художников и сопроводительных текстов отразилась спешка или — можно сказать и так — оперативность. Но речь сейчас не об этом.

Перебираю открытки.

Комсомольцы... Разными были их судьбы, разными были дела, а вот история поставила их в один ряд... Те не прожили и двадцати лет, эти — двадцать пять, тридцать. Трое и сегодня здравствуют: комсомолка-ткачиха, работавшая на самом большом ткацком комплексе, Евдокия Виноградова; первая девушка-комсомолка и коммунистка Дагестана Тэту Булач; ученик и товарищ Алексея Стаханова, лучший забойщик Донбасса Дмитрий Концедалов.

Но какими путями ни вела бы их судьба, читая сухие строчки «жизнеописаний», убеждаешься: их взлет не случаен, они готовили себя к трудному восхождению, отдавали этому все силы и, когда пробивал их час, делали невозможное для других, для них — естественное.

Вот матрос Железняк (Железняков). Тот самый, про которого в песне поется, что он похоронен в степи под Херсоном, где высокие травы и курган. Для многих он только романтическая легенда. А ведь он был!..

В «Записных книжках» писателя Юрия Олеши есть о нем такие строки:

«Я знал интеллигентного матроса, который, говоря со мной о коммунизме, привлек в качестве метафоры синюю птицу счастья из Метерлинка, — Анатолия Железнякова, того самого матроса, которому был поручен разгон (так сказать, техническое его исполнение) Учредительного собрания. Он, как известно, подошел вдруг к председательствовавшему Чернову и сказал:

— Пора вам разойтись. Караул хочет спать.

...Он был очень красивый человек, Железняков, светлой масти, утонченный, я бы сказал — в полете. Он был убит на Дону в битве с Деникиным, убит в то время, когда, высунувшись из бойницы бронепоезда, стрелял из двух револьверов одновременно. Так он и

повис на раме той амбразуры, головой вниз и вытянув руки по борту бронепоезда, руки с выпадающими из них револьверами. Это мне рассказывал очевидец».

Он погиб в 24 года. Но еще при жизни ходили о нем легенды. И не только потому, что он был бесстрашен, находчив, стрелял без промаха. Двадцатилетнего Железнякова царская охранка справедливо считала опаснейшим революционером-организатором. Его приговорили к 14 годам каторжной тюрьмы, держали в знаменитых «Крестах» — знали, с кем имеют дело. Но он бежал и оттуда...

Не только Юрия Олешу — многих современников поражал этот парень, с юношеских лет посвятивший себя революции. Его интеллект, целеустремленность и воля сочетались необыкновенно. Он успевал везде: принимал участие в штурме Зимнего, в Октябрьских боях в Москве, был делегатом II съезда Советов (в то же время не оставляя своей активной деятельности в Центробалте)... Потом фронты — и легенды, которые уже тогда предшествовали его появлению.

А Таня Соломаха прожила еще меньше — 20 лет. Интеллигентная девушка, мягкая, застенчивая; о ней можно писать бесконечно: о перекристаллизации, которая в ней происходила, о поисках правды, о правде, которую нашла в рядах большевиков. Хрупкая, совсем девочка с виду, она первым взяла винтовку и стала создавать красногвардейский отряд, когда через несколько месяцев после революции под городом появились кулацкие банды. Ее смерть была мученической: белые схватили Таню, когда она, тяжелобольная, не могла скрыться, пытали ее, истязали... Ее именем назвалась, попав в плен к фашистам, Зоя Космодемьянская. Герои не умирают...

Не умирают герои!

1 августа 1929 года во время политической демонстрации в Кишиневе, который тогда находился под пятой румынских бояр, знаменосцем шел девятнадцатилетний парнишка, рабочий с чугунолитейного — Антон Оника.

Демонстрацию встретили нагайками, но знаменосец шел — и шли за ним сотни и тысячи товарищей.

По демонстрации стали стрелять, но Антон шел — и шли за ним товарищи.

Полицейские стали целиться в Антона... Ранили... Но он не отдал знамени и шел впереди всех!

Он готовил себя к этому, пять лет готовил, с четырнадцати, когда впервые принял участие в забастовке. В девятнадцать его, подпольщика-главаря, уже знала и любила молодежь Кишинева. Разве он мог отступить?

Перед смертью он не увидел родного синего неба Молдовы — его зверски убили в тюрьме. Так же, как маленькую светлую девушку Вильгельмину Клементи, создавшую подпольные комсомольские ячейки по всей буржуазной Эстонии. Так же, как восемнадцатилетнего смешливого крепыша Эрнеста Дицманиса, который, борясь с белогвардейцами в Валмиере, спас жизнь многих коммунистов, устраивал им побеги из тюрем, доставал для них фальшивые документы, распространял листовки; даже пытки не заставили его отказаться от шуток, даже на казнь он шел с песней.

Так же, как любимец Армении, организатор ереванского коммунистического молодежного союза «Спартак» Гукас Гукас;н. Он был среди тех, кто поднимал восстание в Карее. Он смеялся над смертью, над врагами, над пулями, он заражал уставших от круглосуточных боев товарищей своим весельем, потому что иначе было нельзя, потому что врагов было в десять раз больше, потому что жить оставалось несколько часов... Но ведь вокруг нас красные скалы родной Армении, а над крепостью знамя того же цвета. Трепещите, враги, пока в винтовках есть хоть по одной пуле!

Израненный, в беспомощности, он был схвачен врагами. Ему был двадцать один год...

А Сергею Чекмареву в дни Октября было только семь лет. А в двадцать три молодой зоотехник уже трагически погиб в Башкирии в борьбе с кулаками. Когда потом советский народ прочел изданные посмертно его письма, дневники, стихи, все встало на свои места.

Этот комсомолец исподволь готовил себя к восхождению на высоты, доступные только героям.

Столько же лет — двадцать три — было молодому физику Илюше Усыскину, которого хоронили в Кремлевской стене. Это был тихий, скромный парень с необычайно обширным научным кругозором. Ход его мысли был всегда неожиданным, ассоциации и догадки говорили о незаурядном, смелом уме. Ему прочили блестящее будущее в науке. Но однажды понадобилось не только его трудолюбие, но и мужество, понадобилось, чтобы человек, специалист по космическим лучам, побывал сам в стратосфере. Илюша Усыскин не колебался. В дни работы XVII съезда партии в составе экипажа стратостата «Осоавиахим-1» он ушел в свой последний, трагический полет, который оборвался на высоте 22 тысяч метров...

Вершина жизни... Сколько людей о ней и не подозревают! Для скольких она недоступна! И не потому, что они плохи. Нет. Можно быть честным, искренним, правдолюбивым, можно работать над собой, чтобы больше знать, уметь, понимать, но этого всего будет мало, если это делается для себя, для того, чтобы быть лично честным, лично мужественным, лично принципиальным... Этого мало! Вот когда все становится на службу великой идее, когда начинаешь чувствовать непосильный груз — я за все в ответе — и собираешь свое мужество, чтобы выпрямиться под ним, чтобы поднять его, лишь тогда вершины становятся доступными и путь к ним — прямым.

Я снова думаю о своем погибшем друге, о физике и поэте Леше Булыге. Как-то мы говорили с ним об этом, и он сказал:

— Обыватель не пойдет на костер за идею, — у него нет ее. Он не пойдет на костер. У него другое любимое занятие: он подбрасывает в огонь поленья...

Он был прав.

И. АКИМОВ

К нашей вкладке

А. Мильчаков

ПАРТИЕЙ ВОСПИТАННЫЕ

«Наша партия может выйти победительницей, может идти вперед уверенно, если только нам удастся выдвинуть новые и новые молодые кадры наших наследников».

Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ.

На цветной вкладке этого номера «Юности» воспроизведено шесть картин, посвященных Ленинскому комсомолу. Они отражают ряд этапов героического пути воспитанных партией наследников. Прежде всего о картине «Ленин на III съезде РКСМ». Уже который раз всматриваюсь я в фигуру Ильича и вспоминаю, как жадно внимали мы тогда живому слову живого Ленина. Слышу, как Ленин призвал молодежь учиться коммунизму не только из брошюр, а непременно участвуя в общей борьбе трудящихся против эксплуататоров, проявляя свой почин и оказывая помощь во всякой общепольной, пусть будничной работе. Учение и труд. Дисциплина и сознательность. Обогащать память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Всегда учиться. «Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше». Никакого верхоглядства и хвастовства! И снова слышится наказ Ленина: растите подлинными коммунистами, участвуя в отчаянной борьбе с буржуазией, работая на общее дело. «Только в такой работе превращается молодой человек или девушка в настоящего коммуниста».

Комсомольцы уже провели несколько мобилизаций на фронты против полчищ Колчака, Юденича, Деникина. Возвращались мы с III съезда РКСМ воодушевленные наказом Ильича — строить «новое общество коммунистов». Но еще предстояло дать отпор белополякам на Западе и врангелевцам в Крыму.

Глубоко трогает мое воображение прекрасная картина «Юность», на которой молодой боец прощается с девушкой. Она тоже собралась в боевой путь, это видно по походной сумке. Так и кажется, что где-то звучит песня: «Дан приказ ему на запад, ей — в Другую сторону... Уходили комсомольцы на гражданскую войну».

Люблю я картину эту, люблю и песню. Живут боевые революционные традиции комсомола!

Как сказались потом, в грозные и тяжкие годы Великой Отечественной войны, плоды ленинского воспитания советской молодежи, давшей примеры массового героизма!

Александр Фадеев увековечил самоотверженную борьбу героев-молодогвардейцев с гитлеровскими захватчиками. Картина «В годы подполья» подсказывает мне также строки предсмертного письма одесских комсомольцев-подпольщиков, осужденных на казнь военно-полевым судом белогвардейцев в январе 1920 года: «Девять коммунистов, осужденных... на смертную казнь, шлют свой предсмертный прощальный привет товарищам. Желаем вам успешно продолжать наше общее дело. Умираем, но торжествуем и приветствуем победоносное наступление Красной Армии. Надеемся и верим в конечное торжество идеалов коммунизма. Да здравствует Коммунистический Интернационал!»

Замечательно назвал Карл Либкнехт революционную пролетарскую молодежь самым горячим, самым чистым, самым святым пламенем революции.

Картины «Строители Комсомольска-на-Амуре», «Тракторист» и «Они начинали Братскую ГЭС» показывают нашу молодежь преодолевающей трудности мирного строительства.

В мае 1958 года, в канун сорокалетия ВЛКСМ, в редакции одного московского журнала шел разговор ветеранов партии и воспитанников комсомола разных поколений. Говорили об опыте, о традициях. Вот что рассказал герой Отечественной войны, летчик Алексей Маресьев, ныне ответственный секретарь Советского комитета ветеранов войны:

«...Это было в те далекие годы, когда вместе со своими товарищами-комсомольцами я отправился «за тридевять земель» — в амурскую тайгу, чтобы на месте дремучих лесов и болот строить новый город — город юности Комсомольск-на-Амуре. Мне довелось там рубить леса, корчевать пни, осушать болота. Никогда не забыть тех дней, когда молодые строители посадили комсомольский парк, заложили первые камни в фундаменты кинотеатров, клубов, будущих заводов».

и, когда я смотрю на картину, видится мне, что в группе строителей, сидящих у костра, находится и Алексей Маресьев... Вот когда начиналась «Повесть о настоящем человеке».

Эстафету молодежи тридцатых годов подхватила молодежь следующих десятилетий. Сотни тысяч юношей и девушек осваивают и заселяют новые районы, строят заводы, электростанции, железные дороги и новые города. На просторах Родины сияют звезды комсомольских новостроек. Я вглядываюсь в лица богатырей нашего века — «Они начинали Братскую ГЭС», они строят коммунизм.

Галерею завершает картина «Тракторист». Позвольте, не старый ли это наш знакомый, «огненный тракторист» Петр Дьяков?!

VIII съезд ВЛКСМ в мае 1928 года в связи с вручением комсомолу первого ордена — ордена Красного Знамени — обратился ко всем комсомольцам, к молодым рабочим и крестьянам с призывом чтить подвиги молодых героев гражданской войны, всегда помнить, что комсомол — это борец за коммунизм. «Солнечное и суровое звание ленинца ставить выше всего! На первый план — интересы класса, интересы общества!» В этом же обращении содержался призыв к комсомольцам: «Бери в крепкие руки руль трактора, стирай меженищенских полосок, борись за коллективное хозяйство в деревне!»

Петр Дьяков, один из организаторов коммуны «Новый путь» в Ишимском округе, стал трактористом. Кулаки ненавидели Дьякова, подкарауливали его, чтобы убить.

В «Комсомольской правде» была заметка «Огненный тракторист»:

«Тракторист Петр Дьяков... пылал на работе огнем энтузиазма и мученически сторел у своего трактора... Ночью... когда Дьяков работал на коммунаромском поле, на него наскочила кулацкая шайка бандитов. Дьякова сшибли с ног, раздели, избили до потери сознания, а потом облили керосином и подожгли...»

Поэт Иван Молчанов восклицал: «Запевайте-ка, ленинцы, песенки про коммуну, про наши поля». О Дьякове поэт писал: «Кулачье до тебя добирается, — комсомолец лихой, не плошай!»

А Дьяков и «не сплошал», он выжил, комсомольский герой, он потом воевал с фашистами, на груди у него ордена Отечественной войны, Красной Звезды, орден Ленина и медали...

Вот какие чувства вызывают у меня произведения советских художников о комсомольцах-ленинцах. Они, делегаты III съезда РКСМ, бойцы гражданской войны, юные героини-подпольщики, творцы первенцев советской индустрии, ударники колхозных полей, создатели новых ударных комсомольских строек, молодые строители коммунизма, все они горячо приветствуют XV съезд Ленинского комсомола и от души желают ему новых успехов в воспитании советской молодежи в духе немеркнущих революционных традиций.

Рассказы о делегатах XV съезда ВЛКСМ

ТРОЕ ИЗ СЕМЬИ КОМСОМОЛА

Четыре тысячи делегатов откроют 17 мая Большой совет Ленинского комсомола.

С колхозных полей и от заводских станков, из студенческих аудиторий и воинских частей, от нефтяных вышек Мангышлака и со строительства Ангарского каскада, из шахт Кузбасса и золотых приисков Алдана, из пустынь Туркмении и таежных дебрей Сибири съедутся они в Москву и встретятся в Кремлевском Дворце съездов.

Приедет из Донецка машинист комбайна Анатолий Сокол: молодой шахтер является депутатом верховного органа власти родной республики. Приедет Эмилия Белькевич, девушка из Риги, прославившаяся как лучший повар страны. Из Тбилиси приедет «королева шахмат» Нонна Гаприндашвили, а из Сумской области — скромная медсестра, двадцатилетняя Ольга Жадан, о которой говорят, что она «сама забота и внимание». Будут на съезде молодые ученые, космонавты и чабаны, геологи и ткачихи, рыбаки и поэты.

Это очень разные люди — по темпераменту и увлечениям, по национальности и по жизненному опыту. Но их объединяет нечто большее, чем то, что их различает: они единомышленники.

Мы представляем вам, читатель, трех из четырех тысяч делегатов XV съезда ВЛКСМ. Это юная девушка — чабан из Казахстана; это математик из Новосибирска; это чаевод из Грузии. Вы почувствуете, что все они из одной семьи — семьи комсомола.

Альберт Лихезов

СТО ВЕЗЕНИЙ ЮРИЯ ЖУРАВЛЕВА

Писать о нем — это значит писать об учителе и об ученике. О докторе наук и о члене ЦК комсомола. О председателе Всесоюзного совета молодых ученых и об основателе журнала. О талантливом математике и открывателе истины...

Калейдоскоп фактов, сведений и эпизодов кружится в моей голове. И лезут в голову случайные и незначительные эпизоды...

Помню Юру — давно еще — накануне отлета в Нью-Йорк на международный симпозиум, где он должен был читать свой доклад на английском. В широкое, стекло просвечивали светлобокие стены стадиона, на низком столике лежали тетради с формулами. А Юра говорил:

— Смотри, старик, купил «корочки» на ярмарке. Представляешь, восемь рублей и совсем приличные. Сойдут для Нью-Йорка, а?

Все было до неестественности шаблонно. Широкое окно, 30-летний доктор — звезда математики, билет до Нью-Йорка — и ничего не значащий разговор о

восьмирублевых ботинках. Если под этим разговором еще различить большой смысл, скрывающий тревогу за предстоящий доклад, и тонкий душевный настрой героя, то получится готовая страница для повести о мире науки. Не так ли?..

Но у Юры все и проще и гораздо сложнее.

...Я видел на столе у Юры книгу Норберта Винера «Я — математик». В ней есть любопытные слова: «Предельным случаем большого научного института, позволяющим проверить разумность принципов, положенных в основу таких учреждений, является собрание обезьян, беспорядочно нажимающих клавиши пишущих машинок. Рано или поздно они, может быть, напечатают все драмы Шекспира. Будет ли это означать, что с помощью массовой атаки можно создать творения Шекспира?»

Нельзя не увидеть сарказма в этих словах большого ученого. Еще один вариант спора о единоличном таланте в науке. И хотя у Норберта Винера в этой его позиции много противников (особенно в Академгородке, где коллективизм научного творчества — принцип жизни), нельзя не согласиться с Винером в одном: скачки в математике совершают все-таки истинные таланты. (В то же время нельзя забывать и о растущих барьерах — о высоких задачах, которые наука ставит перед исследователем, — даже истинному таланту в одиночку они порой не под силу.)

Совсем недавно Комитет по Ленинским премиям присудил Ю. И. Журавлеву, О. Б. Лупанову и С. В. Яблонскому Ленинскую премию 1966 года «за цикл работ по математической теории синтеза управляющих систем».

Три новых лауреата. Они живут в разных городах. Не сидят втроем, плечом к плечу, решая задачу, они работают каждый в одиночку.

Но их общий труд — это как бы сплав трех разных металлов. И этот сплав и есть то искомое, то «творение Шекспира», которое создано единством талантов. Но не массовой атакой, которую так гротескно изложил Норберт Винер, чья книжка лежит на столе у Юры... Кстати, Винер вместе с Клодом Шенноном волновали человечество размышлениями о кибернетике в то время, когда Юра Журавлев только окончил школу. Он тоже, подобно многим, стоял на распутье, у классического камня сомнений, размышляя: направо пойдешь, налево пойдешь...

Он думал, что станет историком или, может быть, филологом: упивался литературой. Правда, в сборнике задач Моденова для поступающих в вуз не осталось ни одной с двумя звездочками — особой трудности, — которую бы не решил Журавлев. И он подал документы на математический. Поступил, смутно представляя будущую профессию.

Юра говорит, что если уж толковать о судьбе, то он страшный везун. Что ему везло не менее ста раз. Первый раз по-настоящему повезло, когда на втором курсе МГУ попал он к Алексею Андреевичу Ляпунову — писать курсовую.

(Теперь они живут в одном коттедже, и по-прежнему у Алексея Андреевича, ныне члена-корреспондента Академии наук, профессора, ни для кого не закрываются двери, и, зайдя к нему, непременно встретишь юного математика рядом с художником, биолога рядом с поэтом...)

Когда студент Журавлев пришел к Ляпунову писать курсовую по кибернетике, «Философский словарь» трактовал этот раздел математики как буржуазную лженауку. Слово «генетика» без брани не употреблялось. А доктор математики Ляпунов читал между тем в университете факультативный курс генетики — для математиков, физиков, биологов,

филологов. Приходил кто хотел. Курс, правда, читался несколько странно: студенты съезжались к профессору домой.

О гражданском мужестве этого человека ходили легенды. Его боготворили.

Встреча Юры с Ляпуновым была не просто встречей ученика с большим учителем. Юра пришел к убеждению, что ученый не должен быть ядром в себе. Нельзя мыслить широкими обобщениями без философского взгляда на жизнь, без умения видеть явления в единстве, в сочетании.

Сонеты Шекспира и Петрарки, ясная проза Паустовского и четкие представления хромосомной теории и математика, математика... Все сливалось в единое, все составляло части целого...

Курсовая называлась «Некоторые вопросы теории программирования на быстродействующих математических машинах». Времена менялись. Кибернетика становилась самостоятельной наукой. Юрину курсовую опубликовали. А «Философский словарь» издания 1952 года пн не выбросил. Словарь пылится на нижней полке как реликвия. Может, когда-нибудь люди создадут музей человеческой косности. Тогда Юра отдаст в музей этот словарь со страничкой, открытой на слове «кибернетика».

Говорят, жизнь делит людей на удачников и неудачников. Судя по всему, Юра относился к удачникам.

И в самом деле, удач было много. По уши, с первого серьезного взгляда втрескался в математику. Неопределенность абитуры — куда поступать? — рассеялась, как туман.

После встречи с Ляпуновым повстречался с Сергеем Всеволодовичем Яблонским. У Сергея Всеволодовича была конторская толстая книга, куда он, по собственному выражению, заносил «мелкие задачи для решения крупных проблем». Юра со счастливой физиономией копался в конторской книге и регулярно решал мелкие задачи, считая это тоже страшным везением. Семинары Сергея Всеволодовича и Алексея Андреевича, как и без очереди выпрошенную в библиотеке книгу стихов, он тоже причислял к счастливой категории удач. И то, что студенческая работа была напечатана в трудах математического института имени Стеклова, тоже посчитал за везение.

Правда, при этом как-то забывалось, что эту работу пришлось переписывать тринадцать раз! И забывалось также, что месяц провалялся с аппендицитом в больнице, а потом ходил весь в бинтах, потому что шов никак не заживал. И что от постоянных недоеданий (стипенсия-то невелика, да еще и поесть забудешь за делами!) началась язва желудка. И что в конце первого курса на рентгене обнаружилось затемнение легкого.

Я привел эти невеселые факты лишь для того, чтобы опровергнуть тех, кто прямолинейно делит мир на удачников и неудачников. Ясно, что удачниками становятся те, кто не поддается неудачам.

А неудачников от рождения, от фортуны все-таки нет.

Вопроса, куда ехать после аспирантуры, не было. В Сибирь! Туда ехал академик Сергей Львович Соболев, на кафедре у которого Юра «аспирантировался». Там создавался новый институт математики с шестью академиками во главе.

В новом институте Юра получил отдел. Когда-то он именовался отделом математической логики и кибернетики, потом — теории вычислений. И наконец — дискретного анализа. Сначала там было семеро, теперь больше тридцати человек.

Новый раздел математики, главой которого в Сибири называли Юру, обрастал своими патриотами. Одна за другой появлялись интереснейшие работы. Требовался широкий обмен информацией. И Юра стал издателем.

Я держу в руках тонкие книжки, напечатанные на ротапринтере. Единственный в стране и мире журнал «Дискретный анализ». Наверное, самое демократическое издание. Один номер редактирует Юра, другой — В. Коробков, третий — Ю. Васильев. Коллегия. Каждая статья публично обсуждается, прежде чем увидеть свет. Тираж у журнала небольшой, но его знают все серьезные математики мира, чуть ли не полтиража выписывает за граница. Вокруг

журнала сгруппировались «дискретчики» со всего Союза. Новый раздел все прочней, все уверенней становится на ноги. И вот уже самое сильное, самое серьезное удостоено Ленинской премии.

Дискретный анализ... Представляется что-то сухое, недоступное большинству, некая территория особого познания, отгороженная от невежд высокой стеной.

Юра умеет раздвинуть эти стены с удивительной способностью, он умеет говорить о сложнейших вещах доступным и обыденным образом. Итак...

Нужно сделать трактор. Самый выгодный, самый экономичный, самый дешевый и самый надежный. Наилучшая конструкция, наивыгоднейшее расположение деталей, выбор наилучших материалов. Представляете, как это удобно — без особых затрат рассчитать самую лучшую машину, сразу — эталон. Естественно, такую задачу будет решать не человек, а ЭВМ — электронно-вычислительная машина.

Машина станет пробовать все варианты, выбирая наилучшее решение. Рано или поздно она решит эту задачу, по крайней мере это допускает теория. Так называемый метод полного перебора. А иначе говоря — несбыточная фантастика.

Дело в том, что число перебираемых вариантов огромно. Диаметр Галактики в микронах — ужасная мелочь по сравнению с этим числом. Если бы мы задали машине такую задачу, она бы считала от Адама до наших дней. И ей потребовался бы еще не один век, чтобы, перебрав все варианты, предложить наилучший трактор.

Словом, задача практически нерешимая. Общий метод — перебор — не пригоден для всех задач. Так возникает нужда в поисках единого метода для всех математических задач. Это — то же самое, что поиск алхимического философского камня.

Но для разных классов задач такой общий усредненный метод все же есть. Юра с коллегами открыл его. А суть открытия состоит в том, что если все перебираемые варианты выстроить в какую-то последовательность, то эту линию можно разделить на условные отрезки и для каждого из них найти свой метод.

И вот... Старым методом рассчитать наилучший план заказов между группой заводов — на это уходило суток двое (каждую секунду — несколько десятков тысяч операций на ЭВМ). Сейчас на решение той же задачи требуется максимум десять минут.

Он все-таки нашел искомое, когда можно построить оптимальный трактор. Да что там трактор... Математик Журавлев предсказал залежи ценнейших месторождений, не выходя из института. И летние партии геологов привезли сенсационную новость: предсказания сбылись. Может быть, это начало новой отрасли науки — математической геологии?

Юре никогда и никто не ставит задач, он ставит их перед собой сам. У него не бывает черновиков, формулы вынашиваются в голове, а потом записываются начисто. Юра любит ходить, когда думает. Он никогда не видит снов. А это значит, что мозг его отключается полностью на семь часов, чтобы так же полностью работать все остальные семнадцать.

Я однажды спросил его, как он представляет будущее математики. И Юра сказал так:

«Математика — служанка и царица всех наук. Как царице, ей положен дворец, а как служанке — еще и отдельная комната. Математические методы мышления будут распространяться на все области жизни. Ленин, по-моему, обладал математическим мышлением. Все логично, нет ничего недоказанного.

В наше время ужасно, если человек пишет с ошибками. Наверное, лет через тридцать неграмотным будет считаться всякий, кто не умеет считать — не в примитивном, а в высоком понимании слова. ЭВМ будет вроде пишущей машинки. Ни один администратор, хозяйственник, политик не будет обходиться без нее... Математика — это фундамент прогрессивного существования...»

По-моему, это хорошо сказано. Но не только математический рационализм требуется сейчас в математике. И это составляет важную часть Юры как человека.

Он член ЦК комсомола. Председатель Совета молодых ученых страны. Это произошло не просто так, не из уважения к Юриному таланту и его работам.

В Юре удивительно сплавлены различные свойства, сложные и многогранные интересы. Одна из черт его характера — беспокойство. Глубокое душевное беспокойство, внешне выраженное абсолютным равновесием характера. Я не видел ни разу, чтобы он вспыхнул, вспылал, сказал резкое слово. И в то же время Юра — спокойный, я бы сказал, непоседливый человек.

Как это замечательно, когда черта характера становится не просто достоинством или недостатком, но двигателем и способна выразиться в дело — большое и важное!

Шефство в Совете молодых ученых при ЦК ВЛКСМ для Юры не просто почетная должность. Это, если хотите, и есть практическое выражение его характера.

СМУ — так сокращенно называют этот совет — интереснейшая организация, и о ее делах можно рассказывать много. Но вот только один пример, который может дополнить Юрин портрет.

Кибернетик, болеющий своим делом, отлично знает, что такое машинное время, как оно дорого, как важно на полную мощность использовать каждую электронно-вычислительную машину. Юра предложил изучить эту проблему. Оказалось, в стране простаивают сотни машин: вычислительная техника, стоящая тысячи и миллионы, носит рваный фартук Золушки. По Юриному настоянию были обследованы заводы, институты, вычислительные центры. Совет молодых ученых вошел с запиской на эту тему в директивные органы.

Тут мне видятся вздыхающие аналитики, которые скажут: «Ну, а что дальше?» Проблема сложная и трудная. Слов нет. Смешно требовать, чтобы все изменилось тотчас, немедленно. Это не блин, который можно испечь в четверть минуты. Но дело начато. По записке Журавлева и его товарищей уже принимаются меры.

Эпизод? Мне этот «эпизод» видится как проявление гражданского долга ученого, проявление характера человека, и я сразу вспоминаю Юрино учителя, Алексея Андреевича Ляпунова. Ничто не рождается и не исчезает просто так. Все продолжается... Это — соответствие закону сохранения энергии.

Один из личных принципов Журавлева выражается так: нет ученого без учеников. У истоков знаменитых сибирских физико-математических олимпиад школьников, когда по всей Сибири и Востоку, от Урала и до Чукотки ученые ищут талантливых ребят, стоит математик Журавлев. Он ездил по городам, встречался с ребятами, пусть даже неправильно, но талантливо и по-своему решившими задачи академии, и привозил их с собой в Академгородок, где возился, как с кутятами, чтобы взять потом к себе в отдел студентами-практикантами университета, в котором Юра успевал к тому же преподавать.

Как-то Журавлев рассказал мне про своих «корифеев» — математическую троицу: Карева, Трескова и Фридмана. Чуть не каждый вечер они прибегали к нему, снимали у входа всегда мокрые ботинки и вытаскивали из кармана тетради в клеенчатых корочках. Нескладные фанатики науки! Как походили они на него, когда-то приехавшего в МГУ в широченных брюках провинциала!

«Троица» училась в физматшколе, а Юра был их богом. Он не подсказывал, не учил, как решать сложные задачи. Шли месяцы, годы. Однажды Юра предложил «корифеям» решить задачу, составленную еще в 1958 году неким академиком. Мальчишки трепетали: решить задачу, которую не смог решить академик! А шеф улыбался — попробуйте...

Ребята ругались на математическом жаргоне, трещали карандашами. Время от времени являлись к Юре, и он смотрел, что сделано за неделю. Все шло своим путем.

Теперь они в университете. Задачу, которую не решил академик, одолели мальчишки. Их статья принята в научный журнал. Сейчас им по восемнадцать лет.

Все похоже, все повторяется...

Ребята из Новосибирска избрали Журавлева своим делегатом на комсомольский съезд.

Позавидовав, кто-нибудь скажет: везун!

Не завидуйте ему. Это не везун. Это работяга. Это талантливый работяга Юра Журавлев.

Юрий Шапорев

ЦВЕТЫ САКСАУЛА

Она любит степь. Она говорит: — Весной в степи можно ошалеть от счастья. Дожди, грозы, трава, маки; голый саксаул — и тот зацветает.

У девушки раскосые черные глаза. Когда она говорит, в них печаль по барханам. — В Москву я захвачу цветок саксаула. И весенняя степь будет вместе со мной.

Ее зовут Балжан Кульманбетова. Она будет в Москве как делегат XV комсомольского съезда страны.

Балжан работает старшим чабаном совхоза имени Калинина в Южном Казахстане. Сразу же за хижинкой девушки начинается пустыня — забытое богом место. Пустыня должна поклониться девушке и ее друзьям, которые в зной, в слякоть и бураны пасут в степи овечьи отары, добывая стране мясо, шерсть, каракульские смушки. Сегодня казахский каракуль превзошел по своим качествам афганский и африканский, он высоко котируется на международном рынке. В этом есть и твоя заслуга, Балжан!

Девчонке неполных девятнадцать лет. Оседлать коня может и семилетний степняк, но много ли среди старших чабанов было семнадцатилетних? Еще совсем недавно — меньше, чем пальцев на руке. Когда Кульманбетова ездила на совещание животноводов в Алма-Ату, она тщетно пыталась завязать знакомство со сверстниками: их не было.

Балжан вспоминает, как два года назад растерянно и тревожно спросили аксакалы: «Кому передать отары?» А передавать было некому. И тогда по комсомольскому призыву в степь пришла молодежь. Теперь у Балжан немало молодых коллег и единомышленников.

Удивительно меняется время. Давно ли ей говорили односельчане: «Глупая ты, глупая девочка. Кто теперь, в космический век, идет в пастухи?! Отсталая профессия...»

Ребята, с которыми она росла на одной улице, покидали аул. Звали ее: «Поедем с нами. Поищем счастья где-нибудь на стороне. В песках подковы счастья давно перевелись».

Но она была упряма и верила, что отыщет свою подкову здесь, в пустыне. Она любила степь, тюльпаны и трудную свою работу, любила откочевывать на летнее пастбище, которое казахи называют джайляу; свое место в жизни не обязательно искать за тридевять земель.

Ей пришлось многое открывать здесь, на этой пустынной и яростной земле. Самое трудное было привыкнуть к желтому безмолвию и одиночеству, когда сутки качаешься в седле и глазу не на чем остановиться — лишь рыжие горбы барханов, колючки и саксаульник вокруг.

С первой же полочки она купила транзисторный приемник — «Спидолу». «Запустили искусственный спутник... Партизаны Вьетнама напали на авиационную базу... Целина собирает урожай...»

«Спидола» помогала ей в испытании на одиночество, невидимая связь с миром тянулась над пустыней.

— Я делаю то, что мне нравится, и делаю не халтурно, а на совесть, — говорила мне Балжан, — и в этом и заключается моя причастность к людям, которых я даже не знаю, к миру, который от меня далеко...

Аксакал, приставленный к Балжан в учителя, однажды за чашкой зеленого чая пожалел ее:

— Ой, айналайн, бедная, несчастная девочка... Не повезло тебе в жизни, обошла тебя судьба стороной.

А она считала, что все идет правильно, и ни к чему ей жалость старика. Ведь дело не в том, где жить, а в том, как жить.

Она подняла глаза: за горизонт уходили барханы. Там, за песчаными волнами, на ее отару налетали снежные заряды и бури, и всегда это случалось внезапно, и было опасно, но она не боялась, и все обходилось благополучно, без катастроф. Она была счастлива и тогда, когда ей удавалось вывести из бурана отару, не оставив по дороге ни одной овцы, и тогда, когда не было никаких бурянов и можно было расчетливо и спокойно выпасать животных.

Однако чем больше кочевала Балжан по степи, чем больше разговаривала со стариком, тем больше охватывало ее смутное беспокойство. Возвращаясь к вечеру на стоянку, под похрустывание песка и бормотание «Спидолы», она думала о том, что одиночество противно человеческой натуре, что нельзя все время копаться в себе, в своих переживаниях и чувствах. Ей стало остро не хватать людей.

Однажды, когда Балжан ехала по своим делам в аул, конь ее остановился в долине, которую казахи зовут Солнечной. Пока конь пил воду из колодца, она смотрела на заброшенный домик с выбитыми стеклами. Здесь когда-то стояла укрупненная чабанская бригада. Сейчас бригада снялась — пастбище уже вытоптано, да и воды маловато.

Распалась бригада. Не приживаются люди в Муюн-Кумах, и не помогают самые строгие приказы.

«Но ведь не обязательно бригада... можно как-то иначе...» Балжан осмотрела постройки: баня, красный уголок, домики... Совсем неплохо. Сколько стоянок меняет за лето чабан — не строить же на каждом такыре дворец! Балжан прикидывала и так и этак, и всякий раз выходило, что есть смысл оживить заброшенные хижины. Пусть в них собирается молодежь со всех стоянок.

Ее обрадовала нечаянная мысль. В ауле зашла в райком комсомола и сказала о своей идее. Подумали. Рождалась добрая мысль — как объединить чабанов со всех пастбищ.

— Пустующие домики в Солнечной долине будут комсомольским штабом. Надо выделить дежурных, составить график.

Первой записали Балжан...

— Кинопередвижку бы туда, — сказал кто-то. — Хватит ей ползать, как черепахе, от такыра к такыру. Пока кино до чабана доберется, по три месяца проходит. Пора бы уж нам проститься с робинзонадой. Захотелось человеку в кино — седлай коня, и в Солнечную! Как, ребята, а?

— Верно! — согласились райкомовцы. — В долине будет клуб, магазин и консультационный пункт для заочников. Пусть чабан найдет в комсомольском штабе все, что ему нужно: и подходящую книжку и добрых собеседников...

Сейчас на огонек Солнечной долины съезжаются чабаны из многих хозяйств. С удовольствием бывает там и Балжан: ей нравятся тепло и уют штаба. Девушка берет домбру, настраивает. Она играет печальные кюи Курмангазы. Потом читает стихи Абая и сонеты Шекспира.

Ребята слушают. У Балжан теплеют глаза. Совсем недавно эти парни, в полушубках, с обветренными скуластыми лицами, подняли бы ее на смех за стихи. И вот уже просят почитать еще и еще...

Ее игра на домбре оказалась заразной. Теперь не только она берет инструмент в руки — можно говорить о целом оркестре. Честное слово, это совсем неплохой оркестр народных инструментов!

Комсомольский штаб помог и Балжан и многим ее друзьям сесть за книги. Одни поступили в заочные институты, техникумы, другие — в школу. Сама Балжан этой весной держит экзамен на аттестат зрелости.

Балжан застенчива и добросердечна. Как-то она отшагала по раскисшей дороге добрый десяток километров: вызвала врача к старику. Но если она видит нечестность и подлость, девушка не мучается, к какому берегу ей приставать. Штаб долины, где она читает стихи и играет на домбре, знает ее требовательность. Даже лучших своих друзей она критиковала за малейшую фальшь в работе. «Надо жить честно, — говорит Балжан. — Надо, чтобы принципы были. Очень это важно».

Такова девушка из Солнечной долины, которая придет на комсомольский съезд с цветами саксаула...

Валерий Каджая

ВИНАРИ-ЗНАЧИТ «КТО ЭТО?»

Мы познакомились. Как это часто бывает, она меньше всего походила на героиню. Маленькая, щупленькая и молчаливая настолько, что поначалу кажется: она ужасно застенчива.

Вчера приезжал корреспондент из Тбилиси, три дня назад у нее гостили двое из Центрального телевидения, еще раньше были из «Комсомолки»... Узнав, зачем приехал я, она улыбается устало и насмешливо: «Господи, сколько можно...» Но это естественно. Кто добился славы, тому волей-неволей приходится нести и ее бремя. Одним это нравится, а другим... Другие улыбаются устало и насмешливо.

Пейте грузинский чай

Грузинский чай — лучший в мире. Во всяком случае, не хуже лучших. Первую плантацию заложили сорок лет назад. Иностранцы пожимали плечами — чай в Грузии? Впрочем, это уже стало банальным — вспоминать, как сорок лет назад иностранцы пожимали плечами. Но ведь, черт возьми, так было!

Тридцать лет назад они уже не пожимали плечами. Чай прижился в Грузии. Но его было мало. Не хватало земли. Земля гнила под болотами. Тридцать лет назад началась великая война за землю — осушение Колхиды. Колхиду осушили. Сейчас этот край — один из богатейших, если не самый богатый в стране. От старого остались лишь названия сел и городов. Очамчире. «О чеми чире» — по-грузински «о мое горе».

В Рухи колхоз организовался первым в Мингрелии. Здесь пришлось повоевать вдвойне — и с болотами и с лесом. Победили. В прошлом году колхоз сдал 467 тонн чайного листа! Колхоз носит имя Григола Схулухия.

Во дворе, под елями

Деревья с красивым названием гималайские ели растут во дворе. Они разлаписты и тенисты. Тень падает на лицо солдата. Он стоит, чуть сутулясь. Ветви касаются плащ-палатки. Солдат смотрит и молчит: солдат из бронзы.

Это памятник солдату. Герою Советского Союза

Григолу Схулухия. В двухэтажном доме — правление колхоза. Гималайские ели посадили в тот год, когда построили двухэтажный дом. Тогда председателем колхоза села Рухи был Григол Схулухия. Тогда ему было двадцать четыре.

...Она улыбается устало и насмешливо. Как будто прожила много-много лет. Но ей всего двадцать четыре. Столько было ее отцу, когда он ушел на фронт. Потому что она дочь Григола Схулухия. Она щупленькая и нежная. Но руки у нее мозолистые, в шрамах. Это от чая. Она собирает чай с 11 лет.

Ее зовут Винари. Она звеньевая в колхозе, где был председателем ее отец, в бригаде, где бригадиром ее мать. Мать зовут Кетеван.

Кетеван работала агротехником. До того дня, как проводила Григола на фронт. Муж сказал: «Кетеван, я не хочу, чтобы в колхозе забывали мое имя». Проводив Григола, она пошла в бригаду. В ее бригаде все сборщицы были женами фронтовиков. Они работали иступленно, словно не чай собирали, а шли в атаку на врага. Одна за другой надевали они черные платья. И те, которые надевали черные платья, работали с еще большим иступлением, чтобы в работе забыть горе.

Кетеван ждала мужа. Он обязательно должен был вернуться. Потому что она ждала ребенка.

«Он обязательно должен увидеть своего ребенка» — так думала Кетеван. Он вернется, и ему скажут, что у него ребенок, и он тогда спросит: «Вин ари? 1 — Мальчик или девочка?» Так и назвала свою девочку Кетеван — Винари.

Но Григол не вернулся.

Рассказ илариона парцвания, колхозного бухгалтера

«Я работал бухгалтером, когда Григола избрали председателем. Он был самый молодой председатель в Зугдидском районе. Зато даже старики ему говорили «батано 2 Григол», Иначе бы не выбрали.

1 Кто это? (груз.).

2 Уважительное обращение типа: пан, сэр и т. д. (груз.).

За два года поднял колхоз. Сейчас я не помню всего. Один случай помню и никогда не забуду. Надо было ферму строить. А на какие деньги? Денег не было у колхоза. Заходит ко мне Григол и дает восемнадцать тысяч. Он их копил, чтобы построить дом. Дом построила уже после войны Кетеван, а то, что скопил Григол, пошло на ферму.

На фронт мы уезжали вместе, в один день. Вместе воевали. Потом меня ранили, и после госпиталя я уже попал в другой полк. Но тоже в Керчи. Григол погиб в феврале сорок второго. Он был ранен под Джанкоем. Немцы взяли его в плен и страшно пытали, Но он ничего не сказал».

Из газетного очерка

«...Невероятно подвижный, как все мингрельцы, которых труднее схватить, чем солнечный блик, он лежал перед немцем, опершись на локоть, и не мигая глядел на него злыми глазами.

— Ты ведь не русский, а грузин, — сказал немец. — Расскажи что надо, и мы тебя мучить не будем, а отправим в госпиталь. Мы грузин уважаем.

— Сказать ничего не могу, показать только могу, — запальчиво ответил Схулухия и левой, здоровой рукой сделал такой жест, от которого лицо немца побагровело от оскорбления...

Тут набросились на пленного несколько человек. Они сломали ему вторую руку и, сорвав с него шинель, гимнастерку и белье, стали вырезать на спине пятиконечную звезду... Лоскутья кожи были содраны со спины.

— Одумался? Заговорил? — спросил его немец.

— Э, не мешай, — ответил Схулухия почти спокойно...

— В огонь! В огонь его, — распорядился немец. Костер, на котором солдаты разогревали свои консервы, уже почти догорел, когда Григория бросили на раскаленную золу и закидали сверху соломой...

Жители, видевшие страшную смерть Григория Схулухия, говорят, что, как только огонь коснулся его лица, он вскрикнул, как во сне, и захотел подняться на переломанных руках, чтобы выбраться из огня, и тогда услышали люди последний — долгий, медленно растущий — вскрик Григория Схулухия: «Вай, нэна!» 1.

1 Ой, мама! (груз.).

И все. Не застонал, не дрогнул телом — умер, точно упал с высоты, как птица, погибшая в полете...» (П. Павленко, «Красная звезда», 7 мая 1942 г.)

Первые шаги

Честолюбие у мингрельца в крови. За мингрельских мальчиков мамлюки платили тройную цену — из них вырастали хорошие военачальники. Дороже жизни для мингрельца слава. Это — хорошее честолюбие. Оно толкает человека на подвиги. Только в одном Зугдидском районе семь Героев Советского Союза. Плюс сто семнадцать Героев Социалистического Труда.

Винари росла в лучах отцовской славы. Но эти лучи не грели — они жгли ее. И еще жгли ее слова отца: «...Чтобы в колхозе не забывали мое имя».

Она носила его имя. Она была Винари Схулухия, дочь героя. В школе она всегда была первой. Ей не давался иностранный. Она учила его до боли в висках, и все думали, что он дается ей просто, — так легко отвечала она на уроках.

В шестом классе их впервые позвали на плантацию. В Мингрелии все школьники собирают чай. У нее распухли пальцы от порезов. Старые листья режут, как бритва. Мать сказала: «Пережди дня два и собирай осторожно, все равно не угонишься за нами». Винари не стала ждать, а продолжала собирать чай, и все удивлялись, потому что она почти догоняла взрослых. В десятом классе колхоз премировал ее в числе лучших сборщиц. В прошлом году она собрала 8 300 килограммов — больше всех в районе. В прошлом году ее представили к званию Героя Социалистического Труда.

Паруса в зеленом море

Так назывался репортаж о сборе чая. Это был хороший репортаж. В нем плантации чая сравнивались с морем. Они действительно напоминают море. Бесконечные зеленые ряды аккуратных газонов, похожих на волны.

Чай начинают собирать в мае. Небо синее и нежное, как шелк. А горы покрыты снегом. Все такое яркое: море зелени, море воздуха, море солнца. И белые широкополые шляпы сборщиц. Они как паруса. Это красиво.

Но для сборщиц нет солнца. Есть температура на солнце. Тридцать, тридцать пять, сорок выше нуля. С мая и по октябрь. Они собирают чай от зари до зари. Потому что чая много, а людей мало. Сюда не привезешь добровольцев, как на картошку. Собирать чай учатся несколько лет. Годны лишь нежные побеги, надо срывать только их и не ранить при этом руки о старые, острые листья. Здесь техника, как у пианиста. Есть сборщицы, и есть виртуозы.

Нет аккуратных газонов. Есть плантация. Ее готовят с октября по май — подрезают, рыхлят междурядья, вносят удобрения. У чаевода не бывает затишья. Чай — культура в 17 раз более трудоемкая, чем картофель, и в 23 — чем рожь.

Нет парусов в зеленом море. Есть шляпы, выгоревшие на солнце, и потные лица под ними. Чтобы собрать один килограмм чая, надо сделать до трех тысяч движений руками. Чтобы собрать восемь тонн, надо сделать два с половиной миллиона движений. Средняя сборщица собирает в день до 30 килограммов. Винари собирает в день по 100 — 120, а в майскую страду — по 150. Первым сортом у нее проходит 90 процентов листа.

Рассказ на по джикия. парторга колхоза

«Винари избрали комсоргом колхоза в 1961 году. Я, честно говоря, был не очень доволен. Конечно, она девушка хорошая, но вожак должен быть как огонь. Но прошел год, ее снова выбрали, и вот уже пятый год командует комсомолом. Почему так? Рассказать о делах выдающихся я не могу. Их нет. Обязательств космических не брали, с почином никаким не выступали и вообще мало шумели.

А какая польза от шума? Одно слово: шум. Винари живет заботой о колхозе. Комсомольцы добились открытия автобусной линии Зугдиди — Рухи. Полгода шумели. Поделовому шумели: провели собрание, пошли на автобазу, потом в райсовет, но своего добились.

Женщины до сих пор спасибо ей говорят не только за автобус, но и за то, что сумела она сделать так, что теперь горячие обеды привозят на плантации во время сбора чая. У сборщиц перерыва нет, домой не сбегаешь, да и куда бегать? За три километра? Комсомольцы вызвали на собрание директора столовой, попросили его добром. Потом пошли в райком. Попросили еще раз. И дело сделали.

И так все время: шуму мало, дела много. Уважают ее ребята за то, что не командует она, а заставляет идти за собой. Работает она — все знают сколько, да еще учится на 4-м курсе сельхозинститута, да еще первой вызвалась обучать школьников сбору чая. Два раза в неделю — теория, два раза — практика.

То есть, я что хочу сказать? Не тот вожак хорош, который как огонь. Фейерверк — тоже огонь. Ты сумей у себя привести все в порядок, а потом зови за собой других. Она говорит мало, но зато к словам ее прислушиваются. Когда она пришла ко мне и объяснила, что ребятам нужна односменная школа, мы с председателем даже комнаты освободили в правлении. Заставила. Вот как она выглядит, настоящая комсомольская работа...»

Память живет в сердце. И в наших делах. Никого и ничего не забывая, мы думаем прежде всего о жизни.

Недаром принял Григол страшную смерть в феврале сорок второго. Недаром погиб его брат и еще тысячи и тысячи братьев. В Зугдидском музее хранится его комсомольский билет. И там же — портрет его дочери. Комсомолец тридцатых годов и комсомолка шестидесятых годов. От поколения — к поколению. У людей — жизнь. У страны — история.

Теперь в Зугдидском районе 125 героев. Двое носят фамилию Схулухия. Григол Схулухия — Герой Советского Союза, и его дочь Винари Схулухия — Герой Социалистического Труда; она получила Звезду накануне комсомольского съезда.

ПОД ЗНАКОМ КОМСОМОЛА

Наш юный читатель! Мы печатаем в этом номере журнала стихи ветеранов комсомольской поэзии, чтобы еще раз напомнить тебе о ее зачинателях и запевалах, о ее революционных традициях, продолжать которые призваны молодые поэты современности. О творчестве и становлении первых поэтов комсомола рассказывает писатель М. Б. Колосов — один из организаторов и руководителей журнала «Молодая гвардия».

«Под знаком Комсомола» — так назывались литературно-художественные сборники группы комсомольских поэтов и писателей «Молодая гвардия», созданной осенью 1922 года при ЦК РКСМ.

«Группа КСМ поэтов и писателей — не литературная секта: мы не ограничиваем себя никакими догмами и не втискиваем себя ни в какие рамки. Мы комсомольцы. Мы работаем, учимся творить и творим в гуще заводской и фабричной молодежи. Вот что нас объединяет и дает спайку нашим рядам, вот для чего мы зовем вас связаться с нами!»

Так заканчивалась декларация «Молодой гвардии», опубликованная в декабрьском номере журнала «Юный коммунист».

Сильно и свежо звучали в годы моей юности голоса поэтов комсомола А. Безыменского, А. Жарова, М. Голодного, И. Уткина. Их творчество отражало дела и думы комсомольцев того времени, отвергавших обывательско-мещанский скепсис тех, кто тянул нашу молодежь в сторону от великих задач века, кто сопротивлялся коренной ломке старой жизни, хотя и не прочь был порисоваться отрицанием старого и нового под благовидным предлогом, что «эпоха не та».

Ведь был нэп, его противоречия, контрасты, гримасы, напор мелкобуржуазной идеологии, пророчества маститых профессоров-сменовеховцев о сроках перерождения Советской власти, витрины частных магазинов, реклама частных фирм, американские «киношедевры» с Мэри Пикфорд и Дугласом Фербенксом, тонны переводной бульварной литературы в желтых обложках, желтые вывески пивных «Корнеев и Горшанов». По Тверской раскатывали на лихачах и «фордах» совбуры, нэпачи. Не случайно даже у такого крупного поэта, как Н. Асеев, вырвалось тогда горестное восклицание:

Как я стану твоим поэтом,
коммунизма племя,
если крашено — рыжим цветом,
а не красным, — время?!

Но уже прозвучали вещие слова Ленина на пленуме Московского Совета: «...из России нэповской будет Россия социалистическая!»

И стихотворным эхом отозвался на эту речь комсомольский поэт А. Безыменский:

Пусть катается кто-то на «форде».
Проживает в десятках квартир...
Будет день: мы предъявим ордер
Не на шапку — на мир.

Какая нужна была вера в партию, в дело Ленина, чтобы выплавить такие строки! А это потому, что

Завод — отец. Ячейка — дом.
Семья — учеба, труд, ребята.
Мы в Комсомолии живем —
Стране великой и богатой.

Произведения Безыменского «Комсомолия», «Петр Смородин», «Весенняя прелюдия», «Партбилет», конечно же, не могли бы так долго владеть сердцами молодых людей, если бы творчество поэта не было насыщено любовью к жизни, целостным ее восприятием, видением ее во всех опосредствованиях, когда прошлое, настоящее и будущее сливаются в одну мощную симфонию.

Я припоминаю стихотворные строки А. Жарова, напечатанные осенью 1922 года синим шрифтом в газете «Юношеская правда», синим потому, что это цвет моря, а комсомол тогда взял шефство над Военно-Морским Флотом.

Россия — рассветный крейсер.
Россия в солнечном рейсе.
Москва — коммунизм!

Рейс этот продолжается. И мне отрадно сознавать, что эти строки написаны моим сверстником, восемнадцатилетним юношей, когда высказывались сомнения в правильности такого рейса. И напечатаны стихи в газете, где не было ни одного штатного сотрудника, редактировалась и оформлялась она по совместительству на общественных началах да и печаталась в Первой образцовой типографии комсомольцами в неурочное время.

Только в 1925 году начала выходить «Комсомольская правда». Литературным ее отделом руководил Иосиф Уткин. Большим успехом пользовались еженедельные литературные страницы «Комсомолки», где печатались стихи А. Безыменского, А. Жарова,

М. Голодного, И. Уткина, М. Светлова, Д. Кедрина, Д. Алтаузена, И. Молчанова, Я. Шведова, А. Ясного.

Комсомольская поэзия двадцатых годов не ограничивалась одной темой, гражданская ее взволнованность охватывала самый широкий круг явлений — от бурных ростков нового быта, новых человеческих отношений до главной темы эпохи — формирования социалистической личности.

«Комсомол не есть однообразная среда, не есть праведный марксистский монастырь, — писал А. В. Луначарский. — Там кипит жизнь, там есть очень много противоречий, противоречий даже трагических. Ведь там огромную массу полной энергии молодежи мелкобуржуазной страны, в которой даже пролетариат не может быть отчасти не затронут мещанскими влияниями, идея, великая пролетарская идея коммунизма охватывает все шире, проникает в нее все глубже, стремится с неслыханной мощью перевоспитать эту молодежь, сделать из нее безупречную армию строителей коммунизма.

Как же может не быть тут самых горьких столкновений? Но как же может не быть тут и прямых героев своего великого долга?

Очень легко уклониться в писание горьких картин о комсомольском упадке, разврате и т. д., снискать даже за это лавры правдивого писателя. Гораздо труднее суметь отметить светлое в жизни комсомола так, чтобы не вышло прописи, чтобы не вышло реляции о казенном благополучии, чтобы не вышло розовых комплиментов и самохвальства. Гораздо труднее самое столкновение, внутреннюю горечь различных неурядиц изобразить так, чтобы они улеглись в естественную логику развития, чтобы они становились внутренне понятными и родными нам, именно потому, что мы сразу понимаем их необходимость как раз с точки зрения нашего общего подхода, нашего суждения о законах и судьбах социалистического строительства в рядах молодежи».

Вот почему так разнообразны были и поэтические жанры комсомольской поэзии: тут и эпос, и лирика, и раздумья, и сатирическое жало. Да и сами поэты при том общем, что их объединяло, отличались друг от друга «лица необщим выраженьем». Характерны названия первых стихотворных книг: «Как пахнет жизнь», «Ледоход», «Сваи».

Об Уткине А. В. Луначарский писал: «Уткину присущ чрезвычайно мягкий гуманизм, полный любовного отношения к людям. Эта любовь не сентиментальна. Она горяча и убедительна. Она совершенно легко сочетается с мужеством революционера...»

Припоминаю, как читали на вечерах и комсомольских собраниях жаровскую «Гармонь», многие строфы которой сделались крылатыми. Свежесть ее языка, ритмические переборы, добрая улыбка, неназойливая полемичность и поучительность пришлись по сердцу сельской комсомолии.

Гармонь, гармонь! Родимая сторонка!
Поэзия советских деревень!

Раздумьем отличались стихи М. Голодного. И, может быть, высшим признанием величия задач и требований эпохи к ее рядовым творцам звучали такие строки поэта:

Не по плечам дана нам кладь,
Не по глазам дано нам видеть...

Да, время требовало необычных плеч и глаз, предельного напряжения физических и духовных сил, сверхчеловеческих нагрузок.

М. Голодному свойствен вместе с тем и сдержанно-суровый пафос в изображении комсомольцев гражданской войны («Верка Вольная», «Партизан Железняк»). Высокое чувство долга и железной пролетарской дисциплины хорошо выражено в стихотворении «Судья ревтрибунала». Не случайно, думается, М. Голодному посвятил А. Жаров одно из лучших своих стихотворений, «В наши годы».

В наших годах что-то есть такое,
Вечное, великое, живое.
Что никак не может умереть!..

Марк КОЛОСОВ

Александр Безыменский

На том стоим

«...мы должны ставить дело во
всей нашей пропаганде и агитации
начистоту».

В. И. Ленин

Нам правда не страшна.
Мы сдюжили такое,
Чего другим не одолеть вовек.
А коммунист
такой уж человек.
Что он не любит зряшного покоя.
Мы столько делаем хорошего для всех,
Что нам нельзя,
мы не имеем права
Скрывать ошибку, неполадку, грех,
Собой пятнающие солнце нашей славы.
Нам нужно знать о всем,
чтоб в яростной борьбе
Не допустить ни промаха, ни фальши.
Опасней нет пути,
чем лгать самим себе:
Плохого не избыв,
трудней шагать нам дальше.
В стране, что с каждым днем становится
мощней.
Где миллионы воль сплели свои усилья,
Где люди обрели космические крылья,
Счастливый мир труда,
мир братства всех людей
Стал ленинской, земною, зримой былью.
Те тысячи чудес, что смог народ
свершить,
Превыше и прочней любых людских
рекордов.
О том, что есть у нас, мы можем
говорить
С глубокой радостью, спокойно, просто,
гордо.
Нам, право, ни к чему ни спесь,
ни хвастовство.

Страсть позолачивать плохое неуместна.
Нам приукрашивать не надо ничего.
Всю правду обо всем выкладывая честно.
Народ всегда поймет,
где срыв, а где беда.
Где недостаток, грех, ошибка, зло
большое.
Где виноват один, а где звено людское,—
Но горестно ему
в том месте
и тогда,
Коль говорят одно,
а видит он другое.
Умен и справедлив народ родной страны.
Он твердою рукой — со всем отсталым
в споре —
Громит чиновников,
а не чины.
Не власть бранит, а тех,
кто эту власть позорит.
Мы не боимся никаких преград.
Нас не сломить врагам, дельцам,
пролазам.
Лишь был бы зорким
наш партийный взгляд,
Лишь был бы ясным
наш партийный разум.
Построит коммунизм родимая страна.
Наш путь великий прям и неизменен.
Мы зорки. Мы сильны. Нам правда
не страшна.
На том стоим мы.
Так учил нас
Ленин!

1966 год.

Иосиф Уткин

Поход

Пылает пыль.
Закат глубок.
Закат и золото
Тумана.
Звенит мой
Дымный котелок,
Позвякивает бердана.
И все растет
Дорожный шов...
Последний дом
Смывают дали...

Я — не простясь,
Так ушел.
Меня не провожали.
Любовь и дружба,
Вам пылать
И в дым побед
И в дым пожарищ!
...Не плакала
Старуха мать,
Не обнимал
Товарищ.
— Рули, солдатское весло!
Я молча
Старую покинул.
Я знаю:
Старой тяжело
Смотреть
На душегуба-сына.
Ах, мать,
И я тоской томим,
Но мне ясна
Сноровка века.
И ты, родимая,
Пойми
Закон земли
И человека.
Ну, кто из нас,
Подумай,— зверь!
Мы мучаемся, убивая,
И ты, пожалуйста.
Не верь
Неумным краснобаям.
Но знаем мы:
Предел тревог
В боях,
и смертях
и ранах!..
.....
Звенит мой
Дымный котелок.
Позвякивает бердана.
А в сердце
Теплый водоем,
И я кричу соседу:
— Эй, кабардинец.
Попоем
Про матерей
И про
Победу!

1925 год.

Михаил Голодный

*

Еще воздушные пираты.
Как тени, реют над селом.
А на холме ветряк крылатый
Мне машет огненным крылом.
Скрипит в утробе деревянной
От гнева черное зерно.
Ему в стране врага туманной
Взорваться мщеньем суждено.
В лощине, на весенней рани
Враг будет снайпером убит.
И мы найдем в его кармане
Наш хлеб, тяжелый от обид.

1945 год.

*

Темнеет, гаснет зимний день,
Бьет зорю вечер — полдню смена,
И, надвигаясь, ночи тень —
Как тень твоей любви, Елена.
Все чаще эта тень со мной,
Неотвратимая, как совесть.
И снова в тишине ночной
В душе читаю нашу повесть.
Встают, как дальние огни.
Как вихрь любовной непогоды,
Мои утраченные дни.
Мои утраченные годы.

1948 год.

Л. Сидоровский

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПЕСНИ

В верховье речка Луга стремительна. А здесь течет себе лениво, и смотрятся в нее робкие березки. Выше по кособогу выстроились сосны, царапают низкие облака иглами. В бурой коре одной из них — металлическая пластинка: «Здесь в июле — августе 1941 года защищали город Ленина студенты Ленинградского инженерно-строительного института, солдаты третьего взвода 8-й роты третьего стрелкового полка 2-й дивизии народного ополчения».

Июньским вечером, как и год, как и десять лет назад, сошлись сюда люди, чтобы вспомнить лихое время. Им уже далеко за сорок. Но когда они вместе, годы словно отступают. И вот уже нет известного архитектора Мирошииа. Вместо него — балагур Шурик. И доцента Клинова здесь величают запросто Игорем, потому что хоть и посеребрилась его голова, но сердце осталось по-прежнему молодым и щедрым. Должность Анатолия Федоровича Антонова звучит длинно и сухо: «начальник отдела строительства и

архитектуры Мурманского облисполкома». Но сейчас он просто «Толя-молодчина», потому что сдержалтаки слово, отложил все свои важные заполярные дела и прилетел на день к старым друзьям.

А вот человек в выгоревшей пилотке. Он надевает ее раз в году. Когда-то о нем ополченцы сложили песню. Они считали, что человек погиб. Сами видели, как упал с пробитой грудью, как протянул друзьям снайперскую винтовку, как прошептал: «Рубайте гадов...» Но человек выжил. Прошел через все круги ада и победил.

*

Защита диплома была назначена на 5 июля 1941 года. Времени оставалось в обрез, поэтому и в воскресенье не уходили из института. Чертили, писали и краем уха слушали купленный в складчину приемник. И вдруг — двадцать второго — услышали короткое слово «война».

И разом все изменилось. Посуровела страна, посуровели парни. Защиту перенесли на 24-е. Даже не потребовали от дипломанта пояснительной записки. Знали: Лев Вертоусов записался в ополчение. И когда новорожденный архитектор прощался со старым профессором, тот сказал:

— Ты отлично учился... Бей фашистов и возвращайся живым.

А война все ближе подкатывалась к невским берегам. Уже ушел добровольцем в авиадесантные войска Олег Халтыгин, с которым все пять лет Лева делил студенческую комнату в общежитии на Серпуховской. Гордость института, он первым из питомцев ЛИСИ получил боевой орден... Он погиб в феврале 1942 года, поднимая солдат в атаку. Вместе с ним подал заявление Саша Голубков. Саша стал комиссаром авиадесантного батальона и пал героем в раскаленных боях и зноем донских степях. Ушел на фронт рядовым организатор первых отрядов добровольцев Ленинского района секретарь райкома ВЛКСМ Сергей Писов. Вскоре и он погиб на дальних подступах к Москве. В тот же день оборвалась жизнь и его друга Жени Черногубова. Проводили в путь Мишу Щербакова. Путь этот кончился на крошечном левобережном «пяточке» под Невской Дубровкой.

«До свидания, мальчики, — говорил институт, — возвращайтесь живыми». Но они не вернулись, потому что комсомольские сердца требовали от мальчиков быть только в самом пекле.

*

Пекло оказалось совсем рядом со старым домом на 2-й Красноармейской. Воинский эшелон меньше чем за день доставил туда 45 ребят из ЛИСИ — добровольцев народного ополчения. Они могли бы пойти в военно-инженерные академии: ведь многие уже получили дипломы. Но комсомольцы сказали: никаких привилегий, все — рядовыми.

Когда их взвод шагал к вокзалу, ребята недоумевали: отчего так надрывно плачут женщины? Никто тогда не думал, что это надолго. Задорно выводили «Катюшу», «Дан приказ: ему — на запад» и переиначенного «Козлика»:

Остались от Гитлера
Рожки да ножки...

Запевали Юра Шутов и Костя Лебедев. Юра — студент, а Костя — рабочий. Участник финской кампании, он не имел к институту никакого отношения. Но здесь учился его друг, и Костя настоял, чтобы на фронт им идти вместе.

Единственную снайперскую винтовку доверили Вертоусову: совсем недавно он участвовал во всесоюзных стрелковых соревнованиях. И вот теперь вместо тира — лес, вместо щитов с мишенями — вражеские «кукушки». Боевой счет снайпер открыл под

деревней Юрки. Там же они похоронили Мишу Фирсова. Это была первая утрата взвода. После изнурительных боев закрепились на берегу Луги.

*

Рассматриваю пожелтевший листок газеты «На защиту Ленинграда». Номер от 3 августа. На первой полосе — памятный плакат «Родина-мать зовет!». Рядом — короткая корреспонденция из Действующей армии. Скупой рассказ о том, как ополченцы Борис Норкин, Лев Вертоусов и Игорь Клинов в разведке выследили летчиков со сбитого самолета, фашисты пытались переправиться на другой берег, но были так ошеломлены появлением наших бойцов, что не успели даже поднять автоматы.

До этого ребята не видели ни одного пленного. Их первыми из ополченцев представили к награде. Через несколько дней парторганизация полка отправила письмо трудящимся Московского района:

«Дорогие товарищи! В борьбе с коварным врагом ваши бойцы показывают образцы храбрости. Воспитанники строительного института Клинов, Норкин, Трубицын, Вертоусов и другие подорвали десятки вражеских автомашин, отбили и доставили в полк фашистское знамя, карты и оперативные документы и автоматы...»

Так мужали мальчишки. И хоть покрылись солдатской солью гимнастерки, хоть предостаточно они повидали крови, но не огрубели сердца... С нежностью вспоминали они лекции, театры, подруг — все, что составляло их довоенный мир.

*

Августовским вечером взвод принял на себя бой, чтобы отвлечь внимание противника от отходивших частей. Навстречу стеной двигались фашисты. Рукава засучены, автоматы у груди. И вот уже полегли Борис Норкин, Андрюша Иванов, Слава Бор моткин, Саша Трифонов, Зоил Егоров. Не поднялся и Вертоусов. Лишь горстка людей прорвалась через дорогу. Десять дней выходили к своим.

Много ждало их еще испытаний... К концу ноября каждый узнал, что такое санбат. Но дружба крепла. И чем меньше их оставалось, тем яростней дрались «лисыята». Тогда и родилась «Песня о Левушке»:

Он умер спокойно, по-русски.
открыто,
Напомнив о долге без стонов
и слез.
Мы помним, что Левушка
был замполитом,
Мы знаем, что орден носить
не пришлось...

*

Но он не умер. Очнулся ночью. В груди огонь, правая рука не шевелится. Попробовал приподняться — потерял сознание. В полузабытьи прошло четверо суток. Наконец нашел силы встать и перейти дорогу. Он помнил, что в десяти километрах на север был назначен пункт сбора. Упрямо шел туда. Падал, полз и снова поднимался. С раздробленной кистью, с простреленным легким. На седьмой день очнулся от удара сапогом. Фашисты. И начался ад длиною в 1 344 дня.

Сначала их везли на открытых платформах из-под угля. Десятки таких, как он, вповалку. Тучи угольной пыли. Голод и страшная жажда. На одной станции остановились

близ водокачки. Попросили у часового воды. Тот захохотал: «Вода сырая, пить нельзя» — и поднял автомат.

Вильнюс. Тюремный госпиталь. Вокруг враги. Но были и друзья, такие, как полька доктор Залесская. Это она написала фиктивную историю болезни, чтобы спасти Вертоусова. Это она принесла Леве удостоверение на имя местного жителя Леона Вишневого. С нею пленный изучал польский язык, запоминал план города. Он готовился к побегу. Но нашелся провокатор, и вместо свободы — концлагерь.

Но и из концлагеря он сумел бежать. Свобода длилась всего три часа. Леву схватили. Прогнали сквозь строй. Шестнадцать солдат били прикладами обессилевшего человека, пока тот не упал. Облили водой — и в карцер. В карцере можно только стоять: так он мал. Полы и стены покрыты инеем. Простоял без пищи трое суток. Потом еще на улице навтыяжку шесть часов. Наконец, допрос, избияния и опять карцер. Назавтра новый допрос. В мае повезли в Германию.

*

Трудно перечислить, через сколько лагерей прошел Лев Вертоусов, пока не попал в Люкенвальд... Здесь действовала подпольная организация. В нее входили русские, французы, норвежцы, поляки. Идеальная конспирация, находчивость, смелость патриотов — все это позволило им бороться с фашизмом даже за колючей проволокой. Так военнопленный № 25695 снова стал борцом.

Спасал в лазарете товарищей, размножал листовки, ко дню освобождения готовил родной флаг. Писал новые песни на старые мелодии. Их потом пели и порусски и по-французски.

Студеный вихрь
Их коркой жесткой покрывал.
И лопались они
на ледящей стуже
И пили грязь
из придорожной лужи,
Их зной палил,
окурок обжигал,
И гнев
до крови их кусал...
Тревоги,
бури испытал,
Они лишь внешне стали грубы.
И. ждать годами не устав,
Вернутся вновь
к твоим устам
Мои
обветренные
губы.

И настал день, когда заплакали даже те, кто не проронил ни одной слезинки за долгие страшные годы. Кразнозвездные танки смяли забор, прорвали колючую проволоку, и майор — командир боевой машины — сказал им:

Здесь он воевал...

— Все свободны. Кто может носить оружие — в строй, война продолжается.

Рядовой четвертой гвардейской танковой армии Лев Вертоусов утром 9 мая добивал гитлеровцев в дымящейся Праге.

Задолго до этого в Горьком его сестренка получила извещение, что брат погиб. Она не открыла матери правды, веря в чудо. И чудо свершилось. А в институте из рук в руки передавали пропыленный солдатский треугольник: «Я за эти годы сильно отстал. Расскажите, какие у нас сейчас курсовые работы, как мыслится вести восстановление городов, разрушенных фашистами. Здесь никак не достать специальной литературы по архитектуре. Пришлите, пожалуйста! Вертоусов».

*

В работе он однолюб. Скоро двадцать лет, как в Ленгипрогоре. А ведь не раз приглашали в другие места, прельщали солидным окладом. Тщетно. Те, кто приглашал, не знали, что Гипрогор для Льва Константиновича — это еще и юношеская мечта. Зародилась она в 30-е годы, когда там создали проект Большого Горького. Все эти схемы, эскизы, планы привезли летом в город на Волге. Чего только не напридумывали ленинградцы! Дух захватывало от всей этой красивой фантазии. Конечно, я буду архитектором, сказал себе Лева, и непременно в Гипрогоре! И вот в аттестате все пятерки, а он студент ЛИИКСа (так тогда назывался ЛИСИ). Часто его дорога из института лежала к Гипрогору. Спустя десять лет человек в солдатской шинели снова вошел в знакомое здание на Невском.

Сейчас Лев Константинович — руководитель архитектурно-планировочной мастерской.

...Если вы бывали в Кургане, то наверняка любовались разлетом центральной площади. Это его площадь. Тенистые кварталы Алма-Аты — это воплощение его планов. Далеко на севере поднимается новый Магадан — это становится явью его мечта. Ашхабад, Якутск, Челябинск... Сегодня архитектор думает о второй молодости древнего Ярославля. Он уже видит просторные улицы, которые побегут вверх от волжской волны.

*

Человек строит города, пишет стихи, снимает веселые кинофильмы, воспитывает дочь... Но прежде всего остается солдатом. За каждый свой день он — коммунист, кавалер ордена Славы — в ответе перед взводом, потому что взвод жив и сегодня. Нередко приходят они на боевую поверку: доценты ЛИСИ И. Г. Клинов, И. Л. Бакеев и Ю. Д. Шутов, инженеры проектных институтов М. П. Угольников и Е. Д. Котляров, инженер-майор С. С. Шальман и подполковник Л. Л. Обухов, архитекторы А. М. Кулин и А. У. Мирошин, строители Л. Л. Шаповалов, Г. А. Рысев, Л. И. Руцко и Д. Л. Сондак. Из Запорожья пишет Василий Михайлович Трубицын, из Заполярья — Анатолий Федорович Антонов. Да, поредел взвод... Но собираются, как прежде, у родного института, и увозит их автобус к тихой речке Луге.

*

Трещит костер, швыряет искры. И летят они в небо вместе с песней:

Мне часто снятся все ребята —
Друзья моих военных дней...

Поют вполголоса. Такую песню вообще не следует петь громко... Вертоусов отошел от костра, спустился к реке. Сложились стихи:

Здравствуй, реченька Луга —
Каменистое дно,

Боевая подруга.
Это было давно...

Да, это было давно... Неслышно бежит река — она помнит этих седых людей еще мальчиками. И лес помнит, как падали они в высокую траву, «не долюбив, не докурив последней папиросы».

И люди помнят. Сто восемьдесят девять не вернулись в институт. Сто восемьдесят девять имен золотом горят на мемориальных досках в актовом зале. Сколько доброго могли бы сделать эти мальчики для людей!.. И люди еще сложат о них песни — хорошие, немудреные, как та, которую в грозном сорок первом ополченцы посвятили своему товарищу.

В. Галл,

преподаватель Московского института иностранных языков имени Мориса Тореза

ПОБЕДА БЕЗ ВЫСТРЕЛА

(Из воспоминаний советского парламентаря о последних днях войны)

В этой истории есть и средневековый замок, и балкон, и веревочная лестница, но произошла она не в стародавние времена, а в последние дни Великой Отечественной войны в одном из пригородов Берлина — Шпандау, и участник ее — наш современник.

Уже развевалось над куполом рейхстага знамя Победы. Уже шли к концу бои в Берлине, и у немцев оставалось лишь несколько опорных пунктов. Одним из них была цитадель Шпандау.

Ее не удалось взять с ходу, в лоб. Не останавливаясь, наши войска обошли цитадель и устремились к Бранденбургу. Опорный пункт Шпандау уже не мог сколько-нибудь серьезно помешать успешному развитию нашего наступления, но его орудия держали под обстрелом мост, по которому непрерывным потоком шли из Берлина на запад войска, военная техника, боеприпасы.

Советское командование приняло решение: чтобы избежать кровопролития, склонить гарнизон цитадели к капитуляции. И ранним утром 1 мая небольшая группа работников политотдела армии выехала в город Шпандау.

В крытом кузове нашей «МГУ» — мощной громкоговорящей установки — мы едем через западные районы Берлина. День выдался хмурый, холодный. Через окошко видны дымящиеся развалины Шарлоттенбурга, заводские корпуса Сименсштадта. Жилые кварталы разрушены бомбежками англо-американской авиации. Заводы же почти все целы и невредимы. (Тогда мы относили это за счет слепого случая, столь частого на войне...)

Каждый думает о своем. Я вспомнил, что несколько лет назад в Москве, в Сокольниках, в стенах родного института — ИФЛИ — уже слышал о цитадели Шпандау. На лекции по истории средних веков профессор рассказал нам, студентам, что эту крепость заложил в середине XII века маркграф Альбрехт. Во главе своих полчищ он совершал кровавые набеги на славянские племена и на отнятых у них землях основал марку Бранденбург. За свой «кроткий» нрав Альбрехт получил прозвище «Медведь» и так вошел в историю. Заложенная им цитадель восемь веков простояла на берегах Шпрее как мрачный символ германской агрессии против славян. Много лет она была резиденцией первых курфюрстов династии Гогенцоллернов... И вот теперь нам предстоит уговорить ее последний гарнизон сдаться без боя.

Машина въезжает в Шпандау: невысокие дома, узкие улочки, спускающиеся к реке. Над дверями одного из домов покосившаяся вывеска ресторанчика «У цитадели». А дальше, за небольшим лесом, сама цитадель.

Мы приступаем к работе. На удобном месте разворачиваем «МГУ» рупорами в сторону крепости. Включаем громкоговорители.

— Солдаты и офицеры! Цитадель окружена со всех сторон. Помощи вам ждать неоткуда. Дальнейшее сопротивление бессмысленно. Крепостные стены не спасут вас от гибели. Ваше единственное спасение — капитуляция! Высылайте парламентаров!

Это обращение мы передаем в течение часа, с небольшими паузами. Во время каждой паузы ждем, что из леса, отделяющего нас от крепости, появятся немцы-парламентары. Но каждый раз цитадель лениво, как бы нехотя, отвечает нам залпами легких орудий. Становится ясно, что так мы ничего не добьемся. Наш начальник, майор Гришин, собирает нас здесь же, возле «МГУ», и испытующе оглядывает каждого.

— Кто из вас пойдет со мной парламентаром? Дело опасное. Я не приказываю. Беру только одного добровольца.

Добровольцами вызываются все. Майор выбирает меня: я лучше других владею немецким языком. Потом оба мы сдаем остающимся товарищам на хранение партбилеты и оружие. Так как моя шинель, старая и потертая, выглядит, мягко говоря, «не очень репрезентативно», один из офицеров, Виктор Пискановский, отдает мне свою, новую. Передавая шинель, Виктор шутит:

— Получай по «ленд-лизу»!

Мы смеемся: его шинель сшита из желтоватого английского сукна и прозвана «черчиллевкой». Но шутка шуткой, а дело делом. Майор отдает последние распоряжения, я привязываю к палке кусок белой материи. С этим флагом отправляемся в путь. Дорога к цитадели идет через лес. До опушки нас провожают все товарищи. Там и остаются ждать нашего возвращения.

Выйдя из леса, майор и я оказываемся на большой открытой поляне. Вдали глыбой темнеет крепость. Чем ближе подходим к ней, тем лучше можем ее рассмотреть. Потемневшие от старости зубчатые стены, башни, бойницы, амбразуры — все это напоминает иллюстрацию к средневековому рыцарскому роману. Как и «положено по штату» подобным замкам, цитадель опоясана рвом (правда, без воды), через ров перекинут мостик (правда, неразводной).

По этому мостику подходим вплотную к огромным крепостным воротам. Они забаррикадированы, и прямо перед ними стоит «тигр». Ствол его орудия, нацеленный в сторону леса, разворочен, гусеницы разбиты, броня орудийной башни изъедена ржавчиной.

Никто нас не окликает. Только стволы автоматов смотрят на нас из бойниц и амбразур своими темными зрачками. Мы не видим никого, но чувствуем, что сотни глаз следят за каждым нашим движением.

Еще по дороге майор поручил мне вести переговоры. Но как их начать, если перед нами никого нет? Чтобы как-то выйти из положения, я неожиданно для самого себя кричу прямо в ворота простое и обыденное: «Халло!»

И тотчас же откуда-то сверху раздается:

— Что вам угодно?

— Мы хотим поговорить с комендантом цитадели!

— Хорошо.

Через несколько минут на маленьком балконе над воротами появляются два немецких офицера. Один из них говорит:

— Я комендант цитадели. Что вы желаете?

Балкон расположен высоко. Для разговора с комендантом пришлось бы запрокинуть головы и напрячь голоса. Это было и неудобно и как-то унижительно.

— Советские офицеры не привыкли вести переговоры в таких условиях. Если хотите нас выслушать, спускайтесь вниз.

Комендант молча кивает в знак согласия и так же молча делает знак рукой. На балкон выходят два солдата и укрепляют что-то на перилах. К своему удивлению, мы видим, как на землю летит веревочная лестница. И по этой лестнице спускаются вниз комендант и второй офицер. Они представляются:

— Комендант полковник...

— Заместитель коменданта подполковник...

Оба вскидывают правую руку в фашистском приветствии (после покушения на Гитлера 20 июля 1944 года это приветствие, по предложению Геринга, было введено и в вермахте «как знак верности фюреру»). Мы прикладываем руку к козырьку фуражки и тоже представляемся.

Переговоры длятся недолго. Кратко рассказываем о положении на фронте («советские войска уже под Бранденбургом»), разъясняем бессмысленность дальнейшего сопротивления («помощи ждать неоткуда»), излагаем условия капитуляции («сохранение жизни, медицинская помощь больным и раненым, питание»).

Комендант и его заместитель отходят в сторону и тихо, вполголоса, совещаются. Мы можем теперь детальнее рассмотреть их. Полковник — пожилой, почти старик. Худое морщинистое лицо. Из-под фуражки с высокой тульей видны коротко остриженные седые волосы. За стеклами очков в железной оправе — тусклые, серые глаза. Узкие плечи устало опущены. Вокруг тонкой шеи — излишне просторный ворот шинели.

Все это плохо гармонирует с серебристыми «кренделями» полковничьих погон. Видно, что он не кадровый военный.

Подполковник несколько моложе. На полных глянцевиных щеках играет румянец. Живые темно-карие глаза как бы ощупывают все, что попадает в их поле зрения.

Оба офицера подходят к нам. Полковник хмурится.

— Я согласился бы капитулировать на условиях, предложенных вашим командованием. Но имеется приказ фюрера: если комендант осажденной крепости или командир окруженного соединения самовольно капитулирует, то любой подчиненный ему офицер может и должен его расстрелять и возглавить оборону. Поэтому мое единоличное решение о капитуляции не принесло бы пользы, — он горько усмехается, — ни вам, ни мне. Предлагаю, чтобы мой заместитель поднялся наверх, сообщил всем офицерам цитадели ваши условия и возвратился сюда с их решением...

Мы знали из передач немецкого радио об этом чудовищном приказе Гитлера. Фюрер издал его после капитуляции Кенигсбергской крепости в тщетной надежде связать своих военачальников круговой порукой страха.

Было ясно, что полковник не хитрит, что он действительно не может решить вопрос своей властью. Мы соглашаемся с его предложением. Подполковник карабкается по лестнице на балкон. Остаемся втроем. Говорить не о чем. Все, что можно и нужно было сказать, уже сказано. Полковник нарушает тягостное молчание. Как это ни парадоксально в данной ситуации, он заводит «светский» разговор о погоде и природе.

— Скоро станет тепло, все вокруг зазеленеет и расцветет, все оживет...

Мы вежливо соглашаемся, а я про себя думаю: «Да, все расцветет, но еще неизвестно, доживем ли мы и он до этого цветения...»

По веревочной лестнице «приземляется» подполковник и что-то шепотом докладывает коменданту. Выслушав донесение, тот обращается к нам:

— Как я и предполагал, офицеры отказываются капитулировать. Они хотят выполнить свой долг...

Неужели это конец переговоров? Неужели все старания были напрасны и нам так и не удастся склонить цитадель к капитуляции?

И вот тут происходит вот что:

— Господин полковник! Мы решили сами подняться в крепость и поговорить с вашими офицерами.

Комендант ошеломлен и растерян, он думает, что ослышался, и недоверчиво переспрашивает:

— Повторите, пожалуйста!

Мы повторяем. Обменявшись взглядом со своим заместителем, полковник нерешительно пожимает плечами и указывает рукой на лестницу.

— Ну что ж, пожалуйста!

Первым карабкается вверх комендант (так сказать, хозяин Дома), за ним — майор Гришин, третьим — я, замыкает группу подполковник. Я вижу над собой начищенные до блеска хромовые сапоги Гришина, еще выше — краги полковника. Слышу, как подо мной тяжело сопит подполковник: он ведь только что уже совершил такой подъем...

Ни майору Гришину, ни мне не приходилось до этого взбираться по веревочным лестницам. С непривычки мы оба лезем медленно и, конечно, не так ловко и элегантно, как это сделали бы цирковые акробаты или матросы парусного флота. Но нас это мало волнует. Нами владеет одна мысль, одно желание: убедить, уговорить, заставить офицеров цитадели капитулировать.

Поочередно взбираемся на балкон. Попадаем в узкую и длинную комнату. Здесь полутемно, окон нет. Когда глаза привыкают, различаем группу офицеров, выстроившихся подковой. Гришин и я инстинктивно занимаем наиболее удобную для обороны позицию у самой стены, плечом к плечу. (Конечно, наивная предосторожность: если бы немцы захотели что-нибудь сделать с нами, не помогла бы никакая, даже самая удобная позиция.)

Обращаемся к офицерам. Повторяем, что сопротивление бессмысленно, что война все равно скоро кончится. От имени Советского командования предлагаем капитулировать. Слушают нас внимательно.

Как только мы кончаем, «подкова» ломается. Офицеры оживленно спорят. Только подполковник не участвует в спорах, все время стоит возле нас. Нам не слышно, о чем говорят офицеры, но по выражению их лиц видно: одни из них во главе с полковником — за капитуляцию, другие же, в большинстве молодые, с упрямыми и фанатичными лицами, — против.

Кто же возьмет верх? Полковник выходит вперед.

— Господа русские офицеры! Мы, немцы, умеем ценить истинное мужество и восхищаемся вашим благородным поступком: вы не побоялись подняться в цитадель, чтобы предотвратить кровопролитие... Но мы не можем сейчас капитулировать. Каждый солдат должен выполнить свой долг до конца. Однако у нас есть контрпредложение. Вы только что весьма убедительно (легкая усмешка трогает его бледные губы) доказали нам, что война скоро кончится. Я даю слово немецкого офицера, что в эти немногие дни, оставшиеся до конца войны, цитадель не произведет ни одного выстрела по мосту, не причинит русской армии никакого вреда. Но и ваши солдаты пусть ничего не предпринимают против нас. А когда наше верховное командование издаст приказ о всеобщей капитуляции, мы сдадимся вам в плен. Таким образом, мы и выполним свой долг и избежим кровопролития...

Наступает наш черед говорить. Это не пустой разговор. Это тоже бой. Он бескровен, но от его исхода зависит, прольется ли кровь.

— Господа офицеры! Ваше предложение внешне выглядит как будто разумно, но Советское командование не может его принять. Война есть война, а не детская игра. Ничье честное слово не является надежной гарантией от обстрела моста вашей артиллерией. Поэтому советские войска будут вынуждены брать цитадель штурмом. И они возьмут ее, можете не сомневаться!.. Но, конечно, при штурме прольется и кровь наших солдат. И тогда уже пеняйте на себя. В этом случае Советское командование не обещает и не гарантирует вам того, что предусмотрено условиями капитуляции. Поэтому мы даем вам последний срок для обдумывания окончательного решения. Если ваши парламентарии не придут к нашему переднему окопу с сообщением о капитуляции к 15.00, то мы начнем штурм. Только что ваш комендант говорил о долге. Советуем вам, господа офицеры, в оставшиеся часы подумать, в чем заключается ваш истинный долг перед родиной: в том, чтобы перед самым концом уже

проигранной войны обречь на гибель себя, своих солдат и находящихся в крепости стариков, женщин и детей, или в том, чтобы сохранить и свои и их жизни для новой, будущей Германии. Если вы все-таки откажетесь капитулировать, то вся тяжкая ответственность за бесцельно пролитую кровь падет на ваши головы!..

В комнате воцаряется гробовая тишина. Мы поворачиваемся и идем к балкону, чувствуя на себе полные ненависти взгляды молодых офицеров. Но никто из них не трогается с места. Только полковник и подполковник выходят вслед за нами на балкон.

Спускаемся на землю и видим, что комендант и его заместитель все еще стоят на балконе. Опять проходим мимо подбитого «тигра», через мостик, к чернеющему невдалеке лесу. В голове бродят тревожные мысли: немцы нас не тронули, пока надеялись договориться с нами. Но теперь, когда мы отклонили их предложение и у них нет больше надежд на компромисс, какой-нибудь фанатик может послать нам в спину очередь из автомата. Невольно хочется ускорить шаги, но сдерживаем себя и идем медленно, неторопливо.

Наконец мы на опушке леса. Сразу же попадаем в объятия друзей. Они обнимают нас, наперебой рассказывают, как волновались, когда увидели, что мы поднялись в крепость, «прямо к черту в зубы». Ведь внутри цитадели немцы могли сделать с нами все, что хотели, и никто бы ничего не услышал, и не увидел, и не смог бы нам помочь... Кто-то из ребят с серьезным видом утверждает, что Виктор волновался больше всех: и за нас и за свою шинель.

Возвращаемся в Шпандау. Каждому из нас не дает покоя мысль: капитулируют немцы или нет? Придут их парламентарии или не придут?

В два часа дня майор посылает меня к переднему окопу, где назначена встреча. Обитатели окопа встречают меня градом вопросов. Они уже узнали обо всем, что произошло, по «солдатскому телеграфу». Завязывается разговор. Его прерывает возглас:

— Товарищ капитан, идут, идут!..

Смотрю на часы. Без одной минуты три. Приказываю солдатам оставаться на месте, выбираюсь из окопа навстречу двум приближающимся фигурам с белым флагом.

Ровно в 3 часа в нескольких шагах от меня останавливаются комендант крепости и его заместитель.

— Господин капитан! Мы пришли сообщить наше решение...

— Слушаю вас, господа офицеры!..

— Цитадель... — голос полковника дрогнул, он на мгновение запнулся; это мгновение кажется мне вечностью, — ...капитулирует!

Радость победы охватывает меня, но я не подаю виду и говорю невозмутимо, как будто выслушивать сообщения о капитуляции вражеских крепостей для меня самое обыденное дело:

— Поговорим о деталях сдачи.

Через несколько часов майор Гришин и я входим в цитадель, но уже не через балкон, а через разбаррикадированные ворота. В огромном дворе строятся в колонны немецкие солдаты и офицеры. Наши автоматчики уводят их из крепости к сборным пунктам военнопленных. В проходящих мимо нас колоннах узнаем лица «старых знакомых» — молодых фашистских фанатиков. К нам подходят полковник и подполковник. Последний неожиданно обращается к нам на чистом русском языке:

— Мы хотели бы попрощаться с вами, господа офицеры...

Он видит наше удивление и добавляет:

— Я много лет жил в Санкт-Петербурге и говорю по-русски...

Действительно, он говорит по-русски хорошо, почти без акцента. Так вот почему он все время находился возле нас в течение всех переговоров — и у стен крепости и внутри нее. Хорошо, что мы не обронили ни одного неосторожного слова!

Во дворе много женщин с детьми, стариков. Это родные офицеров цитадели и жители Шпандау. Запуганные геббельсовской пропагандой, они надеялись в стенах крепости

укрыться от «нашествия русских варваров». Теперь на их лицах страх и смятение. Что их ждет? Сибирь?

Громко, через рупор отдаем приказание:

— Гражданское население может покинуть крепость и отправиться по домам!

Шумный и пестрый поток устремляется к воротам. К нам подходит молодая женщина с ребенком на руках. Глаза полны слез, голос дрожит.

— Я знаю, что вы не побоялись подняться наверх и уговорили наших офицеров сдать. Вы спасли жизнь и им, и нам, и нашим детям. Спасибо вам, большое спасибо!

Вечереет. Мы садимся в кузов нашей «МГУ» и едем «домой», в политотдел армии.

На этом можно было бы поставить точку, но мне хочется добавить еще несколько слов. После окончания войны район Шпандау отошел к английскому сектору Берлина, и мне уже больше не пришлось там бывать. Я знал, что в цитадели отбывают наказание главные военные преступники, осужденные международным трибуналом в Нюрнберге. Ну что ж, это хорошо, что крепость, построенная «Медведем», стала тюрьмой для матерых фашистских волков.

В 1947 году мне в руки попала газета «Шпандауэр фольксблатт», орган социал-демократической организации района Шпандау. Внимание привлекла статья о цитадели. Велико же было мое удивление, когда я прочитал в ней следующее:

«Среди офицеров цитадели нашлось несколько рассудительных и храбрых немцев. По их инициативе комендант сдал крепость русским без боя. Благодаря этому удалось избежать гибели многих людей...»

Так «свободная» пресса «переосмысляет» историю в выгодном для своих хозяев свете.

Среди книг

Звезды первой величины

Какое чтение по занимательности, по душевности, наконец, по хорошей ненавязчивой поучительности может сравниться с чтением рассказов о судьбах людей, в особенности если эти судьбы исключительны? Законы жизни и законы искусства во многом сходны: исключительное, как правило, оказывается наиболее типичным, ибо в нем обычное завтрашнего дня.

...Девочка потеряла родителей во время войны; мать подорвалась на mine, когда советские войска ушли уже далеко на запад. Нелегка сиротская доля, когда даже родным детям не хватает хлеба. Но люди добрые вырастили и выучили. В четырнадцать лет девочка пошла работать дояркой, вступила в комсомол. Сейчас Гале Логуновой 27 лет. Она директор совхоза «Полоцкий» и заместитель Председателя Верховного Совета БССР.

...Андрей Петров еще молод. Он автор балетов и симфоний. Его песни можно услышать во Владимире и Праге, Бухаресте и Калуге. А одна из них — «Я шагаю по Москве» — обошла все страны мира. А. Петров возглавляет организацию ленинградских композиторов. Он навсегда связал себя с молодежью и комсомолом.

...Африка. Над джунглями Анголы плывет глухой рокот тамтамов: «Пришли русские братья. Они дадут нам силы против черной смерти...» Вместе с партизанами пробираются сквозь джунгли двадцатипятилетний комсомолец Андрей Белов и его друг Олег Лосев. Они тоже воюют, но их оружие не пулеметы и гранаты, а шприцы, медикаменты, ампулы — московские комсомольцы борются с оспой и полиомиелитом...

«Звезды первой величины» (изд. «Молодая гвардия», Москва, 1966 год) — книга очерков. Авторы в ней много, и потому не удивительно, что не все очерки одинаково высоки в художественном отношении. По комсомольская огненность присуща всем! 26 биографий — еще коротких, но уже емких и замечательных — вместе доставляют цельный и

незабываемый портрет сегодняшнего многомиллионного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.

Бронислав ГОРБ

Звезды в ладонях

«Звезды в ладонях»... Вот я держу на своих ладонях эту небольшую, но изящно оформленную книжечку. На обложке вычурная эмблема: развернутая книга, нотный ключ и палитра — символы трех муз, а в середине — три буквы «ТОМ» — творческое объединение молодых при редакции молодежной газеты «Комсомольское племя» в г. Грозном.

Здесь много стихов, небольшие рассказы, фольклорные записи, ноты массовых песен трех местных композиторов на тексты «своих» же поэтов, хорошие рисунки, линогравюры. И со вкусом сделанная суперобложка — тоже работа «своего» художника, солдата грозненского гарнизона Иосифа Лепнухова.

Интересная книжечка.

Нет, я не хочу писать рецензию и не буду подробно разбирать, что в ней хорошего и что плохого, вернее, среднего, потому что по-настоящему плохого там явно нет. Ну, а среднее, конечно, есть, как во всяком сборнике, даже в любом «центральном» и даже унарашенном известными именами. Но мне не хочется указывать на это пальцем и ставить отметки: мне нажется, многие свои недоделки товарищи уже чувствуют сейчас или поймут несколько позже, когда творчески подрастут.

Отметить мне хочется здесь главное: любовное отношение к задуманному делу — к подбору произведений, не во всем, повторяю, равноценных, но всегда теплых и искренних; в редакционных небольших аннотациях, предпосылаемых каждому автору, иногда чуточку выпрєнных, иногда иронических, но всегда теплых и сочувственных; в хороших фотографиях, в интересных, со вкусом сделанных, а то и просто талантливых рисунках. А ведь это самое главное в таком самостоятельном творчестве — поддержка, ободряющий взгляд, теплое и умное слово, душа.

Такою душою и был, видимо, редактор газеты В. Г. Прядко, создатель и руководитель этого объединения. А Чечено-Ингушское издательство любовно оформило этот сборник, дало хорошую бумагу, вот и получилась книжечка, которую приятно взять в руки.

Г. МЕДЫНСКИЙ

Валентин Кузнецов

Рассказы таежница

Как-то я занялся делом, которое на первый взгляд может показаться странным и ненужным: я стал вспоминать и записывать имена и фамилии чутких и добрых людей, которые когда-либо встречались на моем пути. Нет, это были не только родственники. Среди них оказались и просто жильцы из соседних квартир, и нянечка из детской больницы, школьные учителя, товарищи по учебе, однополчане, госпитальные врачи и сестры и многие-многие, самые разные люди, ни имен, ни профессий которых я даже уже не могу и вспомнить. Но сколько бы лет ни прошло, я думаю о них с благодарностью...

Вот об этом списке и вспомнил я, читая сборник стихов Валентина Кузнецова «Рассказы, таежница» («Советский писатель». 1965).

У, встреченных мной в жизни людей были другие имена, и обстоятельства встреч с ними чаще всего не совпадали с теми, в которые попадал поэт, но было в них много общего — человечность, отзывчивость, доброта.

Можно, конечно, сказать: что ж, автор берется за темы, которые сами по себе способны растрогать читателей. Тут я могу решительно возразить: бесталанные стихи, на какие бы темы они ни были написаны, не смогут пробудить живых воспоминаний, не смогут найти отклик в сердце читателя, у которого есть хотя бы минимальный литературный вкус. А я, обращаясь к стихам поэта, вижу в них неподдельную человечность, заинтересованность в судьбах людей, слышу в них сердечные, непосредственные интонации, которые нельзя имитировать:

В переулке, заляпанном
лужами,
В электрическом плеске
зарниц,
Как живешь ты.
Варюша Жемчужная, В общежитье подруг-кружевниц? Может, думаешь: холодно...
ветрено...
Как, мол, я там на Севере жив...

Я не склонен преувеличивать достоинства этой книги. Хочу сказать только о том, что в ней есть. А есть в ней и недостатки. Так, в нее, возможно, не стоило включать стихи «Слышу, слышу — тонко, тонко», «Небо, небо — цветок голубой». Они, на мой взгляд, невыгодно отличаются от других стихотворений книги. В некоторых стихах стоило бы подумать еще над концовками.

Но в целом о «чувствах добрых» поэт пишет взволнованно и добротнo, и мне захотелось сказать о работе своего товарища по перу доброе слово.

Н. СТАРШИНОВ

Конверт солдатского фронтового письма с печатью полевой почты, датированной декабрем 1943 года. Слева от почтовой печати штемпель: «Просмотрено военной цензурой 11295». Так еще с суперобложки книги художника Виталия Давыдова («Фронтовая тетрадь», изд. «Советский художник», Москва, 1965} читатель оказывается в атмосфере далеких военных лет.

Каждая страница книги — это живая память, это безыскусственное повествование о тяжелом ратном труде простого советского солдата, молодого связиста, прошедшего с боями от Сталинграда до Граца в Австрии.

Сила книги в ее достоверности; добрая часть ее глав составлена из сохранившихся фронтовых писем Виталия Давыдова своим родным. Автору удалось интересно построить композицию своих лирических записей. В промежутках между боевыми эпизодами встречаются воспоминания детства, думы о призвании художника.

В книге много рисунков, сделанных Виталием на фронте. Они напечатаны на грубой кремовой бумаге: издательство постаралось донести до нас настоящий облик пожелтевших от времени листков.

Ю. ЦИШЕВСКИЙ

И. С. Шкловский

Вселенная. Жизнь. Разум

Откуда все взялось? Куда все идет? Эти как бы детские, бесполезные в практической жизни вопросы не дают, однако, человечеству покоя. Нам необходимо считать, что наше

существование чем-то примечательно в мироздании. Оправдано ли это перед лицом науки, позволившей оценить место Земли во Вселенной и меру нашего неведения?

Правда, мы знаем, что около некоторой, вероятно, очень небольшой части звезд, видимо, возникают планетные системы, подобные нашей. Знаем мы и то, что миллиарды лет тому назад на нашей планете появилась жизнь. И хотя не совсем ясно, что это, в сущности, такое, и совсем неясно, как это все случилось, но уже достаточно ясно, что это редкость, а жизнь разумная может возникнуть лишь при совсем маловероятном стечении обстоятельств.

И все-таки вопреки этому, а может быть, именно поэтому, нам все важнее увериться, что разумная материя не слепая игра случая и что мы не одиноки во Вселенной... Ведь планетных систем — миллиарды, а законы природы едины повсюду. И все нетерпеливее раздаются новые «детские» вопросы. Почему «они» не дают знать о себе? Или где-то уже оставлены их следы — не на Земле, так на Марсе? Или, может, у «них» наступает такая пора, когда теряется интерес к окружающему? Или разум вообще способен вызвать к действию такие губительные силы, с которыми потом уже не справиться?

Кажется, размышлять об этом впору философам или фантастам. Л размышляет астроном (П. С. Шкловский «Вселенная. Жизнь. Разум», изд. «Наука». VI. 1965). К счастью, это ученый, который не боится ни фантазировать, ни рассуждать на общие темы. Кое-какие гипотезы (например, об искусственном происхождении спутников Марса) можно попытаться подкрепить расчетами, и в таких местах автор деловит, лаконичен и в то же время ясен и для неспециалиста. Чаще, конечно, обсуждаются идеи, выдвинутые другими; и это не просто обзор, а как бы расстановка вех. намечающих дорогу к главному — осмысливанию мести разума во Вселенной. Главное же почти целиком принадлежит еще области догадок.

Возможностей для поиска так много и они так неопределенны, что автор порой склоняется к неутешительным выводам (например, о нереальности межзвездных перелетов), а порой невольно противоречит себе. Но неизменно привлекателен сам дух поиска, и он порока тому, что чтение этой книги может обогатить каждого.

Вл. БАРЛАС

СПОРТ

Георгий Тэнно, судья
международной категории по тяжелой атлетике

Не культ, а культура...

То культуризм был в опале, а теперь, названный атлетизмом, вдруг вошел в моду. Но, хотя газеты и журналы наперебой печатают практические комплексы, суждения о культуризме (я еще вернусь к термину) по-прежнему крайне разноречивы, зачастую невежественны, а то вдруг стыдливы.

В спортивной среде можно услышать и такое мнение:

— Зачем культуризм, когда есть спорт?

С ответа на этот вопрос я и начну. В польском журнале «Спорт для всех» магистр Грабовский пишет:

«Спорт не должен быть единственным средством физического воспитания. Ведь основная цель физического воспитания — это здоровье, между тем отдельные виды спорта могут вести к дисгармоничному развитию, стремление к высоким спортивным результатам идет вразрез со здоровьем. Именно поэтому в Польше, например, считают, что культуризм — одно из отличных средств физического воспитания.

В отличие от спорта, где идет погоня за рекордами и рекордсменов — единицы, культуризм привлек широкие массы людей. В физическом воспитании главное не лелеять и нянчить избранных...

Во всех уголках Польши можно встретить теперь сотни сильных, красиво сложенных юношей и девушек — поклонников культуризма. Красоте тела и красивым движениям все чаще сопутствуют и красота поведения, моральная красота человека. Интерес к красоте человеческого тела, одного из самых прекрасных творений природы, влияет и на формирование человеческой личности в целом».

Трудно не согласиться с этими словами магистра Грабовского.

Да, сегодняшний рекордсмен нередко развит дисгармонично. Велосипедист сутулится, собственный вес штангиста, метателя переступает границы разумного. В погоне за рекордами лишний вес набирают даже иные спортсменки... Да, баснословные нагрузки и на тренировках и на соревнованиях иногда ведут к преждевременному износу организма. Рекордсменов буквально преследуют травмы — этот бич современного спорта.

Не спешите меня заверять, что наш спорт — это не только рекорды, что наш спорт массовый и в этом его сила... Да, все это так, но как часто иному спортивному руководителю прежде всего нужны рекорды и победы! Массовый спорт такому руководителю нужен лишь для массового поиска будущих рекордсменов и чемпионов. Естественно, что культуризм, или атлетизм, такого руководителя смущает: атлет, который не стремится к спортивному разряду, с его точки зрения, бесперспективен. И тогда: зачем культуризм?..

Но хотя я только что касался отрицательных явлений в сегодняшнем спорте, я же не делаю вывод, что рекорды никому не нужны. Вопрос в другом: как добиться, чтобы во имя рекорда не жертвовать красотой человеческого тела, а иногда и здоровьем?

Последние чемпионаты мира по тяжелой атлетике неизменно завершаются конкурсами красоты телосложения. В нашей спортивной прессе эти конкурсы порой комментируются примерно так: вот, дескать, такой-то штангист чемпионом не стал и теперь отыгрывается в конкурсе красоты. Но скажите мне, неужели это зазорно, если штангист идеально сложен?

Как прекрасен на помосте Луис Мартин! А вы знаете, что он не только штангист, но и культурист. Так же, как и «железный гаваец» Томми Коно. Я не раз встречался с Коно, и он мне рассказывал, что в Детстве болел астмой и о спорте не мог и думать, но вот занялся упражнениями с отягощениями по системе телостроительства («бодибилдинг»), и это его исцелило. Долгие годы, побеждая на чемпионатах мира и на Олимпийских играх, Коно неизменно побеждал и на конкурсах красоты телосложения. Наконец, сторонник такого культуризма и наш Юрий Власов. Любопытно, что, выгодно отличаясь красотой фигуры от многих штангистов-тяжеловесов, Власов все же взялся за гантели, прежде чем позировать скульптору Манизеру.

Читателей «Юности», которых восхищают спортивные рекорды и которые сами, быть может, о рекордах мечтают, я хочу заверить, что упражнения с отягощениями не поссорят их со спортом, а лишь сделают настоящими атлетами. .

Итак, культуризм — отличное средство физического воспитания. Но тут возникает другой вопрос: почему именно культуризм? Есть много других средств физического воспитания...

Да, средств много, их никто не отвергает, но я за «железные пилюли», потому что глубоко верю в магическое воздействие на человеческий организм упражнений с отягощениями. Приведу отрывки из писем, полученных мною за последние годы:

«Я играл в баскетбол, занимался боксом, но мне не хватало силы, и моя фигура была предметом насмешек. Стремление к физическому совершенствованию заставило меня заняться атлетизмом, заглянуть в учебники анатомии, физиологии. И вот чудесные превращения: окружность груди увеличилась на 15 см, вес — на 18 кг. Я стал вдвое сильнее, выполнил разрядные нормы в нескольких видах спорта».

«Мне 16 лет, а мой вес еще недавно был 100 килограммов. Вы понимаете, что быть таким толстым в таком возрасте не очень приятно. И я стал заниматься атлетизмом. Теперь я вешу 85 килограммов...»

«Мне 26 лет. Недавно в моей личной жизни произошло несчастье. От меня ушла жена. Меня всюду называют скелетом, я стесняюсь ходить на пляж. Помогите мне! Расскажите, как прибавить в весе, как развить мышцы». (Я получаю много писем, в которых юноши жалуются, что из-за своих физических недостатков они даже не решаются познакомиться с девушками. И авторам этих писем я с неизменным успехом прописываю «железные пилюли».)

«Мне 23 года, я студентка. Раньше была гимнасткой, но потом вынуждена была бросить занятия и... катастрофически быстро начала полнеть. На выручку пришли упражнения с отягощениями. Времени они отнимают мало, а результаты уже налицо: тело стало крепким, фигура — стройной, настроение — отличное». (Да, я призываю взяться за гантели и девушек: красивую фигуру в косметическом кабинете не сделаешь.)

«Не знаю, как отблагодарить Вас, тов. Тэнно, за Вашу статью «Строительство тела» в «Спорте за рубежом». Дело в том, что семь лет я пролежал в гипсе, страдая костным туберкулезом. Процесс затих, но я стал очень худым, скованным в движениях. Желание преодолеть свою физическую неполноценность было настолько велико, что, прочитав Вашу статью, я фанатически увлекся культуризмом. И вот за 14-месяцев занятий я настолько изменился, что знакомые не узнают меня. Мой вес увеличился с 59 до 71 кг. От занятий культуризмом я перешел к тяжелой атлетике и стал штангистом-разрядником...»

Как видите, культуризм может выручить из беды не только человека, страдающего комплексом неполноценности из-за своей физической немощи, но может помочь и в борьбе с тяжелым недугом. За рубежом успешно занимаются культуризмом и состязаются в силовых упражнениях даже жертвы полиомиелита...

Расскажу, наконец, о себе. Мне сейчас 55 лет, и жизнь моя не всегда текла ровно. Но многие трудности жизни я сумел одолеть именно потому, что еще в юности физически закалил себя и вместе с силой и выносливостью приобрел свойство смотреть на жизнь оптимистически. Надеюсь, никто не поймет меня столь превратно, что, достаточно взять в руки гантели, и ты станешь человеком. Без нравственного стержня, без высокой культуры чувств, без умения мыслить, анализировать человек неполноценен. Но человека унижает и физическая неполноценность — вот я и ратую за культуру тела, не культ, а культуру.

К шестнадцати годам я был чертовски худ, хлипок, физически слаб. Плечи у меня были узкие, грудь цыплячья, руки висели как плети. А каково из-за своей физической немощи терпеть насмешки?

Помню, в клубе «Красный маяк» (бывший клуб печатников на Тверской) знакомые ребята поднимали двухпудовую гирю. Я, конечно, отказывался. Но тут подошли девчата, да кто-то сказал еще: «Чтобы тяжести поднимать, надо иметь сложение, а у этого хилака только вычитание». Напрягая все свои небольшие силенки, я поднял гирю на грудь и попытался выжать ее двумя руками, но гиря лишь больно ударила меня по лбу. «Ну, как, перекрестился?» — услышал я чей-то насмешливый голос. До сих пор помню свой тогдашний позор и отчаяние.

И когда во дворе бывшего Английского клуба я нашел двухпудовую гирю, то побежал за мешком, а затем, шатаясь, тащил свою драгоценную находку домой, на 1-ю Тверскую-Ямскую, поднимался на пятый этаж... А вскоре у Китайгородской стены, где торговали в то время букинисты, я увидел книжку Евгения Сандова «Сила и как ее приобрести». С ее страниц на меня смотрели широкоплечие парни. Если бы хоть немного, хоть чуть-чуть походить на этих парней!.. Меня потянуло в цирк, где тогда выступали труппы атлетов-гладиаторов. Как замирало сердце, когда атлеты известной труппы «Романос» в блестящих шлемах и высоких римских сандалиях выходили на арену под звуки бравурного марша, когда они сбрасывали легкие свои туники и обнажали свою рельефную, играющую в лучах прожекторов мускулатуру!..

За три года, следуя советам своего кумира Сандова, я не только развил атлетическую фигуру, но стал легко добиваться успеха во всех видах спорта — от прыжков на лыжах с трамплина до акробатики. А тою злополучною двухпудовой гирей, которую еле-еле я тащил

когда-то в мешке, я теперь жонглировал. Выжимал по 15 раз каждой рукой и жонглировал, делая двойные обороты! Я звал ребят и прямо над паркетным полом жонглировал двухпудовой гирей. В этом был особый шик: я отыгрывался за прошлые неудачи.

Характерно, что, сформировав свое тело, я поверил в себя, поверил, что добьюсь всего, чего захочу. Занимаясь спортом, я стал штангистом, а затем тренером. Мечтал о море — и стал моряком. Особенно пригодилась мне физическая закалка в годы войны, когда я был офицером связи на судах, ходивших из Мурманска в Англию. И, наконец, в послевоенные годы, когда я не раз попадал в трудные условия, физическая закалка всегда приходила мне на выручку. Сейчас я, конечно, уже не жонглирую двухпудовой гирей, но упражнений с гантелями не забываю: и в пятьдесят пять обидно быть немощным.

Одним словом, дорогие друзья, если вы хотите достичь атлетического совершенства, принимайтесь за упражнения с отягощениями. Эти упражнения были известны еще в древности. Помните легенду о Милоне Кротонском, который носил на плечах теленка? Теленок рос и превращался в быка, но росла и сила атлета. Да, это легенда, но и основной принцип атлетического развития — постепенное увеличение нагрузок!

В мировой прессе шумела история американца Рэндела. История на первый взгляд невероятная. Рэндел приобщился к чудесному миру тяжестей, когда ему было 22 года. Он занимался регби и решил увеличить свой вес, чтобы выступать успешнее. И довольно быстро, занимаясь упражнениями с отягощениями, добился этого. Не знаю, какие побуждения руководили в дальнейшем Рэнделом (возможно, погоня за весьма сомнительной популярностью), но он решил увеличить свой вес насколько возможно. Очень много занимаясь с отягощениями, а также увеличив прием пищи, Рэндел набрал... 182 килограмма. Рэндел спохватился, когда врачи сказали ему, что обратного пути нет, что теперь он останется в царстве монстров. Но американец оказался волевым парнем и руки не опустил. Его спасли те же гантели и та же штанга. Изменив режим выполнения упражнений, он за семь месяцев сбавил около ста килограммов! Никому не рекомендую, конечно, повторять подобный эксперимент, но согласитесь, что история Рэндела — еще одно доказательство возможностей культуризма.

Кстати, чтобы достигнуть физического совершенства, недостаточно только поднимать тяжести. Польская школа культуризма (400 кружков, более полумиллиона занимающихся) умело сочетает, например, занятия с отягощениями с различными видами спорта и естественными физическими упражнениями: бегом, плаванием и т. д.

Предполагаю очередной вопрос:

— Вы ратуете и за конкурсы?

— Безусловно.

— Но ведь конкурсы, как и весь культуризм, придумали американцы; пристойно ли нам?..

Уже давно пропагандируя систему телостроительства, я не раз слышал нечто подобное. Но какая разница, кем придумано. Важно, что придумано. Думаю, доказывать это всерьез сегодня уже не надо.

Конкурс красоты телосложения был впервые проведен в Англии в 1901 году. В нем участвовали 156 атлетов из 52 графств. Жюри конкурса возглавляли Артур Конан-Дойль и отец культуризма Евгений Сандов. Я уже рассказывал, какую роль в моей биографии сыграла книга Сандова. Свою систему физических упражнений Сандов создал в конце прошлого века. Выступая в атлетических залах всего мира, Сандов пропагандировал ее, рассказывая и показывая, как он сам достиг физического совершенства. Кстати, на том конкурсе в Англии, в 1901 году, победителю была вручена золотая статуэтка Сандова. фигура Сандова была признана скульпторами и художниками эталоном физической красоты и совершенства.

Сандов развил удивительную силу: имел мировые рекорды в поднимании тяжестей. Рассказывали, что однажды во время игры в бильярд какой-то человек оскорбил его и ударил. Сандов схватил обидчика, приподнял его над головой и с такой силой бросил на

бильярдный стол, что стол с грохотом развалился. Через несколько лет, выступая в лондонском мюзик-холле «Альгамбра», Сандов снова встретился с этим человеком, уже как с поклонником своей системы. «Помните, дорогой Сандов, вы пробили мною бильярдный стол?» — напомнил тот.

Система Сандова была известна и в России. Ею занимались в атлетическом кабинете отца русской тяжелой атлетики доктора Краевского. И уже при Советской власти, в начале двадцатых годов, в Москве был проведен конкурс красоты телосложения, победителем которого стал известный цирковой артист А. Шип,т. И вообще должен сказать, что на заре советской физической культуры, в годы ее становления, гармоническому физическому развитию, как это ни парадоксально, уделялось больше внимания, чем в наши дни. Лун/ачарский писал: Как велико значение физического совершенства человеческого тела; забота о теле не должна ни на минуту смущать нас. В ту пору были популярны показательные выступления атлетов на предприятиях, в районах. Атлеты демонстрировали развитие мускулатуры, агитировали за физическую культуру.

Возвращаясь к конкурсам, которые, как видите, придумали не американцы (первый «мистер Америка» был избран в 1939 году), надо разделить культуризм любительский и профессиональный. Все пороки современного западного культуризма — это прежде всего пороки профессионального культуризма. Здесь те же уродливые явления, что и в профессиональном боксе и в профессиональном спорте вообще. По правилам же любительского конкурса атлет, претендующий стать «мистером Америка», должен иметь не только мужественную внешность и красивую осанку, но и уметь владеть своим телом, быть сильным, а к тому же быть человеком высокоморальным, образованным. И хотя любительский культуризм на Западе также грешит известным позерством, но отнюдь не сводится к развитию мускулатуры как самоцели. Известный американский культурист Джек Лалейн, которого называют «человек перпетуум-мобиле», ведет телевизионную программу, посвященную повышению физической подготовленности молодежи, он консультант правительства по вопросам физической подготовки. Лалейн, которому сейчас около пятидесяти лет и который прошел войну, по-прежнему поражает всех своей силовой выносливостью. Он, например, сделал подряд 1 033 отжимания в упоре лежа и проплыл в море около двух с половиной километров со связанными руками. Но что характерно: культуризм никогда не был самоцелью для Лалейна. Он автор книги «Жизнь в движении» и ряда статей о восстановлении двигательных функций человека после ранений, а силовая выносливость его занимает постольку, поскольку она необходима человеку в процессе труда и всей жизнедеятельности.

Интересен польский опыт. Там конкурсы проводятся как соревнования в многоборье: силовые и гимнастические упражнения, прыжки, позирование. И не надо любое позирование называть самолюбованием, «нарциссианством». Как красива может быть поза молотобойца или дискобола! Некрасива лишь бессмысленная игра мышц, как некрасиво и все бессмысленное. Но если быть скульптором своего тела не бессмысленно, то почему же надо стыдиться результатов своего труда? Я не только за конкурсы, но и считаю, что конкурс красоты телосложения может быть зрелищем столь же эстетичным, как и соревнования по художественной гимнастике.

Повторяю, я ратую не за культ, а за культуру тела. Так и следует понимать это слово «культуризм»: культура тела. А если вам нравится, пользуйтесь термином «атлетизм»! Суть не меняется. Современная методика тренировок с отягощениями, естественно, более совершенна, чем методика Сандова. Культуризм сегодня — это современная эстетика, современные каноны атлетического совершенства, высокие физические качества. Разве что современного инвентаря нам не хватает. Когда-то неуклюжая, тормозившая развитие тяжелой атлетики шаровая штанга уже давно модернизирована, а для культуристов, как и в конце прошлого века, у нас предлагают все те же чугунные болванки, которые называются гантелями. Нам нужны разборные гантели, но не хватает даже обычных. Пограничники с Курильских островов пишут мне: «Каждый молодой человек мечтает иметь красивую

фигуру, а не быть хлюпиком. Мы уже принялись за занятия. Нехватку гантелей компенсируем булыжниками, которых на берегу океана, к счастью, много...»

Пусть устыдит это письмо тех спортивных и хозяйственных руководителей, от которых зависит выпуск гантелей. Причем еще раз подчеркиваю: нам нужны не просто гантели, а гантели разборные.

Эта статья полемическая. Цель ее — рассеять предубеждения, выявить истинные ценности. Практические советы, рекомендации, комплексы упражнений начинающий атлет может найти в журнале «Спортивная жизнь России», где уже более трех лет я веду отдел атлетизма.

Заметки и корреспонденции

КАДИЕВСКАЯ ЛЕГЕНДА

Если вы будете в шахтерской Кадиевке, спросите первого встречного, как пройти к спортзалу, и он непременно укажет дорогу именно к этому залу...

Об этом новом спортзале ходят легенды. Мне и в Луганском обкоме комсомола о нем рассказывали...

Поэтому, приехав в Кадиевку, я пошел первым делом к секретарю горкома комсомола Василию Мозалеву.

— Вася, расскажите, что за легендарный зал вы построили?

— Это, конечно, слишком насчет легендарности, но рассказать есть что. Сколько, думаете, стоило нам строительство?

Хитрый у Васи взгляд.

— Я профан, но тысяч сто, наверное...

— Эге! Ни копеечки, ни грошика! — торжествует секретарь.

И начинается рассказ о том, как разрабатывал проект один парень из «Шахтпроекта», как доставали бетон, как агитировали на воскресники комсомольцев.

— Все-таки пришлось агитировать?

— Не то чтобы агитировать, а так — клич кинули в массу, идею. Да она, видно, в воздухе, эта идея, носилась: залов таких в Кадиевке не было...

— А средства на строительство...

— Так у меня ж все кадиевские директора — знакомцы, и хлопцы у них работают тоже свои. Отрабатывали по два лишних часа в неделю да еще материал экономили. Так было, к примеру, на заводе железобетонных изделий. Плиты, самое главное, так и получили.

— И долго строили?

— Полтора года. «Штатников» ни одного. Строительство же неофициальное! Помню, школьники да ребята из профучилищ копали ямы под столбы. Зима была. Земля — что твое железо. Долбим ее, а от спин пар, а она не поддается. Шофера тут плиты как раз подвозили: «А ну, дай мы!» Раз! Хрясть! Час — две ямы. Ребята смотрят: шофера долбят, а мы шо? Ну и закипело...

— А как же монтаж? — не понимаю я. — Монтаж — ведь это не ямы копать. Кто монтировал зал?

— Видели такого светлого парня? Это Ваня Килева. Теперь он в горкоме, а недавно был бригадиром монтажников. Его комплексная бригада под крышу стены и подвела. Малым числом управились.

Вспоминает секретарь детали: желтую краску «пожертвовал» трамвайный парк города, а красную — пожарная охрана. Или, к примеру, стекло Лисичанский стеклозавод дал с условием, что на строительство зала оно будет доставлено в новых контейнерах: заводу позарез нужно было их испытать. И стекла побили меньше, чем обычно, и заводу выгода!

Вася рассказывает, мы сидим в светлом, огромном зале, где ребята играют в футбол, и вроде бы получается, что «раз-два — и взяли». И почти верится, что так и было. На самом

же деле было, конечно, не так. И без денег трудно, и стройматериалы нелегко было доставать, и ребят организовать. На словах все проще...

— А ничего, а? Молодцы все же ребята... Показали, что комсомол может на деле.

Молодцы-ребята, особо отличившиеся на строительстве спортзала, были премированы в день его открытия. Кто получил грамоты горкома комсомола, кто денежные премии, кто ценные подарки: охотничьи ружья, спортивный инвентарь.

И я уже готов пожалеть, что не видел сам, как строили этот зал, как долбили мерзлую землю, как вбивали сваи, как возводили стены...

А зал стоит, белый, красивый, такой современный зал.

И если, говорю, в Кадиевке будете, поинтересуйтесь, где спортзал, и первый же встречный укажет вам дорогу именно к этому залу.

А. ИВКИН

ДВЕНАДЦАТЫЙ РЕЙС

Газеты уже рассказывали о драматических событиях на дрейфующей научной станции «Северный полюс-14». Еще в конце прошлого года, когда льдина, где разместились «СП-14», почти вдвое уменьшилась, полярные летчики сняли пятнадцать сотрудников станции. Девять оставшихся продолжали научные наблюдения до 26 января. В тот день, находясь восточнее островов Депонта, начальник станции Юрий Константинов радировал на Большую землю: «Сжатие продолжается...» Но посланный за полярниками «АН-2» не смог найти льдины, пригодной для посадки.

Десятерых зимовщиков спас вертолет «МИ-4», который никогда прежде над океаном не летал. Командир вертолета Виктор Валеви́ч и его друзья совершили подвиг, небывалый в истории Арктики.

Недавно мне удалось встретиться с героями-вертолетчиками: Виктором Валеви́чем, его вторым пилотом Юрием Наумовым и бортмехаником Николаем Ярмоновым. Штурман экипажа Валеви́ча Николай Кравченко и бортрадист Владимир Перевозник были в тот день в очередных полетах. Так что я беседовал только с тремя. Что же за парни эти трое?

Виктор Валеви́ч. После посадки на льдину он получил радиограмму из белорусского села Мирославки: «Узнала по радио о полете, верю в тебя, твоих друзей». Радиограмму прислала учительница Анна Иосифовна Трубская, которая учила Виктора грамоте.

Виктор Валеви́ч помнит, как после войны они, «красные следопыты», вместе со своей любимой учительницей собирали школьный музей... Школа, потом армия, где Виктор и научился водить вертолет. Однажды, когда он испытывал новую машину, отказало рулевое устройство. Шрам под правым глазом до сих пор напоминает о той стремительной качке и неудержимом, казалось, падении... Он не расстался с вертолетами и после демобилизации полетел на Чукотку.

Юрий Наумов. Вырос под Москвой, в Малаховке. Работал слесарем на заводе, учился в вечерней школе. Едва не бросил школу, потому что уставал на заводе да еще ежедневные поездки на электричке: некогда было даже выспаться. Но на заводское комсомольское собрание вдруг пришел директор школы. Из-за него пришел. Юра был тронут участием директора и ребят и больше не жаловался ни на усталость, ни на отсутствие времени. Окончил школу — летать потянуло... Вот и вся биография.

Николай Ярмонов. В Заполярье приехал с юга, из Сочи. Родители хотели, чтобы Коля стал музыкантом. Он играл на аккордеоне, кларнете, в оркестре уже играл, а стал... бортмехаником. На вертолете он не только за «матчасть» отвечает, но и первым, когда машина еще висит в воздухе, проверяет качество посадочной площадки — то горного уступа, то льдины. Коля мне рассказал: «А недавно пришлось быть цирковым артистом: надев специальный пояс, висел вниз головой под машиной над разводьями и протягивал

руку неосторожному чукче-охотнику.., А музыку тоже не забываю, сам играю, ребят обучаю».

Их «МИ-4» базируется в поселке Черском, на границе Колымы и Чукотки. Прошлым летом я прошел на самолетах полярной авиации от Новой Земли до Чукотки.

Наш ледовый разведчик садился и в Черском. Там мне рассказывали, как работают местные вертолетчики. Их знают на всех факториях и становищах Чукотки. Они высаживают геологов на каменистые площадки горных пиков. А весной, во время паводка, приходят на помощь судам, опасно дрейфующим во льдах. Паводок рвет швартовы, обрывает якоря. Новые якоря, тросы, взрывчатку, чтобы дробить ледовые поля, на суда доставляют вертолетчики. Так работает и экипаж Виктора Валевича.

А теперь слово Виктору и его друзьям: вот что они рассказали мне о спасении зимовщиков.

Виктор Валевич:

— Третьего февраля в Черский пришел приказ: «Срочно подготовить «МИ-4» к дальнему полету». Нам, вертолетчикам, положено совершать рейсы при хорошей видимости, чтобы иметь возможность ориентироваться по земле. На этот же раз полет должен был проходить вслепую. А мы знали, что погода на трассе то и дело менялась; из-за многочисленных разводий и сорокаградусных морозов над океаном стояли сильные туманы. Начали подготовку к полету. На нашем «МИ-4» появился астрономический компас и другие необычные для него приборы. И вот утром 4 февраля поднялись в воздух. Летчики, жители поселка провожали нас, словно в космос.

Юрий Наумов:

— Первый участок до побережья прошли относительно хорошо. Затем погода стала ухудшаться. Мы и так, чтобы выйти из облаков, набрали солидную для «МИ-4» высоту — 1 200 метров. А тут появился еще один, верхний ярус облаков. Бушевал снегопад. Видимости никакой. Тогда стартовал «ИЛ-14», пилотируемый Героем Советского Союза Федором Шатровым. Он разведкал для нас погоду над океаном, по его пеленгу мы и взяли самый верный и короткий курс на «СП-14». Николай Ярмонов:

— Напряжение? Конечно, сказывалось. Мало шутили, а больше молчали. В Арктике только и жди сюрпризов.

Виктор Валевич:

— По пути выбрали льдину и совершили посадку. Выпрыгнули — а там минус 47, ветер 10 — 12 метров в секунду. Коля Ярмонов хотел сделать несколько снимков — все же первая посадка в океане, — но фотоаппарат замерз. Из бочек, составляющих груз нашего вертолета, перекачали бензин в баки, отдохнули — и снова в путь. В пятидесяти километрах от «СП-14» установили радиосвязь с полярниками, услышали голос начальника станции Константинова: «Самочувствие нормальное, коллектив спокоен. Ждем вас, друзья!»

Юрий Наумов:

— Зимовщики выбрали для нас сравнительно ровный лед размером 50 на 30 метров. Зажгли костры. Мы стали снижаться. Конечно, первым по традиции выскочил Коля. Ничего, льдина, кажется, подходящая! Он сделал нам знак, и мы «приледили» вертолет. Девять человек встретили нас. Да что говорить, сами понимаете, как встретили! Отдохнуть не пришлось. Льды трещали. Всю ночь мы наблюдали за своей «стрекозой», а утром, с улучшением погоды начали первые рейсы с людьми и оборудованием на соседний остров. Всего сделали двенадцать рейсов. Запомнится, пожалуй, последний полет. Взяли груз — на льдине уже не было ни одного человека, — поднялись в воздух и попали в такую переделку!.. Встречный ветер достигал ураганной силы, снегопад. Но подходящей льдины для посадки не было, а та, на которой недавно базировалась станция, пришла уже в полную негодность. Улизнули, как говорится, из-под носа Нептуна! Нас крутило, болтало из стороны в сторону, но все же и на этот раз мы привели машину на остров в полной сохранности.

Вл. КНИППЕР

СУДЬБА «МАВРИКИЯ»

Бакинец Виктор Гаврилович Панин увлекается филателией с восьмилетнего возраста, и сейчас в его знаменитой коллекции около двухсот тысяч марок. А недавно он стал обладателем марки, о которой мечтают филателисты всего мира.

Панин случайно познакомился с человеком, весьма далеким от филателии, но рассказавшим ему довольно интересную историю. Партизаны, которыми во время войны командовал Николай Гладчеико, поймали под Полтавой эсэсовского генерала и при обыске у него обнаружили золотой портсигар, набитый марками. Когда Гладчеико стал перебирать марки, генерал побледнел и снял часы с золотым браслетом: «Возьмите все это, но отдайте марки». «Эге, — подумал Гладчеико, — тут что-то не то. Может, в марках шифровка?» И хотя экспертиза не нашла в марках ничего подозрительного, Гладчеико припрятал конверт, чтобы заняться им после войны. Но сколько он ни обращался к филателистам, те лишь смеялись, глядя на марки.

— Возьмите себе эти марки, — сказал Гладчеико Панину. — Не удалось мне выяснить их секрета, может, вам удастся.

Панин уже убедился, что никакой ценности для филателии эти марки (марки царской России с надпечатанным украинским трезубцем) не имеют, но, чтобы не обидеть хозяина, отобрал из них штук десять с необычным расположением надпечатки. Вернувшись домой, Панин опустил марки в воду, чтобы очистить их, отмочить клочки конвертов, и вдруг заметил, что в тарелке плавает еще какая-то марка. Осторожно выудил ее пинцетом, поднес к лупе и... не поверил своим глазам: это был знаменитый «Маврикий».

Маврикий среди святых не самая яркая личность, и даже ревностные католики затрудняются объяснить, за что он удостоился называться святым. Но в истории филателии «Маврикий» знаменит. Эта марка была выпущена на острове святого Маврикия в 1847 году. По рассеянности гравера вместо «Post paid» («Почта оплачена») на ней стояло «Post of Псе» («Почтовая контора»). Губернатор острова приказал уничтожить злополучные «Post office», и лишь случайно небольшое количество марок сохранил Джонни Дик — губернаторский секретарь. Он вернулся в Англию спустя 18 лет, когда зуд филателии уже охватил старый свет. Коллекционеров потрясла сенсация: существует неизвестная марка острова святого Маврикия.

В 1880 году, описывая редкие марки, журнал «Вокруг света» (экземпляр которого, кстати, имеется у Панина) сообщал, что «Маврикий» оценивается французскими каталогами в 40 тысяч франков. А уже спустя 50 лет Берлинский почтовый музей купил одного из «Маврикиев» за 500 тысяч марок!

Из двадцати трех сохранившихся «Маврикиев» (тринадцати оранжевых и десяти синих) шестью владели коллекционеры дореволюционной России. Две марки имел адмирал Руднев, командир легендарного «Варяга». Но коллекция адмирала погибла вместе с «Варягом». Еще две марки имели бакинские нефтепромышленники братья Гасановы, которые в 20-х годах удрали за границу и, вероятно, захватили с собой и «Маврикиев». Был синий «Маврикий» у главного инженера фирмы «Нобель» Дембо, но его коллекция пропала в первую мировую войну. И, наконец, еще один «Маврикий» был у киевского филателиста Дорошкевича. Умирая, он завещал семиэтажный дом старшему сыну, а коллекцию марок — младшему. Дальнейшая судьба Дорошкевича-младшего и его «Маврикия» неизвестна. Но всего вероятнее, что именно эта оранжевая марка и была изъята у гитлеровского генерала.

Так или иначе Панин — единственный среди наших коллекционеров, владеющий сейчас знаменитым «Маврикием».

И. МАХАТАДЗЕ

ПЫЛЕСОС

А. Пархоменко

ОСАДКА

Симпатичный дом был сначала новенький, пятиэтажный, розовой краской выкрашен.

Я по пять раз обходил его, прежде чем внутрь здания войти. Внутри новоселы все бегали смотреть друг к другу, у кого какая квартира. А через три месяца трескаться дом стал. Полезли трещины: у кого по потолкам, у кого по стенам, у кого полы стали расходиться, а у кого и все сразу. Посмотрит жилец на свою мозаику, покачает головой и идет к соседу делиться новостью печальной своей. Сосед выслушает его и говорит:

— У тебя красота еще, взгляни, у меня что творится.

Налюбуется жилец на чужие трещины, и как-то легче на душе становится. Больше всего мы ее — эту душу — в 6-й квартире из 1-го корпуса отводили. Там в одной комнате стена упала в 24-ю квартиру, и из двух помещений одно получилось. Ходили, конечно, в ЖЭК.

— Что же это такое: новый дом — и пожалуйста!

Там нас успокоили:

— Не волнуйтесь, товарищи, во всех новых домах так. Дом дает осадку — отсюда и трещины. Вот осядет окончательно через три года, тогда и ремонтировать будем. Раньше нет смысла — деньги в трубу пускать только. Для того и существует инструкция — после трех лет.

Резонные слова: мы ничего не могли возразить на них.

Сам я жил на пятом этаже и вскоре стал осваиваться в новой обстановке. Подметаю я как-то пол, кучу уже намел, и вдруг мой взор на трещине в полу остановился. И тут машинально рука веником раз кучу — и в трещину. И за совком идти не надо. Но через две минуты жилец с четвертого этажа, что подо мной, приходит ко мне и зовет в гости.

— Нехорошо, — говорит. — Нехорошо.

Я молча беру веник, который прихватил с собой, делаю кучу — и раз ее в трещину.

— Осадка, — говорю многозначительно. — Ничего не поделаешь.

Сразу его глаза умом засветились, лицо осмысленным стало, и он пожал мне руку. На третьем этаже он с большим восторгом показывал, что и как, а про осадку мы вместе сказали.

Очень кипятился тот, что с первого этажа был. Но когда мы заявили все хором насчет осадки, встряхивая вениками, он захотел уединиться и попросил нас выйти.

А однажды у меня нога подвернулась о торчащую половицу, ходить невозможно просто. Посмотрел я на свое мусорное ведро и думаю: как же я скакать с ним буду с пятого этажа?

И тут машинально взял я его в руки, подошел к трещине — и раз туда. Сел и жду — сейчас придут и изобьют. Но никто не пришел. Услышал я только крики скандалиста с первого этажа, а остальной народ ничего, пообвыкся уже. Конечно, с другой стороны, зависит от того, что роняешь. Упали у меня как-то десять рублей. Я бегом на четвертый: так, мол, и так.

— Что вы, — говорит, — как могли подумать! Идемте на третий, может, они.

На третьем мне сказали, что в их роду ни одной судимости не было, а на втором вдруг ляпнули:

— Дом-то новый.

С недобрый предчувствием спустился я ниже и не ошибся. На меня посмотрели, как на ненормального, и заявили:

— Вы что, товарищ, только что на свет родились? Осадку дом дает, осадку, неужели непонятно!

И все сразу вспомнили про «осадку», только я долго не мог вникнуть в суть.

Или, например, была печальная история.

Устроил я вечеринку в свой день рождения. Танцую томно блюз, и вдруг «ух» — моя партнерша исчезла. Нашел я ее между вторым и первым этажами. Не считая двух ребер, лишилась она туфли. Это с первого этажа успели с ноги стащить, специально мне назло. И мебель я часто ремонтировал. Мебель портится, когда падает.

Тем временем дыра, которая появилась у меня в потолке, потихонечку разрасталась. Кого, думаю, бог мне в гости пошлет?

А пока дождь полы мне мыл и снег обивку на мебели освежал, особенно когда веничком по ней пройдешься.

Наконец и мне гостинец достался. Заблудившийся парашютист опустился. Милый человек такой! Угостил я его чаем, а он мне значок подарил — значок парашютиста.

В последнее время я марсианина жду. Камней приготовил, капусты. Ведь черт его знает, что он, марсианин, ест: то ли камни, то ли капусту.

Боюсь одного: до ремонта год остался — гляди, не поспеет еще.

На стендах «ЮНОСТИ»

Леонид Волынский

НА РОДНОЙ ПОЧВЕ

Я пришел в редакцию «Юности», когда там готовилась очередная выставка молодых живописцев. Портреты, пейзажные этюды маслом и темперой, рисунки — все было еще в беспорядке расставлено вдоль стен и разложено на полу. За окнами студено белел московский февраль, а тут отсвечивали прогретые насквозь солнцем ржаво-коричневые, зеленые, рыжие, густо-синие, огненно-охристые тона. Справляться о принадлежности работ не было надобности: живопись Грузии узнаешь с первого взгляда. Оставалось узнать имена: Зураб Нижарадзе, Тенгиз Мирзашвили, Дмитрий Эристави.

У грузинской живописи глубокие корни. Когда впервые окинешь взглядом прозрачные пастели Дмитрия Эристави с их голубыми и зеленовато-коричневыми тонами, вдруг вспоминается серокаменный шатровый купол Цминда-Николози среди бронзовеющей зелени горных лесов и фрески двенадцатого столетия, от которых сам воздух внутри собора кажется голубым.

Первое ощущение неожиданно подкрепляется пастелью «В музее», где перед скопированными фрагментами древних фресок стоят в задумчивости молодые солдаты. Я бы рискнул назвать эту пастель «эпиграфом» выставки, ее образным девизом: тут прямо и определенно обозначена нерасторжимая связь времен. Связь времен и вместе с тем их движение: при несомненном сродстве пастелей Эристави с древней грузинской фреской они целиком принадлежат сегодняшнему дню — и по самым сюжетам, и по остроте видения, и по воздушной прозрачности красок, напоминающей, что художнику не чуждо ничто из поисков и завоеваний новой живописи.

Грузинским художникам есть на что оглянуться. Поразительные мозаики пятого века из Бичвинты — олени, лани, птицы, благородно строгие сочетания матово-черных, серовато-желтых, коричнево-красных и темно-розовых тонов; величественные росписи десятого века в Атенском Сионе, коричнево-смуговые с темно-голубым; знаменитые на весь мир Гелатские мозаики двенадцатого столетия — всего не перечтешь. Но при необычайном богатстве традиции молодая грузинская живопись не замыкается в себе, в своих «внутренних» ресурсах; стремление соединить свое со всеобщим — одно из ее привлекательнейших свойств. Уходя корнями в родную почву, деревья тянутся ветвями к общему небу, к общему солнцу.

Дмитрия Эристави привлекают ритмы сегодняшней городской жизни. «Детский сад», «Игра в классы», «Утро» — эти пастели полны тонко подмеченных примет и подробностей, они согреты доброжелательным юмором, овеяны легким дыханием молодости. Они свежи, как весеннее утро, и беззаботны, как детская песенка.

Живопись Тенгиза Мирзашвили более плотна, сосредоточенна, весома. Это весомость неторопливого крестьянского слова. Это шероховатость натруженной крестьянской руки. Это извечная смуглость выдубленного солнцем лица. Это монументальная неподвижность отдыхающих после трудового дня виноградарей и овцеводов. Это краски Тушетии, Карталинии, то весенние, сочно-зеленые, то горящие рыжим пламенем закавказской осени.

«Крепость Тмогви» Зураба Нижарадзе рдеет тем же осенним накалом; его живопись — густая, краски кажутся обожженными, оплавленными, будто цветная полива в гончарной печи. Они как бы пышут неостывшим жаром. Его «Портрет Наны Хатискаци» впечатляет дерзким цветовым аккордом. Художник не боится диссонансов, не заботится о ласкающей глаз приятности. Как видно, резкость красочных созвучий кажется ему более соответствующей современному восприятию. Впрочем, его натюрморт с двумя кувшинами, черным и охристым, дает основание думать, что Зураб не до конца убежден, какой путь вернее: он ищет...

Это естественно — без поисков не может существовать и развиваться искусство. Истина куда как не новая, но задумываешься об этом вновь и вновь — и не только в связи с данной выставкой, хоть и она дает немалую пищу для размышлений.

Нравственное истощение искусства, классицистическая лживость, натуралистическая исчерпанность художественных средств — все это более столетия назад стало причиной повсеместных взрывов и нарождающихся движений. В сущности, «бунт четырнадцати» в Петербургской Академии художеств и одновременное возникновение импрессионизма во Франции при всех различиях — явления одного причинного ряда. И там и здесь молодые живописцы двинулись, пусть очень разными путями, против общего врага — против самодовольного, чиновничье-благодушного академического застоя. Двинулись, решительно ломая устаревшие, закостенелые нормы и опрокидывая привычные представления.

Но с течением времени разрушительные тенденции исподволь стали брать верх над тенденциями созидательными. Новизна постепенно превратилась из средства выражения новых идей в самоцель. Из отрицания отживших изобразительных средств — из того непримиримого отрицания, что так воинственно и всеобъемлюще выразилось в более чем полувековом творчестве Пабло Пикассо, — из этого неизбежного и во многом плодотворного отрицания пока еще не родилось утверждение новых всеобщих ценностей, могущих стать вровень с наивысшими до; стижениями прошлых веков.

Однако рождение, пусть мучительно долгое, неизбежно. От внимательного глаза не ускользнет назревающее в искусстве стремление к дисциплине формы, тяга к цельности, к большому стилю. В этом смысле молодая грузинская живопись внушает немало надежд: высокая пластическая культура принадлежит к числу самых давних и драгоценных ее особенностей.

Тут читатель вправе спросить: дает ли очередная выставка «На стендах «Юности» повод для столь обобщающих рассуждений? На это можно было бы ответить, что судьбы искусства — в руках художников, больших и малых, известных и неизвестных, старых и молодых. И что значение каждой выставки не только в очевидных и бесспорных достоинствах или недостатках представленных работ, но и в намечающихся, иногда трудно уловимых тенденциях.

Строгие, «гольбейповской» точности девичьи портреты Зураба Нижарадзе, равно как и чеканная ясность линий Дмитрия Эристави подтверждают эту мысль.

Правила не создают гениев, скорее, напротив. Но есть некоторые общие законы, действительно на все времена. Пренебрегать ими — значит отнимать у искусства его единственно достойную цель: быть средством живого общения, служить духовному росту человека.

*

Обсуждение выставки картин грузинских художников Т. Мирзашвили, Д. Эристави и З. Нижарадзе привлекло в конференц-зал «Юности» много мастеров кисти, в особенности из среднеазиатских и закавказских республик.

— Все произведения отличает яркий национальный облик и смелость, — отметил член редколлегии журнала «Юность» художник В. Горяев. — Авторы ищут новые, свои пути в искусстве. Но это реализм — активный, жизнеутверждающий.

О самобытности молодых мастеров говорил и народный художник СССР М. Абдуллаев. Он напомнил, что даже в те времена, когда в нашем искусстве свирепствовал бытовизм, художники Грузии создавали отличные произведения.

Искусствоведы Юрий Халаминский и Мюрсал Наджафов отметили внутреннее своеобразие представленных работ, богатство индивидуальностей.

— Иногда наши недруги говорят, что они видели в Манеже 3 000 картин, написанных «одним художником», а вот здесь — три художника, и все разные! — заключил Наджафов.

Художники Э. Браговский, А. Папикян, Ю. Цишевский, Е. Ладыженский, З. Обоев говорили о том, что художество проявляется через раскрытие своего мира, что грузинские мастера возрождают древнее искусство миниатюры.

В. Костин отметил плодотворность подобных выставок, их несомненную пользу для художников.

Двадцатая по счету выставка в «Юности» привлекла внимание зрителей: книга отзывов полна записей.

В НОМЕРЕ

• ПРОЗА

Генрих ГОФМАН. Братья молодогвардейцев. Документальная повесть

Василий АКСЕНОВ. На площади и за рекой. Рассказ

Вадим ФРОЛОВ. Что к чему... Повесть

Ю. КУРАНОВ. Приморские улицы. М. аленькие рассказы

в ПОЭЗИЯ

Владимир КАРПЕКО. Сотворение мира

Борис СЛУЦКИЙ. 9 мая 1945 года. 9 мая 1965 года. «Украину поперек и вдоль...».

«Грамотный обучает неграмотных...». «У времени вечный завод...»

Борис ШАХОВСКИЙ. Когда-то в госпитале

Александр ОЙСЛЕНДЕР. На грани мира. Письмо, найденное в ранце

Алексей ПРАСОЛОВ. «Когда прицельный полыхнул фугас...». «В себе ненужного не трогай...!». «Я хочу, чтобы ты увидела...». «Схватил мороз рисунок пены...».....

Кайсын КУЛИЕВ. Тому, кто придет вслед за мной. «Наверно, и чинара не мечтает...». Слово. В дождь. «Я видел, как селенья догорали...». «Большая боль не вопиет...». «Старин-крестьянин подводил итог...». «Река бежит, скалистый берег гложет...».

«Не тот герой из нас...». Гора. Перевод с балкарского Н. Гребнева.....

Николай ДОРИЗО. «Вы наши Дымовы...». Сочиненье на тему. Слова. Сосед .

Марк КОЛОСОВ. Под знаком комсомола.

(Вступительная статья) . .

Александр БЕЗЫМЕНСКИЙ. На том стоим

Иосиф УТКИН. Поход.....

Михаил ГОЛОДНЫЙ. «Еще воздушные пираты...». «Темнеет, гаснет зимний день...».....

в К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

А. МИЛЬЧАКОВ. Партией воспитанные

А ПУБЛИЦИСТИКА

Д. КАМШАЛОВ. Светлое пламя революции
Я. ВАРШАВСКИЙ. Когда впечатления обманывают.....: : а
И. АКИМОВ. Герои-комсомольцы . . .
Л. СИДОРОВСКИЙ. Человек из песни . . .
ТРОЕ ИЗ СЕМЬИ КОМСОМОЛА (из рассказов о делегатах XV съезда
ВЛКСМ).....
В. ГАЛЛ. Победа без выстрела (и з
воспоминаний советского парламентаря о последних днях войны).....
« СРЕДИ КНИГ
Маленькие рецензии и аннотации . . в СПОРТ
Георгий ТЭННО. Не культ, а культура...
в ЗАМЕТКИ
И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
А. ИВКИН. Кадиевская легенда. sjg Вл. КНИППЕР. Двенадцатый рейс. i/f И. МА-
ХАТАДЗЕ. Судьба «Маврикия»
-В «ПЫЛЕСОС»
А. ПАРХОМЕНКО. Осадка.....
«НА СТЕНДАХ «ЮНОСТИ» Леонид ВОЛЫНСКИЙ. На родной почве
На 1 — 4-й страницах обложки — рисунок Э. АРЦРУНЯНА. На 2-й странице
обложки — рисунок О. ЗАРДАРЯНА «Весна».
Портреты В. Аксенова (стр. 40) и В. Фролова (стр. 47) — художника В.
КРАСНОВСКОГО.
Художественный редактор Ю. Цишевский. Адрес редакции: Москва. Г-69, ул.
Воровского. 52.
Технический редактор Л. З я б к и н а. Телефон Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.
А 10270. Подп. к печати 7/V 1966 г. Формат бумаги 84x108'/6. Объем 7,25 физ. печ. л.
— 12,18 усл. печ. л.
Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 953. Заказ № 876.
Ордена' Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва. А-47, ул.
«Правды», 24.